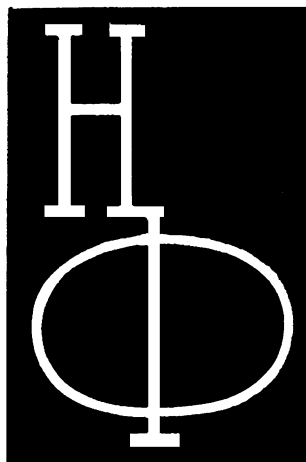


ной фантастики



альманах
научной
фантастики





Альманах

научной

фантастики

выпуск 1

**Издательство
„Знание“
Москва 1964**

Научная фантастика... Ей свойственна особая масштабность мышления, ей доступно в самой далекой перспективе продлевать и проследивать настоящее. Она оперирует тысячелетиями времени и тысячами световых лет пространства, в ее распоряжении еще не осуществленные научные открытия, еще не сбывшиеся индустриальные мощности и возможность доводить конфликты до самого высокого их накала. Эта литература помогает быстро меняющейся эпохе осознать себя и тенденции своего развития.

Наше время — время огромных социальных сдвигов. Начиная с октября 1917 года тысячекратно ускорился темп исторического развития.

Социальный прогресс неотделим от прогресса научного и технического. То, что прежде требовало многих лет и десятилетий, теперь совершается за часы и минуты, невозможное становится возможным. Наука учит нас не удивляться удивительному, привыкать к непривычному.

Все это позволяет мечтать.

Помогает мечтать.

Заставляет мечтать!

Отсюда и рождается тот интерес, который миллионы читателей во всех частях света испытывают к фантастике. Успешнее, чем все другие виды литературы, она отвечает современной потребности заглянуть в будущее.

Но, конечно, мечта мечте — рознь.

Обреченный общественный строй не видит для себя будущего. И наука может нести людям не только благо-

состояние, но и разрушение — это зависит от того, в чьих она руках. Вот почему значительной и даже подавляющей части сегодняшней фантастики капиталистических стран присущ страх перед стремительным развитием науки, перед скоростью и размахом социальных сдвигов. Своему читателю она говорит: «Не познавай, не надейся, не действуй!» За немногими исключениями, ее страницы наполнены изображениями кошмаров, нашествиями чудовищ, описаниями уничтожительных войн и вселенских катастроф. Такую фантастику нельзя даже называть литературой мечты. Скорее — литературой устрашающих пророчеств, мрачных прорицаний. Или литературой предупреждения: «Смотри, к чему может привести погоня за наживой, продажность и фарисейство современного буржуазного общества!»

Что же касается советской фантастики, то ее содержание основывается на тех правах и возможностях, которые получили мечта и фантазия в нашем обществе с первых дней его существования.

Помните ленинские слова о фантазии: «Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности...»

Таков наш принцип. Самая история нашего социалистического государства началась с мечты и явилась ее осуществлением. И все наши планы коммунистического строительства — это трезвый расчет, который венчает мечту.

«Без фантазии, основанной на реальном фундаменте, нельзя жить... — сказал на декабрьском (1963 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев. — Необходимо предвидеть будущее, размышлять, намечать дальнейшие пути».

Да, подлинная наука немыслима без фантазии, без предвидения.

И естественно, что литература наша тоже все в большей мере стремится заглянуть в будущее. Научная фантастика в нашей стране реальна — в смысле своей обоснованности законами развития природы и общества.

Воспитывающая сила нашей фантастики вырастает из того, что она помогает читателю представить себе то бу-

дущее, ради которого советские люди трудятся в настоящем, из того, что ее художественные средства характеризуют, в конечном счете, наш реальный мир, современность и обращены к современникам. В отличие от фантастики капиталистических стран, наша фантастика зовет изучать и познавать, она утверждает, что грядущее светло, что человечество ожидают бесконечные тысячи лет счастливого победного движения вперед...

На страницах альманаха «НФ» будут печататься произведения советских и зарубежных фантастов и статьи о научной фантастике. В конце каждого сборника читатели найдут раздел «Возможно ли?», который поможет им сориентироваться в научных предпосылках, положенных в основу публикуемых произведений.

Е. Парнов, М. Емцев

БУНТ ТРИДЦАТИ ТРИЛЛИОНОВ

П о в е с т ь .

Неожиданный поворот

*Владимир Николаевич Флоровский,
ассистент университета*

Еще три дня, и я уйду в отпуск. Через какие-нибудь восемьдесят часов я буду уже смотреть в круглое окошко самолета. Земля превратится в макет, по которому неторопливо поплывет крестообразная тень.. Если, конечно, не будет облачности. Хорошо бы сегодня разобрать все бумаги, отправить в журнал уже готовую статью, отослать рефераты, ответить на письма. Хорошо бы!

Весь окружающий мир уместился в перевернутом виде на боку пузатой колбы. Мир притих перед грозой и сердито насутился в синеватых отблесках стекла.

С высоты двадцать первого этажа автомобили кажутся игрушками, а люди — муравьями. Серые прямые ленты дорог, строгие квадраты и прямоугольники зелени. Если пройдет дождь, то даже сюда, на такую высоту долетит запах мокрого каштана... Но о дожде можно только мечтать. Вернее всего, опять небо блеснет зарницами, прогрехочет дальний гром, и тучи пройдут стороной. Вот уже целую неделю город изнывает от августовского солнца.

Окна и двери в университете распахнуты настежь. Но это мало помогает. Работать все равно тяжело. Мозги размякли, как разогретый на солнце асфальт. Я снял пиджак, включил вентилятор и постарался удобнее устроиться в кресле. Но вскоре поймал себя на том, что уже несколько минут читаю одну и ту же страницу отчета. Захотелось пить. Решил спуститься в буфет и взять бутылку холодного молока или пива.

В буфете вилась длинная очередь. Солнце плавilo оконное стекло и рвалось в помещение сквозь танцующий столб пылинок. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, шурясь и постепенно раздражаясь, я стоял в конце мало подвижного человеческого ручейка. Время приобрело свойства резины. Мне уже расхотелось пить. Я оставался в очереди только из-за упрямства.

Передо мной стоял смешной и странный человек. Коротко остриженная лопухая голова его непрерывно двигалась. Толстые пальцы шевелились, перекатывая из ладони в ладонь столбик монет. Человек близоруко улыбался, тихо шептал что-то, толстые добрые губы его шевелились.

Я рассматривал его безо всякого интереса, пока не увидел на груди белую визитную карточку, на которой латинскими буквами было напечатано: «Артур Положенцев, Москва». Я удивился. Значит, лопухий коротышка был делегат Международного противоракового конгресса! Я еще раз оглядел его. Мятая шелковая тенниска, на которой темнели влажные пятна, широкие синие брюки, давно утратившие складку, пыльные ботинки со стоптанными каблуками. Во мне шевельнулась неприязнь. Я вспомнил изящных, аккуратных мужчин в прекрасных серых костюмах, с ослепительными замороженными воротничками. В эти дни их часто можно было встретить в коридорах и вестибюлях.

«Некультурно, — подумал я, — посещать конгресс в таком виде. И обидно тем более, что этот неряха, наверное, крупный специалист».

Фамилия Положенцева мне была известна.

Мои размышления прервал звон упавшей на пол монеты. Пока Лопухий, близоруко шурясь, оглядывался, монету подняла щупленькая девушка с тощими косичками. Она по-студенчески держала свои деньги между

страницами книги и теперь торопливо перелистывала ее. Я взглянул на Лопоухого. Он, улыбаясь, следил за девушкой, которая все никак не могла сообразить, откуда упала монета. Лопоухий молчал. Это мне понравилось, и я посмотрел на него уже с некоторой симпатией. Поймав мой взгляд, Лопоухий тотчас же повернулся ко мне и стал тихо объяснять ситуацию:

— Это я потерял копейку. А девочка решила, что она. Вот и ищет теперь, откуда монета упала.

Моя мгновенная симпатия улетучилась. Я не любил людей, которые спешили поделиться своими наблюдениями и впечатлениями с первым встречным.

Незаметно подошла моя очередь. Пока я брал свое пиво и тарелки с закуской, Лопоухий все время не оставлял меня в покое. Он успел сообщить мне свое мнение о здании университета, спросил меня, каковы на вкус китайские блюда, что такое агар-агар и можно ли есть салат из него. Мои односложные ответы его, видимо, не смущали; все так же неумолчно тараторя и заискивающе улыбаясь, он шумно уселся за мой столик. Чтобы хоть как-то прервать поток его сбивчивых и каких-то наивных речей, я задал ему совершенно напрасный, как мне тогда казалось, вопрос:

— Вы здесь на конгрессе?

Он радостно закивал головой:

— Ага, на конгрессе. Меня интересует вирусная теория рака. Я хочу кое-что узнать о свободных генах. Но я не делегат. — Он притронулся к приколотой на груди визитной карточке: — Это не моя. Это Артура. Я взял ее, чтобы пройти в университет без всякой пропускной волокиты.

«Это в твоем стиле, — подумал я с насмешкой, — какое мальчишество!»

— А вы знакомы с Положенцевым, или этот нагрудный пропуск попал к вам без его ведома?

Лопоухий посмотрел на меня. И под взглядом этих добрых и чистых подслеповатых глаз я почувствовал себя не очень хорошо. Мне стало стыдно.

«Пижон ты, братец, пижон», — подумал я о себе. Мне захотелось сказать этому человеку что-нибудь хорошее, как-то сгладить резкость, придать ей вид неуклюжей шутки. Не придумав ничего подходящего, я хлопнул его по плечу и предложил:

— Ну вот, если надоест сидеть на конгрессе, приходите ко мне на кафедру. Хоть раком мы и не занимаемся, но кое-что интересное есть и у нас.

Лопоухий рассыпался в благодарностях и стал еще светлее. Потом сказал:

— Я что-то устал. Не составите ли вы мне компанию погулять после обеда на чистом воздухе?

Сначала я хотел отказаться. Прогулка в его обществе совсем мне не улыбалась. Но мысль о том, что нужно подниматься в душную комнату и, изнывая от жары, что-то читать, показалась мне страшной. Я согласился.

Через несколько минут нас уже обдувал напористый ветер, всегда живущий на юго-западе Москвы. Дрожали листья, раскачивались ветки. Бабочка «павлиний глаз» буквально распласталась на спинке садовой скамейки. Ее крылья были раскрыты больше, чем на сто восемьдесят градусов. Наверное, чтобы не сдул ветер...

Мой новый знакомый был набит чудовищно объемистой, но хаотичной информацией по исторической биологии, генетике, молекулярной эволюции и прочим наукам. Признаться, я не очень внимательно его слушал. Прогулка была хороша сама по себе, и я уже пожалел, что связался с этим говоруном. Он как раз с восторгом рассказывал о своей поездке на какое-то озеро с замысловатым названием, и я подумал, что надо было бы мне представиться да и его фамилию узнать. Но почему-то не сделал этого. Просто, хорошо было сидеть в тени, на безлюдной аллейке, и ни о чем не думать.

— Вы не устали говорить? — спросил я.

Не знаю, как это сорвалось у меня с языка. Мне очень хотелось, чтоб он замолчал.

Слова мои его поразили.

— Нет, нет, — испуганно сказал он, — нет! Я еще должен рассказать вам очень важную вещь.

Я обратил внимание, что у него очень решительный и упрямый подбородок.

— Иначе, — добавил он, — кто же об этом узнает? Кто-то знать должен, ведь это очень важно...

Тут лицо его изменилось. Оно побледнело, даже как-то вдруг вытянулось, похудело. Резко обозначились темные тени под глазами, явственно проступили впадины на щеках. Зря я его обидел. Я уже раскрыл рот, чтобы загладить свои слова, но он опередил меня. Даже голос его

изменился, стал сухим, безжизненным. Он смотрел мне прямо в глаза. Но взгляд его уже не был подслеповатым и добрым. Скорее — отрешенным, невидящим.

— Я сделал страшную глупость, — хрипло сказал он, и его упрямый подбородок слегка задрожал.

Да он, кажется, припадочный... С ним хлопот не обещаться. Вот навязался на мою голову! Я сделал естественный жест, выражавший удивление и растерянность. Но он меня неправильно понял.

— погоди, не убегай. Я должен... ты должен... я впрыснул себе эту штуку, — бормотал он, наваливаясь на меня и жарко дыша в лицо. От него пахло только что съеденной в буфете колбасой. Он вцепился в мой рукав.

— Я сделал это только ради него, понимаешь? — говорил он слабеющим голосом. — Я должен был знать правду. Долго без правды жить нельзя... Правда, она...

— Я не понимаю, о чем идет речь? — спросил я и отодвинулся. Уж очень он был потный и жаркий.

Он замолк и закрыл глаза. Я не на шутку перепугался и принялся его трясти.

— Послушайте, что с вами?

Он некоторое время молчал, потом пошевелил губами и, не открывая глаз, сказал:

— Я, кажется, умер.

Никогда в жизни я не думал, что могу так волноваться. У меня все оборвалось в груди. А он тихонько, как засыпающий ребенок, пробормотал:

— Не то чтоб совсем...

Затем он сжал губы, замолчал и начал синеть. Когда я увидел, как по его щекам поползли синюшные разводы, меня будто по ногам стегнуло. Я бросился за помощью...

В университетской поликлинике тень и тишина. Кто-то заботливо снял с Лопухого ботинки и уложил его на белую, покрытую клеенкой кушетку. Пожилая женщина-врач вот уже в который раз прослушивает слабые и редкие биения сердца. Высокий и тощий, похожий на Дон-Кихота старик водит перед застывшими глазами Лопухого каким-то блестящим предметом, а он без сознания. Бедный Лопухий! И зачем я его так называю? Не такие уж у него оттопыренные уши. Но я не знаю ни его имени, ни фамилии. А как-то называть его надо...

Только что, перед тем как вызвать по телефону скорую помощь, мы тщательно осмотрели карманы его брюк.

Немного мелочи, ключ от английского замка на медной цепочке, куча троллейбусных и автобусных билетов, расческа с двумя поломанными зубцами, стертый на сгибах квадратик бумаги с телефоном какого-то Вал. Ник. Курил. — вот и все. Бедняга... Дон-Кихот сказал, что у Лопоухого странно заторможены все рефлексy. Он не реагирует ни на какие внешние раздражители: свет, боль, звук... Несомненно, это какое-то мозговое заболевание.

— Я бы даже рискнул констатировать летаргию, если бы не был твердо уверен в обратном, — важно произнес безбородый Дон-Кихот.

— У него нет никакого контакта с внешним миром, — сказала женщина, пряча стетоскоп. — Довольно типичный случай. Это психотик. То, что вы рассказали нам, — она строго посмотрела на меня, — лишний раз в этом убеждает. Это было начало приступа.

— Его можно вылечить?

Врачи молчали. Дон-Кихот после некоторой паузы промывал:

— При надлежащей терапии и если разрушительные процессы зашли не очень далеко... Впрочем, трудно сказать...

— Неужели это сумасшествие? — Я с надеждой смотрел на усталую женщину в ослепительно белом стареньком халате.

— Наверняка я ничего не могу вам сказать. Его покажут специалистам... Может быть... Ну, вы сами посудите, — женщина ткнула пальцем в злополучную карточку: — какой здравомыслящий человек попытается проникнуть таким образом в учреждение, в котором ему нечего делать. А?

— Я, Ираида Васильевна, — сказал Дон-Кихот, протирая ладони смоченной в спирте ваткой, — вспоминаю случай, который имел место у великого Лоренца. Как-то его друг, известный фармаколог, попросил предоставить в его распоряжение психотика, который настолько потерял разум, что живет уже чисто растительной жизнью. Шизофреник, предоставленный Лоренцом этому фармакологу, был безмолвным и неподвижным субъектом, вроде нашего пациента. Глаза его были либо закрыты, либо бессмысленно вытаращены. Законченный образец далеко зашедшей непоправимой дегенерации. Полнейший ум-

ственный распад. Окончательная и бесповоротная потеря интеллекта. Но вот в вену больного ввели ничтожное количество безвредного раствора цианистого натрия. Сначала больной, который многие годы находился в состоянии полнейшего оцепенения, и глазом не моргнул. Но когда препарат достиг дыхательного центра мозга, больной начал дышать все глубже и полнее. И вдруг человек, не произнесший за несколько лет ни слова, тихо произнес: «Алло». Он дышал все глубже, в его мутных глазах стала проблескивать мысль. Он даже улыбнулся Лоренцу и внятно произнес свое имя. Три-четыре минуты бедняга разговаривал, как совершенно нормальный человек. Но действие цианистого натрия стало ослабевать, больной забормотал, глаза его замутились, и он вновь впал в свое первоначальное состояние. Так что, как видите, на несколько минут даже окончательно потерявшего разум человека можно пробудить от страшного сна. Современная наука...

Мне не хотелось слушать Дон-Кихота. Он казался напыщенным и самовлюбленным. Возвращаться в лабораторию уже не было смысла, и я направился в зону Б, чтобы немного посидеть во дворе на скамейке, спрятанной в кустах персидской сирени. На душе у меня было тяжело. Мне было очень жаль Лопоухого.

И тут я почувствовал, что сжимаю что-то в руке. Это была записка с номером телефона Вал. Ник. Курил. Я подумал: «Неужели Лопоухий пришел на конгресс только с этой бумажкой? Неужели он ничего не записывал?» Но тут же я одернул себя: человек сошел с ума, а я требую от него разумных действий.

И все-таки... Быстро пошел я к большой аудитории, где проходил конгресс. Постепенно я замедлил шаг. Действительно, что я скажу? Простите, товарищи и господа, но здесь Лопоухий забыл тетрадку, я не знаю, кто он и где он сидел, но пошарьте, пожалуйста, каждый возле себя...

Я решил дождаться конца заседания, закурил сигарету и начал кругами прохаживаться около входа в аудиторию. Мимо проходили знакомые сотрудники, здоровались и шли по своим делам. А я все ходил по пустому холлу. Наверное, я очень странно выглядел тогда.

Терпения моего хватило ненадолго — никогда не прощу себе этого. Я начал размышлять, что Лопоухому уже

все равно ничем не поможешь, и какая разница, лежит ли где его тетрадь или нет.

Очень скоро я убедил себя в том, что все это меня совершенно не касается. Я сделал все, что мог. Остальное — дело врачей и других непосредственно заинтересованных лиц. А я тут ни при чем. От жары у меня вспотели руки, я разжал кулак. На пол упал грязный бумажный комочек.

Я поднял его и бросил в монументальную каменную урну.

До конца рабочего дня оставался еще час, я вернулся в лабораторию. Это было 26 августа...

В моей комнате все было по-прежнему. Казалось, я отлучился на несколько минут. К столу плотно прикипели листки бумаги с хорошо знакомыми каракулями. Пиджак мой обвис, как халат арестанта. Воздух был густой и горячий. Жара и не думала спадать. Я посмотрел на давно знакомые и порядком надоевшие мне аксессуары кабинета и почувствовал досаду. Черт побери, все это вижу каждый день в течение многих лет, а сегодня на меня налетело Неожидаемое, и я... я сбежал от него в свою скорлупу, свою норку, где мне тепло и сухо. Странное дело, мы вечно ищем новое, но никогда не готовы с ним встретиться. Либо оно не такое, как мы думали, либо пришло не тогда, когда надо...

В следующую минуту лифт отжал мои внутренности и горлу. Я мчался вниз, назад, на розыски Лопухого.

Представляю, какой идиотский был у меня вид, когда я шарил в урне. Удивленные улыбки проходивших мимо людей кололи мой затылок. Но мне было уже все равно. В ноздри бил тревожный ветер, которым дышал Шерлок Холмс. Я шел по следу. Когда человеком овладевает азарт разведчика, в нем появляется что-то от хорошей гончей собаки.

Я старательно разгладил бумажку и побежал к телефону. Г... Г... Это Арбат. Значит, приятель Лопухого живет в одном из старинных районов Москвы. В каком-нибудь обветшалом особнячке...

Женский голос глубоко контральтового тембра сказал: — Марья Иванна слушает.

Мне пришлось довольно долго втолковывать Марье Ивановне суть дела. Постепенно все прояснилось. Оказалось, что Вал. Ник. Курил. — это Валерий Николаевич

Курилин, молодой геолог. Но его, к сожалению, сейчас нет. Он в экспедиции. Знает ли она его приятеля, такого — с круглой головой и массивным подбородком? Нет, не знает. К Валюшке тут многие ходят. Такого смешного немножко, с оттопыренными ушами? Ах, так, может, это Борис? Школьный дружок Валерия. Как же, как же. Борис Ревин, они и в университете вместе учились. Последнее время он почти не бывал у них. Может быть, не он? А кому же еще быть? Смешной и уши торчат? Он! Так что же с ним такое?

Я постарался возможно ярче описать состояние Лопухого. В трубке наступила тишина. Хрипло потрескивала мембрана. Наконец, моя собеседница сказала:

— Я сейчас приеду.

Я немножко оторопел.

— То есть, простите, куда?

— Ну где он у вас находится? В поликлинике, что ли? Вот туда и приеду. А как же? Ведь он почитай что сирота. Ждите меня.

Я бросился к Дон-Кихоту.

— Ваш подопечный уже отправлен в больницу на Ленинском проспекте. Мы не имеем права долго задерживать у нас больных, — сказал мне старик.

Я решил подождать Марию Ивановну здесь. В длинном коридоре было много людей. Между темными человеческими фигурами чахло сочился рассеянный солнечный свет. Медсестра, макнув ручку в пузатую чернильницу, спрашивала каждого вновь вошедшего больного: «Ваш номер?» — и нацеливала перо на посетителя. Речь шла о номере медицинской карточки.

Марию Ивановну я узнал сразу, хотя никогда ее раньше не видел. Уж очень она отличалась от нашей университетской публики. Ей было далеко за пятьдесят, в левой руке она сжимала бежевую хозяйственную сумку, большую, на молниях. Она двигалась размашисто и уверенно. В ее походке были скрыты многие годы тяжелой работы в поле, а может быть, за станком, и стояние в очередях по магазинам, когда ноги гудят после восьмичасовой смены, и бессонные ночи над больными детьми...

Она пожала мне руку уверенно и крепко.

— Где врач? Я хочу с ним поговорить...

Я проводил Курилина к Дон-Кихоту. После нескольких вступительных фраз она спросила:

— Какая же у него болезнь?

Дон-Кихот пустился в отвлеченные рассуждения о том, как трудно определить характер заболевания вот так, с ходу, не зная человека, его особенностей. Старуха превала его.

— Вам тыщу анализов надо сделать? Да в истории болезни кучу умных слов написать? И все равно не будете знать! Так и скажите прямо — не знаю. Оно справедливее будет-то.

Дон-Кихот начал медленно закипать. Нижняя челюсть у него отвалилась, огромный кадык торчал, как пика.

— И не обижайтесь, пожалуйста, — урезонивающе сказала Марья Ивановна, — я вашего брата, врача, знаю. Самою чуть в гроб не вогнали. Давайте-ка адресок, куда Бориса сунули. Ответственности побоялись? Знаю я, как это бывает. Спихбол?

Она толкнула Дон-Кихота в бок и рассмеялась. Голос у нее гулкий, смех заразительный. Черт знает, что за бабка! У Дон-Кихота брови полезли вверх. Старик не знал, то ли ему ругаться, то ли улыбаться.

Я осторожно тронул Марью Ивановну за руку. Кожа у нее твердая, грубая, в мелких пупырышках.

— У меня есть адрес, поедете.

— А-а, ну что же, двинули, малыш. До свиданья, доктор.

Дон-Кихот пожал плечами.

Общаться с этой женщиной было очень просто. Действовала, говорила и комментировала она, другим приходилось только наблюдать. Я ввернул несколько слов о Лопухом, пока мы тряслись и толкались в автобусе.

— Этот Борис всегда был чудаком. Но я не знала, что он припадочный. Паренек он странный, но чтоб за ним замечалось что-нибудь такое... этого не было.

Я воспользовался секундным перерывом и записал координаты Бориса Ревина. Телефона у него нет, живет он за Абельмановской заставой.

— Во всем виновата его мать, — сказала Марья Ивановна, после того как подробно перечислила весь транспорт, идущий к Абельмановской заставе. — Я давно заметила: как где какая беда, значит, баба нашкодила. Может, и не прямо, а через кого-либо, но все равно здесь какая-нибудь баба руку приложила. Или дрянь или дура.

— Шерше ля фам, ищите женщину, — ввернул я, —

но, может, это обычное совпадение? Женщин много, вот они и попадают чисто статистически в орбиту беды?

— Ты мне заумки не подбрасывай. У меня свой с высшим образованием. Тоже иногда захорохорится и на иностранный манер рассуждать примется. Но я живо все его заумки в норму привожу. У меня свой рентген имеется. Чутьем он по-простому-то зовется. Я и науку от шелухи отличить сумею, так что слушай, как люди, повидавшие жизнь, рассуждают.

— И помалкивай! — рассмеялся я.

«Ну и мамочка у вас, товарищ Курилин!»

— Нет, не молчи, а свое доказуй. Но без этого, без штучек. Место у женщины в жизни серьезное, куда вашему, мужскому! Женщина — она все вокруг себя организует: и семью, и дом, и мужа, и работу. А если попадется такая, как Борькина мать, так уж тут все, конечно, идет прахом. Правда, что с мужем ей не повезло. Запятнанный был человек, что и говорить, сильно запятнанный. Но, как-никак, отец твоего ребенка, так что здорово нужно было мозгами шевелить раньше, чем кричать караул.

— Простите, но я вас не совсем понимаю.

— То-то и оно. Ты меня, малыш, не понимаешь, Михайлова своего сына не понимает, и одна ерунда получается.

Она говорила «юрында».

— О какой Михайловой идет речь?

— Так это же и есть Борисова мамаша. Она по первому мужу, отцу Бори, не Ревина, а Михайлова. А потом своего второго мужа заставила усыновить мальчика, чтобы никакой памяти об отце на нем не оставалось. Ну да что там говорить, история долгая, в двух словах не расскажешь. А мы уже приехали.

В больнице Бориса не оказалось. Его с ходу переправили за город, на станцию Столбовую.

— Я же говорю, — возмущалась Марья Ивановна, — настоящий спихбол! Для них больной, что футбольный мячик. Ну и врачи! Я их, каторжных, насквозь вижу. Только бы им ни за что не отвечать. Нацарапал рецепт, и будьте здоровы!

— Может, в этой больнице мест нет, а может, они не специалисты по такого рода психическим заболеваниям, — попытался я урезонить расходившуюся старуху.

— Э, э, э, оставьте, — раздраженно сказала она. —

Знаю я их. — Потом, помолчав добавила: — Оно, конечно, платят им мало, да и работа нелегкая. Все с людьми, все с больными. Это народ капризный, обиженный. Но так подумать, никто их и не заставлял на врачей учиться. А уж коли ты взялся за такое человеческое дело, так неси свой крест честно. Бюрократы несчастные! Давеча я с зубом канителилась. Ужас что было!

Я огляделся по сторонам. Пыльный асфальт сверкал на солнце, как ртуть. В горле пересохло, хотелось пить, и ни одной водопойки поблизости. Под полосатым брезентовым навесом румяная девушка продавала болгарский виноград, возле нее сгрудились домохозяйки. Красный жаркий автобус делал разворот, намереваясь нырнуть в узкий переулок.

Мне пришла в голову хорошая мысль.

— Марья Ивановна, — сказал я, — зайдемте в парк, он совсем рядом, я водички попью: от жары погибаю.

Газированная вода была колючая, как еж, от нее щемило в носу и наворачивались слезы, но жажды она не утоляла. Марья Ивановна чинно выпила свой стакан, и мы зашагали по дорожкам, посыпанным красным толченым кирпичом.

— Значит, ваш сын хорошо знает Ревина? — спросил я.

— Я уже вам говорила, это история долгая. Еще до того, как я вышла замуж, Курилин сильно дружил с Михайловым. Оба геологами были, и оба за ней, за Натальей, ухаживали. Уже я не знаю, как у них там все протекало, но только наверняка что-то случилось. Муж не особенно любил на эту тему распространяться, но я потихоньку да полегоньку кое-что из него выцедила. Много мне узнать не удалось, но знаю только, что ухаживали они, ухаживали за ней, потом съездили вдвоем с Михайловым в экспедицию, вернулись, и после этого Курилин к Наталье ни ногой. То ли они с Михайловым там поругались, то ли договорились между собой, чтоб волюнку эту больше не тянуть, то ли жребий бросили (и такое дело между мужчинами бывает), но стал ходить к Наталье теперь один Михайлов. Долго ходил, видать, Наталья больше к Курилину симпатию имела. Оно понятно. Видный человек был Николай Курилин. Волосы светлые...

— Был? Разве ваш муж умер? — вырвалось у меня.

— Умер, малышка. Вернее, погиб. Вот из-за этой-то смерти и Борис Михайлов Ревиным стал.

Мое любопытство, расплавленное и размягченное под жарким августовским солнцем, начало твердеть. Я почувствовал, что занавес если и не раздвигается, то, во всяком случае, колеблется под напором не известных мне сил.

— Несчастный случай? Болезнь? Война? — деловито осведомился я, придавая голосу оттенок участия.

— Ты погоди, не торопись, — отстранила меня рукой Курилина. — Я тебе о Николае рассказываю. Красавец был человек, и душой и телом. Веселый, сильный, ловкий. Его все любили, нельзя было не любить. Когда я первый раз увидела его... — Старуха помолчала. — Ну ладно, может, тебе это не интересно.

— Нет, почему же?

— Скажешь, старушка расчувствовалась, еще посмеешься. Одним словом, как откатился от Натальи Курилин, та, видно, здорово подосадовала. Гордая, виду не подавала, но и Михайлова особенно не поощряла. Так они маялись вдвоем, маялись — двое рядом, а один поодаль. А потом Николай съездил в командировку в Саратов. Там мы с ним и познакомились и поженились. Теперь-то я не знаю, или он свою застарелую любовь тогда выжигал, или впрямь мной сильно увлечен был. Но тогда мне на все было наплевать, уж очень он мне по сердцу пришелся. Потом я его пытала: признайся, говорю, мужскую дружбу доказывал, на мне женюсь? Хохочет и отшучивается. Так и не сказал. А видно, так оно и было. А может, и не так, жизнь штука сложная. Только Наталья еще долго замуж не выходила. И когда у нас Валерий родился, они с Михайловым наконец свадьбу сыграли. Снова стали. Курилин с Михайловым вместе в экспедицию ездить, да и мы с Натальей поближе познакомились и даже подружились. Только недолговечная это была дружба! Когда я разузнала, что мой Николай раньше за Натальей бегал, как-то отпала охота мне ее видеть. Не по мне она стала. А тут...

Марья Ивановна на миг замолкла.

— Смотри, стервец, как устроился, — сказала она, указывая на воробья, купавшегося в пыли на клумбе. — Получает же зверь удовольствие!

— Вы не кончили, — сказал я.

— Да что кончать-то? Старые раны беречь. Человек ты мне незнакомый, молодой, хоть и ученый, да, наверное, жизни не знаешь. Пустое любопытство одно.

— Марья Ивановна! — закричал я. — Ей-богу, так не поступают. Может, я действительно самый обыкновенный, не весьма хороший человек, но Борис Ревин меня очень интересуется. Я сам не знаю, почему. Мне хочется ему помочь. И вы меня просто обижаете...

Курилина улыбнулась. У нее удивительно приятная улыбка. Два маленьких голубых невероятно хитрых глаза тонут в паутине коричневых морщинок и лукаво поглядывают на вас, словно мыши из норки.

— Ладно, — сказала она, — это я от тебя и хотела слышать. Не люблю, когда люди молчат и неизвестно, что они там про себя думают. Так вот, получилось так однажды, это было в тридцать девятом году, Валерику уже второй год пошел. Уехал мой муж с Михайловым на Обь, а вернулся оттуда один Михайлов. И сообщил, что, дескать, погиб Николай Курилин при переправе через одну таежную речушку. «А ты где ж был?» — спрашиваю. «Я шел за ним, — говорит, — метрах в пятидесяти, а когда подошел к реке, только шапку нашел на берегу». И разные ужасы расписывает. Работали они, дескать, вдвоем, потом через осенние ливни их наводнение залило, и все снаряжение погибло. Шли они через тайгу мокрые, холодные, голодные, еды в обрез. Тогда у геологов всей этой техники не было. Ни вертолетов, ни самолетов. Хотя, кажись, самолеты в больших партиях были. Так плелись они много дней, и уже первый снежок стал падать, мороз по утрам, они совсем ослабели, еды у них на двоих на два дня да баклага спирту. И вот здесь возьми и случись это несчастье с Николаем. Свалился в воду, словно камень, и исчез навсегда. Михайлов на этом месте стоянку сделал, так сильно ослабел, что и двигаться не мог. Умирать, говорит, решил. Да ударил мороз, и по первому льду перешел он речку, в которой погиб Николай.

— А ваш муж как пытался переправиться, вплавь?

— Вплавь в такую студеную воду никак нельзя. Видать, брод искал или с обрыва свалился. Михайлов и сам толком объяснить не мог. Слушать его я слушала, а не очень-то доверяла. Чувало мое сердце неладное. И подтвердилось мое предчувствие. Не сразу, правда.

— Каким образом?

— А вот каким. Прошел год, может чуток меньше. Я за это время все глаза выплакала над письмом, где сообщалось, что мой муж погиб смертью героя при исполнении служебных обязанностей. Положу, бывало, эту бумажку перед собой вечером, когда Валерик, отбегавши, что ему положено, спит без задних ног, и плачу, заливаюсь. Как однажды приезжает один Колин сослуживец и говорит мне... Всю душу он мне перевернул. Как сейчас помню, сидели мы у нас днем, солнце ярко светило, а у меня в глазах черно стало, словно все вокруг черными флагами позавешивали. Говорит мне Евгений Николаевич: «Не хочу тебя расстраивать, Машенька, но должна знать ты правду. Не утонул твой Николай. Обманул тебя, да и нас всех Михайлов». Оказывается, пришел осенью к якутам-охотникам человек с бородой, кожа да кости, и в бреду. Побредил суток двое и скончался. И ничего у него с собой не было, ни документа, ни припасов. Совсем раздетый, без шапки, босой, оборванный, страшный человек. Ничего не поняли якуты из его бреда, только сильно испугались. Тогда время известно какое было. Схоронили его молчком, и концы в воду. А когда с новой весны стали в эти места геологи наезжать, кто-то и проболтался. Нашли могилу Николая. Выкопали труп и как-то опознали беднягу. И сразу подозрение на Михайлова упало. Вспомнили все, что, когда выбрали его, была у него еще еда, да и спирту малость оставалось. Сбежал, подлец, почуял, что еды не хватит на двоих, и бросил своего товарища. Судить его будем, говорит Евгений Николаевич, улики нет, чтоб настоящим судом его судить, но есть у нас товарищей суд. Вот этим судом и будем судить. Как услышала я этот разговор, так у меня такая злость поднялась, что, кажется, руками бы его задавила...

— Ну и что же Михайлов сказал на суде? — спросил я.

— А что? Все то же, что и ране. Шли, говорит, вдвоем, впереди Курилин, за ним — я. Когда подошел к реке, Курилина не было. Туда-сюда, нашел только мешок, что тот нес, да его шапку, к берегу прибитую волной. Решил, что утонул Курилин. Вот и все. Кто-то ехидный спросил: значит, Курилин, перед тем как утонуть, решил оставить ему всю наличную провизию? Михайлов бледный, но спо-

койно отвечает, что, перед тем как ищут брод, все тяжести с себя сймают. И тут я увидела Наталью. Без кровинки в лице, а глаза так и сверкают. Приметила я, что ребенка она ожидает. И кто его знает, почему, но стала моя обида утихать. И как начали громить Михайлова все, кто был в зале, за явную ложь, я что-то совсем размякла. Конечно, не жалко мне было этого сукиного сына, что товарища в беде бросил, а жалко мне Наташку, а еще больше того ребеночка, который будет. Каково ему знать, что отец его сволочь распоследняя! И пока Михайлов там выворачивался и пытался концы с концами связать, а они никак не связывались, потому что если человек жив после переправы остался, то не могли же они так по-простому разминуться, этого уж никак нельзя объяснить. Всем было ясно, ушел от Николая Михайлов, сбежал с запасом еды, свою шкуру спасал. Да ясно-то ясно, а доказать нельзя.

— Ну и чем же все это кончилось? — спросил я, пытаясь воссоздать в памяти лицо Лопухого. Интересно, похож он на своего отца или нет?

— А ничем. Я выступила в защиту Михайлова. Мертвому — мертвое, а живому — живое. Думала я только об ихнем ребенке. Так что Михайлова и не оправдали и не обвинили. Известное дело, товарищей суд. Ну, порицание все же записали и поручили расследовать это дело органам. После всего этого подошла ко мне Наталья, руку пожала, говорит, спасибо, Машенька, за доброе слово, только все это зря. И действительно, развелась она через месяц с Михайловым, а через два месяца и ребенка родила, этого самого Бориса. И про отца ему ни гу-гу. Одно слово, запятнанный человек. Здорово мы с ней тогда подружались, и наши ребятки хорошо ладили, всю войну мы с ней вниманием друг друга не оставляли.

— А что же с Михайловым?

— Убили его в первые же недели войны. А Наталья после войны возжа под хвост попала. Хочу, говорит, замуж. Мне еще пожить хочется. Разругались мы с ней начисто, она сына совсем забросила, только собой занимается. Вышла-таки за своего Ревина, зато Борис совсем от рук отбился. Замкнутый стал, молчит все больше. Однако с Валериком дружбу поддерживал.

— А про отца своего он знал что-нибудь?

— Никто ему не говорил. Ни она, ни я. Но, по-моему, знал он все. Наверно, нашлись добрые люди. И мучился про себя он, видно, здорово, но молчал и ни с кем не делился. Даже с Валериком.

— Так в чем же вы находите вину Михайловой? Она, по-моему, реагировала совершенно правильно на дикий поступок мужа.

— Правильно-то, правильно. Ты, малыш, еще не женат, наверно, и многого понять не можешь. Как-то раз она мне сказала: «Вот Борис мне сын, а я не могу к нему открыто, по-матерински, относиться. Все время перед глазами тот подлец стоит, мешает». Значит, давала она почувствовать сыну что-то такое, что ребенку знать не след. Выискивала и ожидала каждую минуту, что Борька тоже какую-нибудь подлость сделает. Разве это справедливо? Дети за отцов не в ответе. Отсюда и получился Борис смурной да упрямый. И этот припадок сейчас не иначе как на нервной почве.

— Ну-у, это что-то притянутое, — сказал я.

— Вот те и притянутое! Кабы не знал Борис всего о своем отце да мать вела себя иначе, другим бы человеком он был. Ну да ладно. Я тебе всю жизнь выболтала. Хватит прохлаждаться. Поехали в Столбовую.

— Пожалуй, я сегодня не смогу, — сказал я нерешительно.

— Что, уже пороку не хватило? Вот нынешняя молодежь, вся такая. На удовольствие жадная, а на доброту да сочувствие хлипкая. Ладно, бог с тобой. Только об одном тебя попрошу. Поезжай ты к Ревиным, мать предупреди, что сын в больнице. Как-никак... А то мне с ней разговаривать больно неохота.

Я согласился. Мы расстались у выхода из парка.

Мне не особенно хотелось ехать к Ревиным. Что я там увижу? Немолодую женщину, влюбленную в нового мужа и поглощенную своим счастьем? Нет, я не пойду туда, в конце концов все это меня очень мало касается. Лопухий, то есть Борис Ревин, заинтересовал меня как случай незаурядный, из ряда вон выходящий, но... Но слишком мелкой оказывается причина. Какая-то семейная драма, плохое воспитание, чепуха, одним словом. Я не поехал.

Зайдя на почту, я написал матери Бориса открытку о случившемся и приписал туда же телефон Курилиной.

Пусть старые приятельницы возобновят свои дружественные контакты. А с меня хватит.

Через два дня я уехал в Крым.

Черт Сордонгнохского плато

Валерий Курилин, геолог

Сон отлетел от меня во мгновение ока, я зябко поежился и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки. На востоке сквозь плотную сине-свинцовую завесу едва пробивались первые малиновые полосы. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, я вылез из палатки и опустил за собой брезентовый полог.

Милка встретила меня тихим счастливым повизгиванием. Закружившись у моих ног, она превратилась в круг из белых, рыжих и черных пятен. Я наклонился и успокоил собаку. Нужно было вспомнить, не забыл ли чего. Патроны с дробью, охотничий нож за голенищем, на всякий случай два медвежьих жакана в левом кармане, бутерброды, фляжка с перцовкой, спички... Что же еще?

Как будто все. Можно идти.

Куда ни глянь, всюду болото. В сущности, все огромное Сордонгнохское плато — сплошная марь. Я люблю болота. И не потому, что я геолог-торфоразведчик. Торф — это лишь один из каустобиолитов, пожалуй, самый скромный из горючих ископаемых. Я люблю болота не из-за торфа.

Моя любовь, если можно так сказать, диалектична. Она проходит через отрицание. Чего стоят одни только бесконечные переходы по вязкой и зыбкой почве!

Раздвинутый тростник с шелестом сейчас же сдвигается за тобой. Точно говорит: нет тебе дороги назад, и все тут. Есть в этом что-то киплинговское, экзотическое, что-то заставляющее припомнить детские забытые мечты... Дремучий тростник в два человеческих роста.

Под ногами хлупает вода, даже не хлупает — чав-

кает. Почва упруга, и след остается не очень глубокий, но зато сразу же начинает наполняться мутноватой жижей. Вот уже семнадцать дней мы, четверо молодых парней, работаем на Сордонгнохских займищах. Чего тут греха таить, проклятая эта работа. Идем мы обычно осторожно и медленно, тщательно выбираем путь. Плечи ноют под тяжестью теодолитных и нивелирных треног, от стальных штанг буров. Я люблю, чтобы в походе руки были свободны. Но это не всегда удается. Порой приходится прихватывать то ящик с прибором, то еще что-нибудь.

Но все это пустяки по сравнению с комарами. Их не отгонишь рукой, не отпугнешь. Это плотные облака чесоточного газа, где каждая молекула издает сводящий с ума писк на самой высокой ноте. Впрочем, может быть, я и преувеличиваю. Не так уже все тяжело и страшно. Эти мысли приходят мне в голову на привалах. Палатку мы разбиваем прямо посреди болота. Разжигаем костер, то и дело подкладывая все новые и новые порции сухого тростника, багульника и касандры. Как пахнет багульник! Когда я увидел его впервые, то не поверил, что скромные беленькие цветочки могут источать такой густой, пряный и терпкий запах. Особенно когда пригреет солнце. Иногда мне кажется, что я каждое лето собираюсь вновь на болото за тем, чтобы еще раз вдохнуть запах багульника. Хотя это, вероятно, совсем не так. Багульник дурманит, от него может разболеться голова. А на болота я уйду потому, что это моя профессия, которую я в общем-то люблю. Люблю, почти как у Шекспира, за собственные великие муки.

В костре багульник пахнет совсем иначе. От него идет белый удушающий дым. Глаза мгновенно наполняются слезами. Но иного выхода нет. Или вдыхать едкий одуряющий дым, или отдать себя на съедение комарам, которых не пугает ни крем «Тайга», ни одеколон «Гвоздика». Великое благо — костер. Особенно когда он становится еще и сигналом для самолета. Летчики наловчились сбрасывать нам тюки почти в руки. А в тюках провизия, иногда посылка с какими-нибудь сладостями, письма от родных, газеты. Приятно при свете костра вычитать в «Известиях», что вчера показывали по московскому телевидению. Когда на болото

ложится туман и становится сыро и зябко, мы забираемся в палатку и залезаем в спальные мешки. Засыпаем сразу, несмотря на комариный писк. Те комары, которым не посчастливилось попасть в палатку, дожидаются нас снаружи. Они густо покрывают внешнюю сторону брезента, и первые лучи утреннего солнца проходят сквозь них, как через рыжевато-дымчатый фильтр.

Я слишком много говорю о комарах. Но мы все о них говорим много. Нет зверя страшнее комара. Вот и сейчас я поднялся засветло, а дозорные отряды и головные заставы крылатой армии уже вершат над головой свое неистребимое броуновское движение.

До озера со странным названием Ворота идти минут сорок-пятьдесят. Много слышал я об этом озере и хорошего и плохого. И я знаю, что там лучшая утиная охота в мире. Этого вполне достаточно, чтобы отправиться к озеру, на котором я никогда не был. У меня есть карта и компас, потому я так же легко и просто дойду от палатки к Воротам, как от Бережковской до Киевского вокзала в Москве.

Постепенно тростник начал редеть. Все чаще передо мной открывались поляны, поросшие осокой, серебристо-белой пушицей и клюквой.

Как еще мало знаем мы свою землю! В детстве я грезил девственными лесами Амазонки. Меня поражало, что где-нибудь в Пара или Мату-Гросу половина территории совершенно не обследована.

Мне и в голову не могло прийти, что у нас в Советском Союзе тоже есть «белые пятна». И вот я уже восемнадцатый день хожу по такому пятну.

Сордонгнохское плато — огромная и пустынная горная местность с очень суровым климатом. Впрочем, местность — это не то слово. Сордонгнох — страна, не меньшая, чем Бельгия, она лежит на Оймяконском плоскогорье, совсем рядом с полюсом холода. Никогда здесь не было ни одного зоолога или ботаника. А работы здесь много. Я слабо разбираюсь в геоботанике, но даже мне ясно, что сордонгнохские фитоценозы* могут перевернуть многие современные теории о последниковой флоре.

* Фитоценоз — взаимосвязанное между собой растительное сообщество.

Интересно получается! Даже смешно немного. Стоит мне от вещей обыденных перейти к науке, как я сразу же начинаю излагать свою мысль специфическим «научным» языком. Как будто нельзя говорить просто. Но это вне меня, здесь все происходит совершенно автоматически. Впрочем, это не существенно. Главное, что многие и многие коллеги, высасывающие диссертации из пальца, могли бы сделать здесь настоящие открытия.

Одни пурпурные ковры чего стоят! Мы часто встречали на плато огромные пространства, поросшие длинным красным мхом. Ромка Оржанский, наш геодезист, считает, что это сфагновые мхи третичного возраста. Он даже название придумал: сфагнум реликтум. Не знаю, так ли это, но больше нигде на Севере я такого мха не видел. Когда я начинаю перечислять загадки плато, то теряю всякую сдержанность. Ведь это же огромный естественный заповедник, на природу которого человек не оказал абсолютно никакого воздействия. Сюда бы послать огромную комплексную экспедицию... Прямо зло берет! Никто, кроме редких геологов и охотников, здесь никогда не был. Но даже они собрали ценнейший материал. Чего стоит только рыбка, которую поймал в одном из здешних озер геолог Твердохлебов! Причудливая рыбка с мясом оранжевого цвета...

Я не удержался и написал директору нашего института докладную записку. Он отправил ее в Президиум Академии наук. Там, кажется, зашевелились, и на будущий год планируют экспедицию. Во всяком случае, вчера нам сбросили на парашютах два акваланга и компрессор с бензиновым моторчиком для предварительного обследования озер, которых тут великое множество.

Предполагают, что в третичное время эта большая область была относительно низменной, постепенно спускаясь на восток, к охотским берегам. Тектонические процессы подняли низменность на километровую высоту, разорвали реки и повернули их вспять. Сордонгнох оказался отрезанным от Охотского моря. Запруженные горными обвалами реки постепенно превратились в систему связанных между собой озер.

Милка резво перепрыгивала с кочки на кочку. Она сразу же повеселела, как только кончились тростниковые джунгли. Я тоже чувствовал себя увереннее на от-

крытом пространстве. Вокруг были лишь кочки топяной и омской осоки да поляны красного мха.

Озера еще не было видно, хотя я уже находился в пути часа полтора. Но у меня не было никаких сомнений в правильности маршрута, и я уверенно шел по азимуту.

Когда, наконец, на горизонте мелькнуло ртутным блеском пространство открытой воды, солнце поднялось уже высоко. Оно светилось в каждой росинке, любовно покрывало блестящим лаком каждую яркую ягодку клюквы или гонобобеля. Даже маленькая хищная росянка тянулась к свету крупными, утыканными красными булавками листочками. Солнце слепило, но грело слабо. Теплее не становилось, лишь явственней слышался запах разогретых цветов багульника и подбела.

Я уже не видел мелькнувшего было впереди озера. Всюду та же однообразная картина: зеленые осоки, красные мхи, да наполовину ушедшие в болото огромные скалы — бараньи лбы, оставшиеся здесь после отступления ледника.

Озеро открылось неожиданно близко. Я остановился на заросшей лютиками и водосборами береговой террасе. Внизу, метрах в двадцати стальным, холодным блеском отсвечивала вода. Она казалась злой и неприветливой. Ветра почти не было. Поверхность озера была гладкой; лишь слегка подрагивала острая жестяная осока. Милка с радостным визгом покатила вниз, к воде. Я неторопливо спустился за ней. Она сразу же побежала к заросшей рогозом и стрелолистом излучине. У Милки великолепный нюх на уток. Поэтому я быстро зарядил оба ствола и побежал за собакой.

Не успел я пробежать и сотни метров, как Милка резко остановилась и застыла. Ее болтавшиеся, как тряпки, уши напряглись, короткая шерсть стала дыбом. Милка прижалась к самой земле, повернувшись мордой к озеру. Когда я подошел к ней, она немного осмелела и начала лаять со злобным горловым рокотом. Такого с ней еще не было. Я удивленно огляделся. Вспугнутые собачьим лаем и визгом, над излучиной поднялись два селезня. Я было вскинул ружье, но Милка, вцепившись зубами в мою штанину, потащила меня к воде.

В сердцах я опустил двухстволку и отругал собаку. Она виновато вильнула хвостом, но зубов не разжала.

Я взглянул на озеро. Метрах в трехстах от берега я увидел какой-то ярко блестящий на солнце предмет. Сначала я решил, что это плывет пустая железная бочка из-под бензина. Но откуда здесь взяться бочке?

Присмотревшись, я обнаружил, что эта штука живая. Быстро повернувшись, я бросился прочь от воды и вскарабкался на террасу. Милка с отчаянным воем понеслась за мной. Сверху видно было лучше — не так мешали солнечные блики. Неизвестное животное быстро плыло к берегу по направлению ко мне. Уже можно было рассмотреть выдававшиеся из воды части. Передняя часть туловища (я не решаюсь назвать ее головой, так как толком ничего не разглядел) была около двух метров. Глаза широко расставлены. Длина темно-серого массивного тела — приблизительно метров десять. По бокам головы я различил два светлых пятна, а спину чудовища венчал огромный, загнутый назад плавник. Я видел такой или очень похожий плавник на картинке, изображавшей рыбу-парус, у Брема. Плыло чудовище брасом: голова то появлялась, то исчезала. В нескольких десятках метров от берега оно внезапно остановилось, затем энергично забило на воде, поднимая каскад брызг, и нырнуло.

Притихшая было Милка сейчас же бросилась вниз и принялась облаивать расходящиеся круги. Я тоже, точно очнувшись от спячки, забегал вдоль берега. Зачем-то даже пальнул в воду из обоих стволов. Выстрелы гулко отозвались в воздухе, дробь веером хлестнула по серой стали озера.

Но чудовище больше не показывалось. У меня совершенно пропала охота стрелять уток. Подозвав к себе и успокоив Милку, я присел на большой серый камень, чтобы хоть немного прийти в себя и осмыслить все случившееся. Совершенно автоматически, не испытывая никакого голода, я развернул целлофан и начал поглощать бутерброды. Внезапно я застыл с открытым ртом и недоеденным куском хлеба в руке. Я вспомнил!

Было это года два тому назад. Лютой мгливой зимней ночью я прикатил на газике в маленькое охотничье селение с суровым названием Острожье.

Надо сказать, что Острожье было ближайшим к озеру Ворота населенным пунктом, хотя отсюда до озера было километров сто двадцать, не меньше. Я остано-

вился в доме Фрола Тимофеевича Макарова. Мы с ним были давнишние приятели.

Любой геолог нашего института мог считать себя давнишним приятелем Тимофеича, даже если ни разу до того с ним не встречался. Тимофеич лет двадцать тому назад был проводником экспедиции гидрогеологов. Он водил их на Лабынскы — самое большое из здешних озер. С тех пор Тимофеич всегда рад был предложить свои услуги «науке». Любого из нас он прямо так и величал: «наука».

Дом Тимофеича был сработан из добротных кедрачей, потемневших от времени и непогоды. Хозяйство у него было нехитрое, такое же, как и у остальных острожан, преимущественно охотников или рыболовов.

Я ввалился в сени весь заснеженный, окутанный облаками пара. Пока я стучал по валенкам веником, Тимофеич чем-то громыхал в комнате. Очевидно, накрывал на стол.

— Ну, здравствуй, здравствуй, наука,— ответил он на мое приветствие, внимательно разглядывая меня зоркими и колючими, как соболя щелочки, глазами.

— У меня подарок для вас, Фрол Тимофеич,— сказал я и потянулся к рюкзаку. Мы все обычно что-нибудь привозили Тимофеичу из Москвы. В основном все наши подарки покупались на Кузнецком, в магазине «Охота и рыболовство».

— Успеется. Ты сперва поешь, отдохни. Потом о делах поговорим. А подарок успеется.

Единым духом я хватил граненый стакан водки, которую Тимофеич налил мне из непечатой четверти.

— Ох-х, хороша-а!

— Ну, то-то. Вот морошки попробуй али клюквы мороженой. Скоро и мяско с картошкой поспеет. Горшочек в печи уже... Не жанился еще?

— Нет, Тимофеич, не женился.

За окном завывала вьюга, шуршала по крыше пурга, а я, разомлев от тепла и сытости, едва разлеплял веки. Так мы и не поговорили с Тимофеичем в ту ночь. Сразу же после позднего ужина старик постелил мне на полу возле жарко натопленной печки медвежьё шкуру, на которую я с наслаждением улегся, мгновенно свернулся на ней калачиком и уснул.

Когда я проснулся, в заплывшие льдом оконца слабо проглядывала синева. Комната была погружена в тот мягкий, неповторимый сумрак, который присущ холодному и короткому зимнему дню.

Старик всю жизнь прожил бобылем. Быстрый и аккуратный, он что-то там колдовал насчет завтрака.

Заметив, что я проснулся, он замахал на меня руками:

— Ты не вставай, не вставай! Умаялся, чай!

И затем после короткой паузы:

— Зачем приехал-то?

Мы тогда только-только приступали к разведке Сордонгнохских займищ. Для разных нивелировочных работ нужны были люди: держать рейки, провешивать трассу, копать ямы. Я надеялся, что Тимофеич посоветует, где мне набрать сезонников на лето. Чтобы не остаться к началу работ без рабочих, нужно было договориться сейчас. Я поведал Тимофеичу о своих заботах.

— Не просто-то все это, наука. Людишки сейчас все в тайге да на болоте. Зверька добывают. Сейчас он самый сезон, на зверька-то. А так, вообще, можно. На лето к тебе народ пойдет. Отчего не пойти? Я и сам пойду. Вы, чай, тоже рыбешкой побаловаться захотите. А у нас людишки летом завсегда рыбачат. Озер-то у нас много. Глубокие озера, чистые. Вы откеда спервоначалу обмерять начнете?

Я достал карту и показал старику район, лежащий между Лабынкыром и Воротами.

— Так. — Старик помолчал. — Нехорошее место выбрал, наука.

— Почему же нехорошее? — не понял я. — На первое лето обмерим займища и нанесем на карту. На второе пройдем по трассам и проведем разведочное бурение. Если анализ и данные разведки будут хорошие, то на третье лето наметим осушительную сеть. Вот смотрите...

Я показал старику отметки высот и линии гидроизогипсов.

— Здесь понижение и здесь понижение. Вот мы и дадим два магистральных канала. С запада сброс воды будет в Лабынкыр, с юго-востока — в Томыское и в Ворота.

— Не про то я, наука.

— А про что же?

— Нехорошие места там. Особенно Лабынкыр. Черт там живет, вот что.

— И вы этому верите? — удивился я. — Вы, столько лет проработавший с учеными?

Старик насупился.

— А ты не смейся, парень. Нечего тут смеяться. Я дело говорю. Оно в Лабынкыре живет, а может, и в Воротах тоже. У нас его чертом кличут. А какое оно, никто не знает. Отец мне еще, помню, рассказывал, как оно за его плотом погналось. Отец даже разглядел его, черта-то. Все темно-серое, как лисья спина, а пасть громадная-громадная, и жабры с красными перепонками. И сам я видел. Когда Александра Максимовича Дымова к Лабынкыру водил, случай один был. Решили мы утицу в глине запечь, любил Александр Максимович это кушанье очень.

Сказано — сделано. Кликнул я кобелька своего и пошел к озеру. Ну, известное дело, спугнул кобелек парочку, я навзлет из обоих стволов и выстрелил. Птицы так камнем в воду и упали. Кобелек бросился доставать. Схватил сначала одну в зубы, и к берегу. Только принес, как сейчас же за второй пустился. Но не доплыл кобелек. Забился вдруг и исчез в озере. Народ рассказывает, что это черт его утянул. Прошлым летом у свояка моего, Луки, уж на Воротах, тоже собачку черт схватил. Вон оно как...

Я не то чтобы не поверил тогда старику. Я хорошо знал, что Тимофеич ничего не присочинил. Просто я решил, что он чуть-чуть, неведомо для себя даже, преувеличивает. Я даже предположил тогда, что, возможно, и водится в озерах Сордонгноха какая-то большая хищная рыба, которую хорошо бы увидеть.

Подумал и забыл. А вот теперь вспомнил. Выходит, что я видел его, сордонгнохского черта.

В нашей палатке мой рассказ произвел настоящую сенсацию. Ромка мгновенно предложил надеть акваланги и обследовать дно озера.

— Легко сказать — обследовать, — возразил ему я. — Озеро тянется на десять-двенадцать километров, и глубина его в некоторых местах достигает восьмидесяти метров.

Ромка сразу же стушевался и поскущел. Третий член нашей экспедиции, такой же толстый, как Ромка, но

более флегматичный и рассеянный, палеонтолог Боря Ревин, смущенно заморгав белесыми ресницами и сощутив подслеповатые глаза, спросил:

— Ты все же припомни хорошенько, какое оно. Это что, очень крупная рыба или амфибия?

— Ну откуда же я знаю, Боренька? Что ты ко мне привязался? Я же тебе уже сто раз говорю одно и то же. Скорее амфибия, чем рыба!

— А какая амфибия?

— Ну вот, опять двадцать пять! — вступился за меня Ромка. — Он же сказал тебе, что не знает! Да и откуда ему разбираться в этих рептилиях и амфибиях?

Но для Бори это ровно ничего не значило. Еще в школе ребята прозвали его за круглую голову и толстые, немного свисающие вниз щеки Бульдогом. Увы, сходство было не только внешнее. Более упорного человека я еще не встречал. Он все брал мертвой бульдожьей хваткой. Студентом университета Боря заболел одной бредовой идеей. Ему во что бы то ни стало захотелось собственными глазами увидеть прошлое Земли. Первобытный лес древовидных папоротников, мутное меловое болото; юрских ящеров, девонских насекомых. Его не устраивали отдельные кости и даже целые скелеты, его не волновали отпечатки на камнях и кусках угля. Он все хотел увидеть таким, как оно когда-то было. Я думаю, что у него все это началось с фантастического рассказа Ефремова «Тень минувшего». Боря прекрасно понимал, что блестящий вымысел писателя никак не воплотить в реальность, но он ничего не мог с этим поделать — его не оставляла грызущая и точащая зависть. Он завидовал героям рассказа! Завидовал и мечтал.

И он додумался. Бульдожья хватка взяла свое. Боря начал искать янтарь. Ему нужны были насекомые, древние мошки, которые когда-то увязли в липкой смоле. Эта смола, попав в море, превратилась в янтарь. Так Борис сделался ловцом янтаря. Он даже отпуск провел на Рижском взморье в поисках выброшенного прибоем янтаря. Более того, он обегал все ювелирные магазины.

Денег у него не было, и купить там что-нибудь он не мог. Поэтому он часами простаивал у витрин, пожирая глазами элегантные мундштуки и браслеты,

— Если хотите понравиться Боре,— говорили его друзья знакомым девушкам,— надевайте при встрече с ним янтарные бусы. Не отойдет. И даже провожать увяжется.

Но только в одном на тысячу желтых и медово-красных кусочков древней смолы он находил то, что искал — насекомое с неповрежденными глазами. С величайшей осторожностью Бульдог извлекал драгоценную добычу и помещал под микроскоп. Он искал на глазном пурпуре насекомых отпечатки когда-то увиденных ими картин древнего мира. Он пытался увидеть прошлое глазами мертвых. Ничего путного из этого, конечно, не вышло. Лишь однажды Боря получил микроснимок какой-то сетки, в каждой ячейке которой был виден один и тот же древовидный папоротник. Вот и все, что навеки отпечаталось в фасеточных глазах какой-то древней мухи. Я считаю, что Бульдог потерял время зря, и не придаю особого значения этой его работе. Упомянул я о ней лишь потому, что она дает представление о характере Бориса. Именно своей мертвой хваткой он вцепился в меня, когда узнал, что я уезжаю на заповедные займища Сордонгноха. План его, как всегда, был прост, прямолинеен и рассчитан на случайность, которую он, Бульдог, почему-то считал закономерностью.

— Слушай, ты,— говорил он мне,— если до наших дней на Сордонгнохском плато уцелели какие-то остатки древней флоры, я имею в виду красный мох, то мы вправе ожидать интересных, совершенно ошеломительных находок. Так?

— Ну, так,— нехотя отвечал я,— а что дальше?

— Ты туда едешь, ты там начальник, а я палеонтолог, поэтому ты должен взять меня с собой. Я буду делать все. Я умею даже варить обеды.

Отказывать было бы бессмысленно. Сейчас мне иногда даже начинает казаться, что он предвидел эту встречу с сордонгнохским чертом. С него станется!

Такой это тип. Он настолько упрям и прямолинеен, что даже удаchi его можно объяснить усталостью природы, которой время от времени надоедает бульдожья хватка. То, что само не дается в руки, он вырвет зубами.

Пожалуй, хватит о Бульдоге. Он вызывает во мне уважение и раздражение одновременно. Вот почему я,

уже раз начав о нем говорить, не могу сразу остановиться. Если бы кто знал, как он надоел своими идиотскими расспросами о черте! Он, как клещами, хочет вырвать у меня то, чего я сам не знаю. И кто ведает, может быть, ему это удастся... С него станется.

Четвертого участника мне тоже навязали. Вернее, не навязали, а как бы это точнее сказать... Борьку я взял сам (попробовал бы я его не взять!), а за биохимика Артура Положенцева замолвил слово мой непосредственный шеф. Опять-таки, попробуй отказать!

Я тогда здорово удивился. Этот Положенцев — малый с причудами. Ему тридцать два года, и он уже профессор. Но ведет себя, как мальчишка, начитавшийся приключений: вместо отдыха где-нибудь в горах или на море он увязался в экспедицию на болото. Зачем, спрашивается? Я ему тогда прямо сказал:

— Знаете ли вы, что вам придется выполнять зачастую самую неквалифицированную работу? Людей у меня мало.

— Знаю,— ответил он с усмешкой,— только здоровее буду.

— Ну, смотрите... Мое дело предупредить.

Говорят, что Положенцев бежал от неудачной любви. Не знаю. По нему ничего не скажешь. Ведет себя совершенно естественно. Как все. Веселый парень, охотник, прекрасный спортсмен и, наверное, неплохой товарищ. Замкнутый только немножко. Себе на уме. Но это уж не мое дело.

Мой рассказ о черте он встретил довольно сдержанно. Это мне не очень-то понравилось. Не люблю людей, которые делают вид, что их ничем не удивишь. В них есть что-то наигранное, что-то от ковбойских фильмов.

Ну вот, и все мои коллеги, которым я только что рассказал о встрече с чертом.

Вечер выдался холодный. Поэтому все мы рано забрались в палатку. Долго еще говорили о таинственной рептилии, строили планы, но так ничего и не придумали.

Первым заснул Ромка, потом ровно засопел Положенцев. У меня тоже начали слипаться глаза. Последнее, что я услышал, было цоканье языком. Это Борис. Если ему что запало в башку, он всю ночь так процокает, не уснет.

Как-то так получилось, что Валерий совершенно не-уловимо уклонился от погружения в озеро. Он ни разу не сказал «нет», но вышло так, что на два акваланга оказалось только три претендента. Я отнюдь не считаю Валерия трусом. Трус сбежит из этих болот на вторые сутки. Просто он излишне осторожен для своих лет. Впрочем, что там ни говори, он начальник — ему виднее. Ромка, тот сразу схватил акваланг и заявил, что отдаст его лишь после того, как падет мертвым. Борис Ревин упрямо твердил одно и то же:

— Я палеонтолог, мое право неоспоримо. Я должен ее увидеть.

— Еще скажи, что ты ее родил, эту рыбу! — поддразнил его Ромка.

Между ними разыгралась словесная перепалка. И чем невозмутимей и упорней Борис заявлял о неоспоримости своего права, тем сильнее петушился и наскакивал на него Ромка. Мы с Валерием решили вмешаться. Спокойно и логично мы попытались объяснить Борису, что, впервые надев акваланг и к тому же не умея плавать, он может испортить нам все дело.

Совершенно неожиданно он внял гласу разума и согласился с нами. Оказывается, упрямство — это не основное его качество. Он признает еще и логику. Этот странный парень начинает все больше интересоваться мной.

Так отпал еще один конкурент. Естественно, что второй акваланг достался мне. Нам с Ромкой предстояло отправиться в гости к неизвестному чудовищу. Это было отнюдь не безопасно. Подводных ружей у нас, к сожалению, не было, поэтому пришлось пойти на импровизацию. Свинтив по две буровые штанги и привязав к ним проволокой охотничьи ножи, мы получили довольно сносные пики, с которыми можно было достойно встретить любое нападение.

Первое погружение принесло глубокое разочарование, хотя вода была на удивление кристальной прозрачности. Такая видимость редко бывает даже в море. Мы прекрасно различали мельчайшие детали. В зарослях ро-

гоза и телореза шевелились уродливые личинки стрекоз. Быстрый, как капелька ртути, строил свой подводный колокол паучок-серебрянка. Юркие мальки, деловито окружившие изумрудно зеленый шар кладофоры, осторожно отщипывали махонькие куски водоросли.

Я плыл, лениво раздвигая руками прибрежные скользкие заросли роголистника. Желтовато-зеленые шишечки его соцветий были сплошь покрыты прудовиками. Впереди плыло черное чудовище. Это был казавшийся в воде великаном Ромка в гидрокостюме.

Дно постепенно понижалось. Все более тусклой становилась раскинутая на нем дрожащая солнечная сетка. Проплыв метров двадцать, мы раз за разом ныряли, уходя в глубину. Но все было тщетно. Таинственной амфибии нигде не было видно.

Когда, наконец, холод стал просачиваться даже сквозь плотную резиновую ткань гидрокостюма и шерстяное белье, повернули к берегу. Обследовали мы едва ли сотую часть большого озера, и не удивительно, что нам пришлось возвращаться с пустыми руками. Но мы так ждали этого погружения! Отчаиваться, конечно, было рано, но преодолеть разочарование оказалось трудно. Я еще старался не подавать вида. Зато Ромка, шумно пробиравшийся сквозь осоку, был мрачен, нижняя губа его сердито оттопырилась. Бедный, обиженный ребенок! Он и есть в сущности ребенок. Как-никак я старше его на десять лет. Как это много, когда мы об этом рассуждаем! И как это ничтожно мало, когда мы любим. А если она уходит, жестоко и неотвратно уходит, то и в двадцать, и в тридцать одинаково кажется, что это твое солнце заходит за тучи, навсегда покидает тебя. И никогда уже ты так не полюбишь. Но жизнь сложнее... Вот в двадцать ты этого не понимаешь, а в тридцать уже знаешь, что ничего не можешь... знать заранее. Но это знание мало помогает. Сердце редко считается с мудростью, почти никогда не считается.

Так и не увидели мы тогда сордонгнохского черта!

В тот же вечер Валерий расстелил на полу огромную синьку, на которой среди бесчисленных горизонталей и теодолитных ходов я с трудом различил контуры озера Ворота.

— Придется нам разбить озеро на квадраты,— сказал

Валерий, доставая логарифмическую линейку.— Иначе никак нельзя, уж очень оно большое.

— А рыба на веревочке привязана? — съязвил Ромка.— Сидит себе и ждет в одном квадрате, пока прочесывают остальные. Это же не мертвый предмет, а живое существо! Смешные вы, право...

На синьке лежит неподвижное пятно света. Нить лампочки карманного фонарика покраснела — ослабла батарейка.

Ромка, конечно, прав. Разбивать озеро на квадраты бесполезно. Но есть еще и другая логика. В двадцать два года ее не понимаешь, она приходит со временем.

— Вы не правы, Рома,— сказал я по возможности мягко.— Разбить на квадраты — это нужно для самодисциплины. Ну, видите ли, так будет легче нам самим. А если будем искать бессистемно, то разочарование скоро заставит нас бросить поиски как бесполезную затею. Понимаете?

Ромка кивнул головой.

— Мы вроде сами себя обманываем,— продолжал я,— но это хороший обман, нужный. Бывает, человек устал идти. Кажется, он не сможет сделать уже ни шага. Но он говорит себе: «Еще тысячу шагов, и я отдохну», а идти ему много тысяч шагов. Человек проходит тысячу шагов, но не садится, а говорит: «Ну, еще хотя бы пятьсот, а тогда...» Такие люди всегда достигают цели.

Я почему-то смутился и оглянулся. На меня пристально, не мигая, смотрел Борис. Заметив, что я почувствовал его взгляд, он тихо и застенчиво улыбнулся. Улыбка у него необыкновенная!

По натянутому брезенту гулко забарабанили тяжелые капли. В маленькой палатке, озаряемой тускло-оранжевым светом фонарика, было тепло и уютно. Дождь все усиливался. Мы улеглись в свои мешки и разговаривали лежа. Ромка рассказывал анекдоты. У него в голове анекдоты разложены в строгом порядке. Он выдает их тематическими сериями. Многие я слышал еще студентом.

Заснул я незаметно где-то на середине медицинской серии.

Когда мы вылезли утром из палатки, от вчерашней непогоды не осталось и следа. Небо глубокое и чистое. Все вокруг сверкало, переливалось, умытое росой и све-

жестью. Пахло горьковатым и терпким настоем болотных трав. Дождевые капли на крыше палатки казались россыпью аметистов, изумрудов, аквамаринов и топазов, которую безжалостно сгребают длинные руки солнечных лучей.

Наскоро умывшись и позавтракав, мы с Ромкой взвалили на плечи акваланги и отправились к озеру. Валерий и Борис, взяв теодолит и бур, ушли на Олонецкое займище еще на рассвете. Им приходилось теперь работать за четверых. Мы с Ромкой были заняты поиском амфибии. Ромка почему-то упорно называет ее рыбой.

Но и в этот раз нам не посчастливилось встретить ее под водой. Потянулась вереница одинаковых дней, наполненных азартом охоты, разочарованием и новыми надеждами. Мы проводили в воде часов по девять-десять ежедневно. Каждый вечер я зачеркивал на синьке новый квадратик. Оставалось обследовать уже меньше половины озера.

Валерий и Борис стоически переносили выпавший им жребий работать за четверых. Свободного времени у них, так же как и у нас с Ромкой, не было. Если раньше мы любили поболтать перед сном, поиграть в преферанс или в шахматы или просто помечтать у костра, то теперь сразу же засыпали.

Каждый день, когда мы возвращались с озера, нас встречал внимательный и тоскующий взгляд Бориса. Я молча разводил руками.

Он не спрашивал. Он ждал.

Опять, уже в который раз, мы выходим из воды. Шлепая ластами, вздымаем облака мягкого пелогена, раздвигаем руками осоку. Лица у нас спокойны и равнодушны. Они предназначены для зрителей.

«Ну так что же, что не нашли,— говорят наши лица,— найдем завтра или послезавтра. Чем больше неудач, тем выше шансы на удачу. Все в порядке».

Зрители сидят на берегу. Валерий и Борис решили сегодня отдохнуть. К зрителям можно причислить и Милку, которая спокойно сидит у ног Валерия. На коленях у Валерия двустволка.

— Ну как дела, рыболовы? — как-то очень незаинтересованно спрашивает Валерий,

— В порядке! — слишком быстро и бодро отвечает ему Ромка.

А мы с Борисом молчим.

Валерий поднимается и, лихо свистнув, отправляется пострелять на свое любимое место, к заросшей рогозом старице — излучине когда-то протекавшей здесь реки.

Милка пестрым веселым клубком катится вслед за ним.

Переодевшись, я прилег на нежную и высокую луговую траву. Надо мной качаются золотые лютики и лиловые водосборы, купавницы и розовые смолки. А еще выше над ними лениво плывут далекие-далекие облака, размытые и перистые.

Очнулся я от грохота двойного раскатного выстрела.

— Вот саданул дуплетом! — сказал Ромка и вскочил на ноги.

Я приподнялся на локте, потом тоже встал.

На поверхности воды, метрах в ста от берега, билась подраненная утка. Валерия видно не было. Зато мы хорошо видели с высоты второй террасы, как гнется и шевелится рогоз. Кто-то продирался к воде. Вскоре мы увидели Милку. Она проворно заработала лапами и поплыла к бьющейся утке. Милка раздвигала грудью воду, которая расходилась в стороны острым углом.

Когда до утки оставалось метров пять-шесть, Милка вдруг жалобно заскулила и ушла под воду. Затем ее голова вновь показалась на поверхности и вновь скрылась.

Мы еще ни о чем не догадывались, когда снова раздался выстрел. Я вздрогнул и обернулся. К нам бежал Валерий. Он яростно жестикулировал и показывал на воду, туда, где исчезла бедная Милка.

Мы сразу же все поняли и, не сговариваясь, начали лихорадочно натягивать на себя неподатливую резину гидрокостюмов.

Ромка увидел чудовище первым. Он внезапно остановился и, широко расставив ноги, повернулся ко мне, указывая куда-то в зеленоватую тьму. Сначала я ничего не заметил, но вскоре различил в глубине огромное темное тело. В воде предметы кажутся увеличенными

ми. Чудовище показалось мне размером с небольшую подлодку.

Резко согнувшись и выбросив ноги вверх, мы толчком ушли в глубину. Когда пальцы коснулись мягкого и нежного ила, я выбросил руки вперед и, согнув кисти надобие направленных вверх рулей, поплыл над самым дном. Впереди неясно маячила темная тень. Я начал подкрадываться, еле-еле шевеля ластами. И тут только я понял, что второпях забыл свое копье на берегу. И копье и камеру для подводной съемки. Вот невезение!

Ромка плыл метрах в четырех впереди. Я догнал его и притронулся к плечу. Он резко обернулся, точно испугался чего-то. Я, горестно скорчив рожу, показал ему свои пустые руки. Он понял и сделал мне знак плыть за ним.

Чудовище было совсем рядом. Оно и не думало уплыть. Не шевелясь, стояло оно над самым дном, как в жаркий день стоят в тени кустов форели.

Я почему-то вдруг успокоился и начал внимательно разглядывать сордонгнохского черта. Это, несомненно, была рептилия. Может быть, представитель давно вымерших ящеров, о которых не знают наши ученые. Массивная огромная голова животного была украшена отливающими металлом пластинками, которые переходили по бокам в огромные щиты-крышки, похожие на жаберные. На этих щитах резко выделялись нежно-желтые пятна. Перепончатые лапы были поджаты к туловищу, как плавники у спящей рыбы. Так что Ромка кое в чем оказался прав. Было в этом черте что-то рыбье, несомненно, было. Даже высокий гребень, который увидел еще Валерий, напоминал спинной плавник рыбы. Сейчас он был полусложен, но можно было ясно различить составляющие его колючие лучи и буровато-рыжие пятна на перепонке. Хвост длинный и острый. Настоящий хвост ящера, на самом конце которого во все стороны торчали четыре острых рога. Подобный хвост украшал когда-то травоядного ящера — стегозавра. Он служил ему грозным орудием защиты против хищников.

Я показал Ромке на хвост, он понимающе кивнул головой и переложил пику из левой руки в правую. Мы начали осторожно подплывать к ящеру. Чудовище не обращало на нас ровно никакого внимания. Казалось, оно

целиком было поглощено процессом переваривания несчастной Милки.

Я не знаю, как это случилось. Мы никогда не говорили, что чудовище нужно убить. Речь шла лишь о съемке и возможной обороне. Но тут я с замиранием сердца ждал, что Ромка всадит в ящера копьё. Я бы и сам всадил, будь оно у меня в руках. Почему это так, я даже не берусь объяснить. Может быть, Милку было жаль, а может...

Ромка метнул копьё прямо в огромный, затянутый тонкой кожистой пленкой глаз. Чудовище вздрогнуло и рванулось прочь. Ромка резко вырвал копьё из раны и бросился вдогонку. Я устремился вслед. Ящер кидался из стороны в сторону. По воде расплывались облачка коричневатого дыма. Я даже не сразу понял, что это кровь.

Вторым сильным взмахом Ромка всадил копьё в морду подраненного гиганта; удар пришелся между двух больших наростов. Копьё, однако, скользнуло в сторону. Наверно, наткнулось на кость. Ромка оказался в опасной близости от головы. Я резким ударом ласт приблизился к ящеру с другой стороны и ухватил его за огромную перепончатую лапу. Лапа рванулась и рассекла мне руку тремя острыми когтями от кисти до локтя. Ромка, воспользовавшись удобным моментом, — он оказался под ящером, — вонзил пику прямо в незащищенное горло. Оружие ушло в тело на целую штангу. Орудую копьём, точно ломом, Ромка надавил на него обеими руками. Шея животного была почти перерезана, и оно, конвульсивно вздрагивая, стало медленно опускаться на дно, как кленовый лист в безветренный осенний день.

Воздуха в баллончиках оставалось не так уж много, и нам следовало поторопиться. Рука моя болела все сильнее.

Мы быстро нырнули и, подхватив издыхающее чудовище за огромные лапы, поплыли к берегу. Я с опаской поглядывал на перепончатую когтистую лапу и крепко сжимал ее обеими руками. Ящер не подавал признаков жизни. Это было странно. У примитивных существ с малоразвитым мозгом агония может длиться очень долго. Кто не видел петухов, бегающих по двору после того, как им отсекли головы...

Но особенно размышлять не приходилось. Мы плыли и благословляли закон Архимеда — на суше нам не удалось бы сдвинуть чудовище с места. Дно постепенно повышалось. Стало светлее. Появились первые кустики элодей и перистолистника.

Вдруг я почувствовал себя плохо. Мне стало очень холодно. Вода пропитывала влагоемкую шерсть в разорванном рукаве, тонкими холодными ручейками стекала по спине и груди. Боль накатывалась, как волна, в такт ударам сердца. Все сделалось призрачным, нереальным. Я видел, как колышутся грязно-зеленые заросли рдеста и подо мной вскипают и расходятся пузыри. Потом мне показалось, что сердце переместилось в мозжечок и стало стучать, как молот, гулко и болезненно.

Мне уже не хватало воздуха. Я крепко сжал зубами загубник и, часто глотая слюну, попытался отогнать поднимающуюся откуда-то с темного дна тошноту. Руки и ноги сделались чужими, я не чувствовал их. Кое-как, вцепился в когтистую лапу и повис под боком чудовища. Хотелось передохнуть хотя бы минуту, прийти в себя, отогнать непонятную дурноту и плыть дальше.

Тусклая солнечная сетка лениво колыхалась на мягких и скользких холмиках донного ила. Лениво струились над самым дном мохнатые от тины ленты озерных трав. Возле жирного белого корневища кубышки лениво рождался пузырек газа. Он медленно рос, неторопливо отрывался от земли и весело уносился к поверхности. Мне показалось, что дно вдруг стало быстро приближаться. Я мотнул головой и, стараясь пересилить непонятное оцепенение, взглянул вверх. Над мной висела огромная веретенообразная туша.

Вот от нее оторвалось что-то большое и яркое и понеслось ко мне. «Как парашютист с самолета», — почему-то подумал я. Передо мной застыло розоватое расплывчатое пятно. Я до боли зажмурился и сразу открыл глаза. Из-за овального стекла маски на меня смотрели удивленные и немного сердитые глаза Ромки. «Почему же мы не плывем дальше, ведь до берега уже совсем близко» — подумал я и попытался жестами спросить Ромку. Он ничего не понял и только нетерпеливо махнул рукой: «Давай, мол, пошли. Чего стали». Я попытался согнуть колени и оттолкнуться ластами от дна. Но меня занесло вбок. Я опять увидел рядом с собой грязно-

зеленые мелкие листья, уродливую личинку стрекозы, резко сгибающую и разгибающую свое серое, членистое тело. Рука уже не болела, ее жгло, точно ее всю обложили горчичиками. Передо мной мелькнуло неясное и неуловимое видение. На долю секунды я узнал его и тотчас забыл. Остались лишь колышущиеся цепочки рдеста. Они мне что-то мучительно напоминали. Но что? Все было как во сне, когда знаешь, что спишь, и снится что-то очень знакомое, что уже снилось раньше. Стараясь припомнить тот, прошлый сон, и не можешь. Он ускользает, как вода из пригоршни.

Очнулся я на берегу. Надо мной хлопотал Ромка. Валерия и Бориса поблизости не было. Рука была крепко забинтована, тело приятно горело. Вероятно, меня основательно растерли полотенцем. Под байковым одеялом было хорошо и спокойно. Щеку ласково щекотала травинка. Приятно пахли медовые травы. Деловито и ненавязчиво звенела оса.

Увидев, что я раскрыл глаза, Ромка смущенно подмигнул и спросил:

— Хотите немного водки?

Я покачал головой:

— Где ящер? Вы его вытащили?

— Куда там вытащил, — махнул рукой Ромка, — на силу вас...

Ромка лег со мной рядом на траву, сорвал стебелек и начал его сосать.

— Я оставил его на дне, завтра достанем. Мертвое чудовище само не уплывет. Я заметил место по береговым ориентирам... Никуда оно за ночь не денется! Вы не волнуйтесь.

А я и не думал волноваться: Мне очень хотелось спать. Разговаривал с Ромкой через силу, борясь со сладкой дремотой. Небо надо мной было синее и густое, как самая чистая берлинская лазурь. Мне не хотелось думать ни о чудовище, ни о письмах, которые все не шли. Я скользнул в сон, как в теплую ароматную ванну.

Сначала нам показалось, что мы ошиблись. Мы несколько раз всплывали, чтобы проверить ориентиры, искали подводные течения или бьющие со дна ключи. Мы обшарили каждый кустик водорослей, каждую выемку —

все безуспешно. Ящер исчез. Мертвое чудовище выкинуло еще одну шутку. Действительно, черт! Скорее всего, рана оказалась не смертельной; истекающий кровью ящер, одноглазый и с распоротым горлом, пришел в себя и уплыл, чтобы умереть где-нибудь в омуте. Что еще можно было предположить? А мы-то рвались! Притащили с собой веревки и крючья, чтобы легче было вытащить огромную тушу на берег.

Разочарование было настолько сильно, что все мы переругались. Даже Борис, спокойный и справедливый, обрушил на мою и Ромкину головы самые чудовищные обвинения.

Я попытался хоть как-нибудь спасти положение.

— Как вы думаете, куда оно все-таки могло деться? — спросил я.

— Какое это теперь имеет значение? — махнул рукой Борис.

Ромка молча пожал плечами.

— Может быть, его унесло водой, а скорее всего, оно само уплыло, — сказал Валерий.

— Ну, если унесло водой, то это пустяки, — нарочно бодро протянул я.

— Я не заметил никаких придонных течений и водоворотов. Вряд ли его могло унести далеко...

— Тогда у нас большие шансы встретить его еще раз! И давайте пока не будем строить догадок: что, почему, отчего и зачем. Поймаем черта, и тогда все узнаем.

— Да-а, поймаем... Как же! Ищи ветра в поле, — прошептал Борис, который никак не мог успокоиться.

— Уже раз поймали! — сказал Ромка. — Поймали и все узнали.

— Да будет вам, — вступился за меня Валерий. — Как будто Артур Викентьевич больше всех виноват!

— В том-то и беда, что здесь никто не виноват, — сумрачно сказал Борис.

Закатное золото залило лужи. Травы поскучнели, тронутые синью вечера. По низинам поползли первые молячные пленки тумана. Кричала выпь. Я подумал о веренице дней, наполненных горечью неудачного поиска. Встретим ли мы еще раз сордонгнохского черта? Времени у нас в обрез. Через две недели мы ждали вертолет, который должен быть забрать нас на Большую землю.

— Знаете, что, — сказал я, — к черту технику безопасности. Будем плавать в одиночку. Рома — на севере, я — на юге. Так больше шансов.

Все промолчали, каждый по-своему. Ромка был согласен со мной. Валерий не имел морального права мне возразить. Борис видел только одно: цель, остальное его не интересовало.

Только на одиннадцатый день я опять увидел ящера. Как и в прошлый раз, он неподвижно стоял у самого дна, поджав лапы и сложив гребень. Проглотив слюну, я пощупал, крепко ли сидит на штанге нож. Подплыть к чудовищу я решил слева, со стороны выколото́го глаза. Каково же было мое удивление, когда там, где одиннадцать дней назад зияла кровоточащая рана, я увидел здоровый глаз, полузакрытый совсем свежей розоватой кожистой пленкой. Но ведь именно в этот глаз Ромка вонзил копьё! А может быть, я перепутал... Заплыл с другой стороны — тоже вполне здоровый глаз. Это было непостижимо! На ум лезла всякая чертовщина. «Что, если здесь их два... Или еще больше!» — подумал я, ныряя вниз. Надо мною сонным аэростатом висело чудовище. Плывая животом вверх, я еле-еле различил на сморщенной и нежной коже горла следы недавних смертельных ран. Сомнений быть не могло: это тот самый ящер. Откуда же тогда такая жизненная сила, такая мощная способность к регенерации?

Я сфотографировал животное со всех сторон. Даже страшный хвост был запечатлен на пленке с расстояния в четыре метра. Говоря по чести, я не знал, что мне делать дальше. Мне не хотелось убивать это странное животное, неведомо как попавшее в озеро Сордонгнохского плато. Кто знает, может быть, точно такое же чудовище обитает бог знает сколько веков в шотландском озере Лох-Нес?

Мною овладело мучительное желание отрезать от ящера кусочек мяса. Это было совершенно естественно и неизбежно. Какой ученый прошел бы мимо такого явления, как полная и почти мгновенная регенерация?

Но выполнить мое намерение было не так просто. Я не забыл царапин, которые ящер оставил у меня на руке. Не будь гидрокостюма, я бы не отделался так легко. Чу-

довище не станет покорно ждать, пока от него отрежут кусочек. Я удивлен, почему так легко нам удалось с ним справиться в прошлый раз. Это была всего лишь случайность. На победу у меня было не очень много шансов.

И все же я решил рискнуть. У ящера под глазом торчала уродливая шишка. План мой был прост: вонзаю копьё в шишку, мгновенно проворачиваю его там, затем подплываю еще ближе, рукой вырываю клочок мяса и улепetyваю во всю мочь. Это, конечно, был простой план, простой и идиотский.

Почувствовав удар, животное резко рванулось и вышибло у меня из рук копьё. Развернувшись как дельфин, ящер бросился на меня, раскрыв огромную оранжевую пасть с мелкими острыми зубами. Я шарахнулся в сторону. Бешено работающий хвост пронесся у самого моего лица.

Ящер повернулся и сделал второй заход. Мне удалось снова увернуться. Здесь я заметил, что наконец ящер начал ослабевать. Он как бы утратил ко мне и вражду и интерес. Не будь этого, я уже вряд ли сумел бы увернуться и избежать отвратительных зубов. Когда ящер проносился мимо меня, я успел вновь крепко схватиться за копьё и лег ему на голову. Животное таскало меня над самым дном. Я начал было подумывать о том, что нужно незаметно отцепиться и выплыть на поверхность.

Внезапно ящер рванулся, и я сполз на бок. Бессознательно, стараясь вновь залезть на голову чудовища, я обхватил его руками. Тело животного было покрыто противной липкой слизью. Превозмогая отвращение, я все крепче цеплялся за него пальцами. Но пальцы все время соскальзывали. Не знаю, как это вышло, но указательным пальцем левой руки я попал в какое-то углубление на костяной крышке.

Ящер замер на месте, точно парализованный. Я был в полнейшем изнеможении. Мне трудно было даже разжать зубы, сдавившие загубник акваланга. Я отдыхал, повиснув на костяной крышке. Одной рукой я сжимал копьё, пальцы другой впились в углубление. Мне некогда было размышлять над новыми загадками. Быстро отрезав от шишки кусок мяса величиной с большую картофелину, я сунул его в надгрудный карман гидрокостюма. Я уже хотел было оттолкнуться от ящера ногами, когда

заметил, что несмотря на клубящуюся над порезом кровь, он затягивается тонкой, как копировальная бумага, пленкой. Но мало этого! Шишка начала медленно, но вполне ощутимо расти. Я следил за этим необыкновенным ростом до тех пор, пока не раздался щелчок, предупреждающий, что воздух в баллончиках на исходе. К этому времени шишка выросла на добрый сантиметр. Если рост не замедлится, то уже часа через три она восстановится полностью.

Поправив на груди бокс с фотоаппаратом, я оттолкнулся и пошел на поверхность. Уже лежа на воде и плывя к берегу, я взглянул вниз. Там, в глубинной зеленоватой тьме, виднелась массивная темная цистерна, которая медленно уплывала в противоположную сторону, унося с собой неразгаданную тайну.

*Роман Оржанский,
геодезист-практикант*

Артур Викентьевич позвонил мне на работу. Он просил обязательно приехать сегодня вечером к нему домой. Целый день у меня все валилось из рук. Я не мог дожждаться вечера. Время тянулось томительно долго. Неужели сегодня я, наконец, узнаю тайну сордонгнохской рыбы? Почти восемь месяцев прошло с тех пор. Артур Викентьевич безвылазно сидел у себя в лаборатории. Он не подходил к телефону, отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Даже настырный Борис не мог от него ничего добиться. Валерий, правда, как-то загадочно намекнул, что Положенцев бежит от самого себя. Но Валерий всегда делает вид, что знает о чем-то, что неизвестно другим.

Я не думаю, чтобы это было так. Просто человек с головой ушел в работу и не хочет отвлекаться по мелочам. И вот сегодня, наконец, мы все узнаем. Жаль только, что Валерий улетел на Алтай... Но я обязательно напишу ему, как только узнаю что-нибудь новое. Все-таки он первый увидел эту рыбу.

Целый час я бродил по Садовому кольцу. Шел мелкий, противный дождь, мостовая была, как черное зеркало. В нем плясали огненные змеи и тонули пронзи-

тельные красные огоньки. Я решил прийти к Положенцеву не раньше восьми. Но сейчас без четверти семь. А я уже нажал звонок.

Я думал, что буду первым, но в комнате уже сидел Борис.

Артур Викентьевич предложил нам коньяку. Я выпил, а Борис не захотел. Сказал, что не пьет. Мы сидели и молчали, точно боялись заговорить.

— Знаете, — неожиданно начал Положенцев, — тот ящер, то таинственное существо, которое мы чуть не убили, бессмертно.

Мы даже рты раскрыли от удивления.

Борис сходу отпарировал:

— Ерунда! Неужели иначе нельзя объяснить существование в наше время доисторического животного? Выходит, что кистеперая рыба латимерия тоже бессмертна? Не ожидал я от вас, Артур Викентьевич, таких несерьезных шуток.

— Я не шучу, Борис, — мягко и печально ответил Положенцев.

Но Бориса уже понесло. Со свойственным ему упрямством, он продолжал долбить в одну точку:

— Судя по фотографиям, ваш ящер близкий родственник десятиметровых змееподобных мезозавров, населявших моря в меловой период. В условиях Сордонгнокского плато они сумели сохраниться, как сохранился красный третичный мох.

— Вы не поняли меня. Но ящер все же бессмертен. Как это произошло? В этом могут быть виноваты и вода этого озера, и его растения. Может быть, какое-то особое излучение. А может быть, оно по своей природе бессмертно...

— А что вам кажется наиболее вероятным? — спросил я.

— Не знаю. Меня не это интересует... Да и не любитель я строить гипотезы. Я привык оперировать только фактами. Кое-какие факты у меня есть. Если хотите, я вам их изложу.

Тишина стояла такая, что гудело и шуршало в ушах. Полусонная ночная бабочка билась в отражателе торшера. Молчал приемник. За стеклами окон молчал притихший мир. Молчали и мы.

— Я обработал у себя в лаборатории препарат, взя-

тый мною у ящера. — Артур Викентьевич говорил как-то очень спокойно, неестественно спокойно. — Работы было достаточно, до сих пор опомниться не могу. Вам не все будет понятно, и я скажу только о результатах.

Он задумался. Закурил. Потом отложил сигарету и опять начал говорить, медленно расхаживая по комнате:

— Мне трудно вам рассказывать. Ты, Борис, как палеонтолог знаком с основами биологии и современной биохимии. Но вот Роман... Наверняка геодезисту неизвестны некоторые очень важные принципы генетики и физиологии. Поэтому я буду говорить популярно. Тебе, Борис придется немножко поскучать. Вы знаете, что такое ДНК, РНК, АТФ? Наверное, приблизительно знаете, но я все же еще повторю. Так вот. ДНК — двойная спираль, сложная молекула нуклеиновой кислоты, основной носитель наследственности. Она обеспечивает видовое бессмертие живых организмов, передавая неизменную наследственную информацию от предков к потомкам. Для нее не существует перерывов, вызываемых смертью. Она способна воссоздать самое себя из окружающих ее продуктов. Самое интересное, что природа задумала нас как бы бессмертными. В организме тридцать триллионов клеток. Но нужно лишь сорок делений, чтобы все клетки были заменены новыми. Деление омолаживает клетку. Она превращается в две новые, в точности похожие на старую, материнскую. В точности, да не совсем! И тут-то все дело. В структуре ДНК постепенно накапливаются ошибки. Ничтожные, неразличимые. Но клеток много, и, как следствие закона больших чисел, на сцену выступает смерть. Старость и умирание — это накопление ошибок в структуре. Понятно?

Борис кивнул головой. Мне было не очень понятно, но главное я, по-моему, уловил.

— А нельзя ли как-то избежать этих ошибок, бороться с ними? — спросил я.

— Вы, Рома, уловили самую суть. — Положенцев положил мне руки на плечи. — Именно суть! Оказывается, можно избежать ошибок, которые накапливаются при митозе. На установке электронного парамагнитного резонанса я получил спектр нуклеопротейдов ящера. Это тоже двойная спираль, наподобие винтовой лестницы, ступеньками которой служат азотные мостики. Но в этих

мостиках есть один секрет. Они не отделены друг от друга, как у всех животных и растений на земле, а, наоборот, соединены в особую третью спираль, наполненную свободными атомными группками — радикалами. Как только при делении клеток в структуре какой-нибудь ДНК возникает дефект, он мгновенно устраняется этими радикалами. Они работают, как скорая помощь. Скорая помощь вечности. Я выделил из препарата вещество, которое, если его ввести в организм, мгновенно размножится, проникнет во все клетки и сделает их бессмертными. Когда-то кто-то ввел это вещество в кровь доисторического ящера. Ящер донес его до нас. И вот теперь...

Зазвонил телефон. Положенцев взял трубку. Лицо его изменилось, словно кто-то причинил ему большую боль. Положенцев говорил сдержанно и односложно. Нельзя было понять, с кем он говорит. Он тихо сказал в трубку: «Да, хорошо, конечно...» и осторожно опустил ее на рычаг.

Потом он повернулся к нам:

— Простите, друзья, я вынужден принести вам свои извинения. Мне срочно нужно поехать в одно место. Это очень важно. Вы не сердитесь. Я сам вам позвоню, мы опять соберемся и обо всем поговорим.

На улицу я вышел, как в жестоком бреде. Голова пылала, и было даже приятно, что идет сильный дождь. Никогда я не думал о бессмертии, и тут вдруг оно подкатилось неожиданно близко. Оно стало реальностью. Не знаю, хорошо это или нет, но я даже не знал, хочу ли быть бессмертным. От этого кружилась голова. Потом я стал думать о Положенцеве. Это, несомненно, гений... Но он, наверное, не очень счастлив. Вспомнил я о смутных намеках Валерия на неразделенную любовь к красивой и злой женщине. Наверное, это она сегодня звонила. Но почему она не оставляет его в покое? Зачем она его мучает, напоминает о себе, не дает забыть? Будь я на месте Положенцева, я бы давно плюнул. Такой человек! А он не может, несмотря на всю свою силу и решительность, несмотря на гениальность. Станный человек. А может, и не странный. Просто, он очень любит...

А кто же все-таки сделал рыбу бессмертной? Профессор Положенцев не может позволить себе фантазии, а я могу, я — не профессор. И я написал рассказ...

«Теплая и жирная вода океана казалась неподвижной. Впервые за много миллионов лет в ней отражалось буйное цветение деревьев. Шумели гигантские дубы и буки, раскидистые платаны роняли трепетный лист. Как дары любви, бросали в воду магнолии свои белые, с ароматом яда и сладости цветы.

Высоко в южном небе летели странные птицы с длинными зубастыми клювами. В чаще лесов жарко дышали болота. В них прели исполинские стволы, млели диковинные животные с длинными, как анаконды, шеями. Там беспрерывно кто-то кого-то жрал. Порой маслянистая золотисто-коричневая, как иприт, жижа лопалась, и на пятачке темной, кофейной воды закипал свирепый поединок пятнадцатиметровых мезозавров. И в укромных норах, в узких и темных щелях прятались маленькие, не больше крысы, зверьки. Это были млекопитающие — будущие властелины земли.

Окутанный дымом и огнем тормозных двигателей, на узкую песчаную косу медленно опустился звездолет; его встретил лишь высунувшийся из воды ящер. Маленькие глазки не выражали ни удивления, ни радости, ни злобы. И если хоть какая-то искра пробежала в крохотном мозгу, то это была смутная мысль, что с неба спустился кто-то еще больший, чем он сам. Никаких ассоциаций, полное отсутствие каких бы то ни было причинных или смысловых связей. Кроме одной: если больше, то обязательно сожрет. И ящер юркнул обратно в воду.

Когда звездные пришельцы вышли из своего корабля, на маслянистой поверхности воды не было даже расходящихся кругов. Лишь высоко-высоко метались крылатые ящеры, а из чащи леса доносился гул миллионов жующих челюстей.

Как они выглядели, звездные пришельцы? Конечно, они не были похожи на людей. Природа гораздо богаче, многосторонней и мудрей, чем ее пытаются изобразить. Она познает самое себя, создавая могучий живой интеллект. И путь, по которому пошла земная жизнь, конечно, не единственный и, возможно, не самый лучший. Жизнь — это борьба с энтропией, и белковые тела отнюдь не единственный вид борцов.

Звездные пришельцы облетели всю Землю. Они спу-

скались в морские пучины, восходили на высокие горы, продирались сквозь чащи лесов. Но нигде они не обнаружили даже следа мыслящих существ. Знали ли они, что потомкам похожих на водяных крыс амфитерий и заламбуалестесов предстоит через миллионы лет взобраться на деревья, превратиться в лемуру и обезьяну и вновь слезть на землю уже людьми? Знали, а может быть, и не знали. А на Земле кипела жизнь, каждую секунду разыгрывались драмы — в борьбе за существование.

Эволюция неотделима от смерти. Каждое живое существо — это пища. Даже гигантские звероящеры падают под ударом невидимых бактерий, чтобы украсить обед земляных червей. Экологически замкнутый цикл. Длинный, мучительный путь! И когда вдруг сверкнет сознание и человек поймет, что он уже человек, природа скажет ему: «*Нотто сариенс*, ты смертен». Неправедливость! Сознание и смерть непримиримы между собой.

Звездные пришельцы это знали. Когда-то их предки восстали против страшной ошибки. Познающий природу должен быть бессмертен. И они стали бессмертными. Они заплатили за бессмертие миллиардами жизней, миллиардами маленьких вселенных, каждая из которых неповторима.

И на переживающей меловой период Земле они решили избавить тех, кто появится здесь через миллионы лет, от трагических жертв познания. Но как избавить? Кому передать священный и вечный огонь, бегущий в их жилах?

Прежде всего пришельцы изучили механизм наследственности у населяющих Землю существ. Он оказался одним и тем же и у ящеров, и у насекомых, и у цветов. Потом они синтезировали вещество, которое выправляло накапливающиеся в процессе деления миллиардов клеток ошибки. Им, уже победившим однажды смерть, это было нетрудно. Но как передать драгоценный дар тем, кого еще нет, как перешагнуть бездну времени?

Выбор пришельцев пал на чудовищных ящеров. Этим нелепым созданиям природы, этим излишкам производства не суждено превратиться в мыслящих существ. Это боковая ветвь эволюции. Но если это так, рассуждали звездные пришельцы, то когда-нибудь по костям гиган-

тов грядущие мыслящие существа сумеют прочесть прошлое своей планеты.

А если вместо костей им встретится живое ископаемое, что тогда? Тогда они поймут его и узнают, почему оно выжило. И в их воле будет принять или отвергнуть оставленный дар.

Пришельцы поймали громадных, сильных ящеров, впрыснули им в кровь огонь вечности и бросили их в темные, глухие воды самых диких и уединенных озер.

Если грядущие мыслящие, думали звездные гости, сумеют найти наших посланцев и победить их, то, наверное, они уже будут стоять на такой ступени, когда смогут понять и оценить наш дар. Сколько поколений будет спасено от бессмысленного уничтожения! Сколько детей станет на еще непослушные ножки, чтобы сделать свой первый шаг, но не по пути к смерти, а по дороге Вечности.

Мы благодарим вас за тот чудесный и бесценный дар, звездные братья!»

*Письмо Артура Положенцева к****

Милая! Я только что прочел взволнованный гимн, написанный чудесным и чистым юношей. Если бы ты знала, как мне трудно! Сейчас, как никогда, я чувствую себя в ответе за каждую жизнь на земле. Я все о том же. Когда я узнаю, что сегодня кого-то не стало, когда я думаю о тысячах не знакомых мне людей, которые сегодня ушли, мне хочется кричать и бежать куда-то, потеряв разум.

Я не знал, что Рома поэт. Поэту легко принять или отвергнуть бессмертие. Я ученый. И прежде чем что-то сказать, я предпринял эксперимент.

Я впрыснул эликсир бессмертия двадцати кроликам и десяти морским свинкам. Через восемь дней способность к регенерации у животных достигла максимума. Все контрольные животные погибли от нанесенных им ран, подвергнутые же инъекции впали в анабиоз, а через несколько часов (у кроликов через семь-восемь, у

морских свинок через пять-шесть) раны оказались заживленными. Утраченные органы — глаза, лапы, грудные железы отрастали в течение трех суток.

Потом началась новая серия экспериментов. Подвергнутые инъекции животные были перенесены в помещение, где можно следить за любыми изменениями в их жизни.

Я ждал. Но ничего не было. Лишь на двадцать восьмые сутки я заметил, что начали исчезать различия между самцами и самками. С каждым днем этот процесс протекал все более интенсивно. Вскоре уже невозможно было отличить самцов от самок. Животные утратили пол. Этого следовало ожидать. Бессмертному существу размножения не нужно. Оно теряет свой смысл. Вид может сохраниться уже сам по себе, без эстафеты поколений.

Я продолжал наблюдать. Животные все чаще впадали в спячку, они стали вялыми, перестали играть, двигаться. На сорок седьмой день случилось самое страшное. Они совершенно утратили активный образ жизни. Их перестало интересовать все, кроме пищи. Постепенно начали тупеть органы чувств. Приток информации о внешнем мире резко сократился. Эта информация перестала быть нужной. Они черпали ее, если это действительно возможно, из каких-то не известных мне внутренних ресурсов. Они стали вещами в себе. Они перестали быть животными, как мы перестанем быть людьми, если вольем в свои жилы этот адский огонь.

Это страшно! Я знаю, что такое любовь. Даже такая безответная и безнадежная, как моя. Бесполому и бессмертному существу чужда любовь, она ему не нужна. И оно перестанет быть человеком. Оно перестанет познавать в явлениях сущность вещей. Поэтому оно потеряет разум и станет ненужным и жестоким пожирателем пищи.

Я не верю, что бессмертные звездные пришельцы, если они действительно существовали, были разумными существами. Я не верю, что они были способны на великодушный порыв к кому-то, кого еще нет во времени. Я вдруг вспомнил качающиеся цепочки и спирали рдеста. Это было в глубине озера. Я чуть тогда не утонул. Они на какое-то мгновение показались мне похожими на цепочки и спирали молекул ДНК. Теперь, когда я вспоми-

наю об этом, мне кажется, что уже тогда мог бы разгадать генетический код, которым зашифрован механизм наследственности бессмертного существа. Впрочем, какая уж тут наследственность? Это не наследственность! Это непрерывное обновление и воссоздание организма, которому ничего не нужно, кроме пищи! Это дар дьявола. Недаром охотники называют ту рептилию чертом. Я не верю, что мысль, преодолевшая межзвездные пространства, могла родиться в мозгу вот такого черта. Для того, чтобы бесконечно есть, не нужно мыслить.

Во имя любви, во имя слез радости и муки, во имя тебя и во имя разума, я отвергаю этот дьявольский эликсир. Но, пойми меня верно, смею ли я решать это один, за всех людей сразу? За всех: храбрых и трусов, за безнадежно больных, за безруких и безногих инвалидов войны, за тех, у кого напалм выжег очи?!

Конечно, у меня есть выход. Я могу уже сейчас передать все собранные мной материалы в Президиум Академии наук. Коллективный разум моего народа найдет верное решение. А я увильну от ответственности выбора. Но честно ли это? Может быть, я должен сначала решить этот вопрос сам. И со своим решением идти на суд к людям. Ведь это я и мои товарищи вырвали у природы страшную тайну...

Мне нужно много, мучительно думать. И я не хочу, чтобы что-нибудь повлияло на мое решение, даже любовь. Я не имею на это права.

Мне это особенно трудно теперь, когда опять возобновились наши редкие встречи. Я не должен сейчас тебя видеть. Прости и пойми меня.

А р т у р

Валерий Курилин, геолог

Никогда бы не подумал, что умные и образованные люди могут наворочать так много ерунды. Меня не столько удивил Роман, сколько Положенцев. Неужели любовная история могла так на него повлиять? Все эти разговоры о судьбе человечества, зависящей якобы от него, Положенцева, меня раздражают. Не от профессо-

ра Положенцева зависят судьбы человечества, как не во власти Эйнштейна было открыть или не открыть атомную эру.

Но если говорить откровенно, мне жаль ребят. Они очень мучаются, точнее, беспощадно рвут себя на части. Ромкина восторженности после того, как он узнал об экспериментах Положенцева, сменилась острой тоской и детской обидой. Вероятно, это самое тяжелое разочарование в его жизни. Да и кто бы не клюнул на такую приманку, как бессмертие? Признаться, когда я получил сумасшедшее письмо Ромки, у меня тоже что-то шевельнулось в сердце. Конечно, разум мой был непреклонен: я не верил в бессмертие. Но все же в тайниках души задрожала потаенная струна и, точно в резонанс ей, я подумал: «А вдруг»... Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, это невозможно. Сколько бы ни возился Положенцев, рисуя схемы хромосомного механизма, термодинамика есть термодинамика. А законы природы нельзя аннулировать.

Я допускаю возможность регенерации любых тканей и органов, даже сколь угодно долгую жизнь. Но не вечную. И то, что я не специалист, а Положенцев крупный биохимик, ровно ничего не говорит. Даже гении естествознания заблуждались, когда теряли под собой философскую базу.

Заблуждается и Ромка, сочинивший занятную сказку о космонавтах древности. Эта сказка кажется правдоподобной лишь потому, что нет пока никакого другого объяснения тайне Сордонгнохского озера. Я не могу опровергнуть довольно логичные рассуждения Ромки, но это не значит, что я должен им верить. Я не верю ни в эту сказку, ни в великого бога марсиан, найденного летом в Сахаре, ни в старт космолета, разрушивший Содом и Гоморру. Когда-нибудь все это получит иное объяснение.

Вот что мне действительно интересно разгадать, так это мысли Бориса. Я чувствую, что Бульдог опять во что-то вцепился. Во что? Он молчит и даже как будто бы не очень интересуется нашими сомнениями. Но мне кажется, что в его круглой, как тыква, башке идет неутомимая работа. Интересно, что он задумал...

Вчера мы вчетвером собрались в лаборатории Положенцева после работы. Положенцев просил нас пока по-

временить и держать все в тайне. По-моему, он прав. Надо еще очень многое проверить.

Только вместо бесплодного фантазирования нужен кропотливый труд. Кто знает, может, у нас в руках действительно великая тайна природы. Только не бессмертие, а нечто более существенное и важное. Я не бросаюсь словами и не браввирую. Люблю жизнь и хочу жить долго. Но в бессмертие не верю, его нет, и поэтому оно меня действительно не интересует. Ромка не может этого понять, Положенцев, вероятно, считает меня толстокожим и ограниченным... Что ж, у каждого свой взгляд на мир.

Я невольно позавидовал Положенцеву. Какая у него прекрасная, современнойшая лаборатория! Ультрацентрифуги, электронный микроскоп, инфракрасные и ультрафиолетовые спектрографы, парамагнитный резонанс, счетные машины и счетчики заряженных частиц. Я только читал о таких приборах, только в кино видел такую лабораторию. В моей лаборатории нет стен и крыши. Моя лаборатория — весь мир. И не то, что бы я хотел поменяться с Положенцевым. Нет. Я просто ему позавидовал. В книгах это называется хорошая зависть.

Мы собрались, чтобы поговорить, но сначала долго сидели и молчали. Мы чувствовали себя соединенными одной большой идеей. Это было радостное и тревожное чувство.

Борис подошел к стеклянному ящику, в котором, съевшись, спали морские свинки.

— И долго они будут так спать? — спросил он, барабанив пальцами по стеклу.

— Вечно, — серьезно ответил Положенцев. — С кратковременными перерывами на обед.

— Им что-нибудь снится?

— Не знаю.

— Вы говорили, что они черпают информацию за счет каких-то внутренних ресурсов. Я не могу этого понять.

— Значит, им все-таки что-то снится, — сказал Роман.

— Может быть, и так, — тихо улыбнулся Положенцев. — Только сны рождаются не в мозгу, вернее не только в мозгу, но и во всех клетках тела.

— Парадокс, — заключил я.

— Парадокс, парадокс, ну и что ж что парадокс! —

Положенцев встал со стула. Вероятно, ему в голову пришла какая-то интересная мысль и он поспешил ее высказать, чтобы не упустить. — Молекула ДНК имеет вид длинного скрученного волокна. Это, по сути, та же магнитная лента. Будет ли ребенок голубоглазым или черноокиим, склонным к полноте или худым, начнет ли он рано лысеть или сохранит шевелюру до преклонных лет, — все это записано на волокне ДНК в виде электромагнитных вариаций.

Многое говорит о том, что в какие-то моменты или, возможно, в течение всего периода эволюции в ДНК происходит накопление безусловных рефлексов и анатомо-физиологических изображений, сохраненных естественным отбором изменений. В ДНК навеки откладывается самая разнообразная информация, воспринимаемая нашими органами чувств и хранимая в наших клетках до поры, пока в ней не появится необходимость.

Все, что мы видели в жизни, все, что видели наши далекие предки, богатство звуков и запахов, разнообразные психические реакции запечатлеваются в наших клетках в виде электромагнитных импульсов. Хранимая внутри наших живых кибернетических устройств информация выступает на сцену в тот момент, когда наш мозг отдает читающему устройству команду использовать ее.

Я случайно взглянул на Бориса. Бульдог сделал стойку. Вот-вот прыгнет.

— Постойте, постойте, — прервал он Положенцева, — если я вас верно понял, то... постойте, дайте сообразить. Да, вот: если мы получаем ДНК по наследству от наших предков, будь то обезьяна или покинувшая первобытный океан рыба, то в наших клетках должна спать информация, собранная глазами этих предков. Так?

— Да, так. Память животного не может размещаться только в его мозгу и в центральной нервной системе, она должна найти свое отражение также в химических процессах, происходящих в клетках всего тела.

— Значит и я, человек, тоже вместилище древней памяти?

— Да.

— Но для того, чтобы затребовать эту память, мне нужно отключиться от внешней среды и зажить, как вы выражаетесь, за счет внутренних ресурсов?

— Да.

— А для этого нужно проглотить вот эту мутную жидкость в запаянной ампуле?

— Да, нужно впрыснуть в кровь вытяжку из сордонгнохского препарата.

Я с тревогой следил за этим диалогом.

Уже тогда я начал что-то понимать и предвидеть. Ведь я-то знал Бульдога, а Положенцев его не знал.

Мы еще долго говорили обо всем. Постепенно от науки перешли к литературе и кино. И о женщинах говорили. Мужчины часто говорят между собой о женщинах. Собственно, о женщинах говорили Ромка и я. Положенцев и Борис молчали. У меня создалось впечатление, что любовь постепенно перегорает в Положенцеве. Я как-то слышал его телефонный разговор. По-моему, это звонила она. Положенцев говорил с ней спокойно и властно. Если он и дальше так будет себя вести, его шансы здорово подскочат, уж я-то знаю. И правильно, он уже не мальчик. Четвертый десяток пошел.

Разошлись по домам уже вечером. О многом говорили тогда. Но запомнил я почему-то лишь короткую словесную дуэль Бориса с Положенцевым. Может быть, я запомнил и весь разговор. Но надобность оказалась лишь в этом диалоге. Или, как говорит Положенцев, память властно затребовала именно его из своих таинственных хранилищ. Все остальное было ей пока не нужно.

А утром мне позвонил Положенцев. Он спросил, не заметил ли я случайно, куда он сунул ампулу с препаратом, когда уходил из лаборатории. Он нигде не может ее найти.

Ампула лежала в хрустальной вазочке, и я не видел, чтобы ее кто-то брал. Я ответил Положенцеву очень спокойно. Но сердце мое сорвалось с места и сильно забилось...

Через несколько дней Положенцев мне снова позвонил. Он сказал, что Академия наук организует комплексную экспедицию биологов и геологов на Сордонгнох, и предложил мне принять в ней участие. Ромка, кстати, тоже поедет. «А Борис?» — спросил я. Нет, Бориса, он не видел, тот что-то не показывается. Но дело в том, сказал Положенцев, что больше двух человек сейчас взять нельзя. Борис, если он еще интересуется сордонгнохским чертом, сможет прилететь недельки через три.

На том и порешили. Вылететь нужно было чуть ли не

завтра. Мне не совсем понятна такая спешка. Хотя кто его знает, может, эта рептилия представляет слишком большую научную ценность, чтобы тянуть и медлить. Не знаю... Но я решил поехать.

Межзвездный скиталец

*Владимир Николаевич Флоровский,
ассистент университета*

Когда я вошел в лабораторию, меня ждал посетитель. Маленький, черный и смуглый, он сидел на вращающемся табурете и, скучая, смотрел по сторонам.

Увидев меня, он представился:

— Мироян, аспирант Института высшей нервной деятельности.

— Очень приятно, — ответил я, пожимая его руку. — Вы меня ждете?

— Вы товарищ Флоровский?

— Да. Чем могу быть полезен?

Мироян почему-то вдруг смутился и, стеснительно улыбаясь, сказал:

— Я к вам по очень важному делу. Меня направила к вам Марья Ивановна Курилина. Она сказала, что больше месяца тому назад вы помогли доставить одного человека... Помните? Вы, мне так сказали, проявили тогда большое участие. Этот человек был без сознания. Вы должны помнить.

Я, конечно, сейчас же вспомнил историю с Лопоухим.

— Конечно, я прекрасно помню. Ревин, кажется, его фамилия? А вы что-нибудь знаете об этом человеке?

— Он лежит в нашем институте. Врачи от него отказались. Они считают его неизлечимым. А я... а мы решили попробовать. И вы можете нам помочь.

— Буду рад. Только не уверен, что принесу большую пользу.

— Нам очень важны, очень важны, — Мироян пытал-

ся усилить речь жестами, — сведения о больном, любые, даже самые мелкие детали. Если вам не трудно, расскажите мне все, что знаете.

Как будто это было вчера, встали передо мной очередь в столовой, Лопухий, его странное поведение и внезапный обморок.

Мироян слушал меня с пристальным вниманием. Он часто кивал головой, словно хотел сказать: «Да, да, это все я уже знаю, давайте дальше». Он ни разу не прервал меня, зато что-то быстро отмечал в маленькой записной книжке.

Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— Скажите, а с профессором Положенцевым вы не пробовали связаться?

— Признаться, нет. Лопо... Ваш пациент сказал тогда, что Положенцев куда-то уехал, и я решил...

— Да, понимаю, — хмуро прервал меня Мироян, — решили позвонить как-нибудь потом, да забыли. Некогда было...

Мне не понравился его иронический тон. Собственно, по какому праву он приходит ко мне на службу, расспрашивает обо всем и еще пытается читать нравоучения? Словно уловив мою мысль, Мироян тихо сказал:

— Даже если отбросить в сторону вполне понятный интерес исследователя при встрече с необычным, простое и естественное любопытство, мы никуда не уйдем от неписаных законов человечности. Мой долг, мое сердце зовет меня на помощь к этому бедняге. И вы должны помочь мне.

— Но что же я могу? — вскипел я.

— Приходите завтра к нам в институт. — Мироян осторожно тронул меня за рукав. — Я кое-что сделал и хочу, чтобы вы посмотрели. Может быть, у вас появятся какие-то мысли, соображения. Дело в том, что сейчас мы уже нашли всех, кто знал Бориса Ревина. Нам не хватало последнего звена. Именно вы видели его перед самым обмороком. Здесь важны любые мелочи. Пока вы были в отпуске, я несколько раз пытался связаться с вами. Очень прошу вас, приезжайте к нам в институт. Приходите хоть завтра, обязательно приходите. Я вам напишу сейчас адрес. Это за городом. Ехать нужно на электричке с Ярославского вокзала.

Я пообещал приехать.

Мы сидели в огромном круглом зале. Мироян объяснил мне, что сюда не проникают ни звуки, ни свет, ни сотрясения. Зал свободно плавает внутри огромного, наполненного жидкостью резервуара. Стены полуметровой толщины защищены свинцовыми экранами и пластинами пробки, которые скрываются за черным матовым бархатом обоев.

На маленьком журнальном столике стояла мощная лампа. Она вырывала из небытия кресло, в котором сидел мой собеседник, и жестко блестела в хромированных частях большой электронной установки. Казалось, что мы одни сидим в черноте мирового пространства, заброшенные и забытые. Но главное — это тишина. Я впервые слушал абсолютную, глухую тишину. Наверно очень страшно остаться наедине с тишиной. Безотчетно повинуясь непонятному страху, я мгновенно старался заполнить любую паузу, которая возникала в нашем разговоре. Мне представилось, что я сижу над черным омутом мертвой воды и кидаю, кидаю в него яркие белые камни.

— Я буквально лбом долбил эту проклятую оболочку, — рассказывал Мироян, — но все бесполезно. Что же все-таки делается у него в голове, о чем он думает или не думает ни о чем, понимает ли, что с ним происходит? В отчаянье я пошел к шефу. Он холодно выслушал меня, молчаливый и бесстрастный, как жрец. Я чувствовал, что во мне бушует океан, но волны его бессильно разбивались о подошвы сидящего передо мной человека. И вот когда я дошел до предела и замолк, готовый ударить или зареветь, шеф молча выписал мне разрешение на церебротрон. Девятнадцать рабочих часов в неделю! Жрец открыл мне путь к сияющему торжеству... Вы, конечно, не знаете, что такое церебротрон? В этом я и не сомневался. Я не люблю и не умею объяснять. Это смесь кибернетики и физиологии. Машина стоит примерно столько же сколько два атомохода. Ее обслуживает специальная станция, по мощности равная Шатуре. Здесь, в зале, только блок датчиков. Сама машина глубоко под землей в исполинском бетонированном колодце. Вы когда-нибудь видели синхрофазотрон в Дубне?

Я отрицательно покачал головой.

— Так церебротрон раза в полтора больше. Церебро-

трон может записать и навеки сохранить виденный вами сон, вашу мысль, если она не отвлеченная, а образная. Вот вы, например, закрыли глаза, и перед вами возникло лицо любимого человека. Вы ясно видите это лицо, оно реально и осязаемо. Но попробуйте-ка описать словами, чтобы ваш собеседник увидел точно такое же лицо... Это невозможно. Зато если окружить вашу голову электродами и подключить вас к церебротрону, то ферритовые блоки его памяти сохранят стоящий у вас перед глазами зыбкий и неверный, как сон, образ. Теперь если подключить к церебротрону вашего собеседника или тысячу ваших собеседников, то они смогут увидеть все, что создано вашим воображением. Причем у каждого будет впечатление, что это он сам вызвал из глубин своей памяти увиденный образ. Конечно, церебротрон предназначен не для этого, вернее, не только для этого. Но остальное нас с вами не касается... Дело в том, что у меня есть сто сорок часов церебротронной записи... Записано то, что творится в мозгу нашего пациента. Многие сигналы непонятны и запутанны. Станный мир предстал перед моими глазами. Очень странный. Я не хочу утомлять вас долгим церебротронным сеансом. Без тренировки это вредно. Поэтому я подключу вас к церебротрону лишь на пять минут. На пять минут вы обретете память этого загадочного человека. Остальное вы прочтете в моем журнале, я все записал.

Мироян встал и показал куда-то в темноту:

— Ложитесь и постарайтесь расслабить напряжение мозга. Настройте себя на сонный лад.

Я прошел в центр зала и лег на кушетку. Мироян надел мне на лоб холодный металлический обруч. К моему затылку и вискам были прижаты электроды-датчики, которые Мироян заклеил липким пластырем. Провозившись со мной минут десять, он ушел. Откуда-то издалека я услышал его приглушенный голос:

— Если почувствуете себя плохо, то сейчас же нажмите кнопку. Она у вас под правой рукой.

Лампа на журнальном столике погасла.

Оказывается, я равнодушный эгоистичный человек. После того, как Лопухого забрали в больницу, я забыл о нем.

И вот мы снова встретимся. И как встретимся... Лопухий, Борис Ревин... У него, кажется, была еще какая-то вторая фамилия. Эта старуха, мать его приятеля, рассказывала тогда о нем, но я уже многое забыл. У меня только осталось ощущение, будто речь шла о каком-то другом человеке. И он нисколько не походил на странного незнакомца из университетской столовой.

Все зависит от точки зрения. Я смотрел на Бориса глазами холодного безразличного наблюдателя, и он казался мне неприятным. Она — сочувствующим взглядом друга, и он был, по ее словам, милым чудаковатым парнем. Хотя... я видел его уже в предшоковом состоянии, он был тогда загадочный, страшный... А сейчас я увижу его, вернее, узнаю о нем то, чего, возможно, он сам о себе не знает.

Странное дело, но мое обычно ровное, спокойное настроение было сильно поколеблено. Так, вероятно, и должно быть, когда лежишь в темной комнате, на лоб давит твердый обруч, а к вискам пиявками присосались электродатчики. Да еще в перспективе сеанс не то гипноза, не то сна наяву... Но дело было не только в этом. Я чувствовал себя школьником, пойманным на месте преступления, когда он пишет на свежeweыбеленной стене свое лаконичное мнение о соседском Вовке. Мне было стыдно.

Мое отношение к Лопухому раньше казалось мне естественным. Но разве можно считать естественным равнодушие?

Людям бывает стыдно, когда они ведут себя не лучшим образом и выглядят некрасиво. Человек хочет быть красивым. Оказывается, я тоже хочу быть красивым, хотя раньше я этого за собой не замечал...

Но что это? У меня в глазах зарябило от ярких вспышек света. Наверное, включили... Свет помутнел и расплылся. Сейчас мне кажется, что я сам сижу где-то на дне озера. Качаются травы, похожие на длинные волосы. Вздрагивают полупрозрачные комочки слизи, мечутся голубоватые шарики, подрагивают ресницами продолговатые инфузории. Они кажутся очень крупными, точно мои глаза вдруг приобрели свойство микроскопа.

Откуда-то из бутылочной зеленоватой мути на меня наплыла огромная темная тень. Я не успел разглядеть ее, но сердце мое сжалось от страха. Я был как бы раздвоен,

С одной стороны, я прекрасно понимал, что лежу на кушетке в полной безопасности, но другая часть моего я была там, глубоко в воде, и она дрожала от ужаса. Она хотела рвануться, уйти от неведомой опасности.

И я почувствовал, что бегу. Я не видел себя. Но знал, что бегу. Мимо мелькали колонны, коптящие факелы, мечущиеся фигуры людей. Перед моими глазами выскакивали мраморные ступени. Казалось, что лестница никогда не кончится. Вдруг передо мной возникла арка, увитая плющом и лозами дикого винограда. Я раздвинул листья. Я стоял на высоком холме. Внизу бушевал огонь. Город пылал, подожженный с трёх сторон. Время от времени, когда обрушивалась очередная крыша, к небу взлетали золотые брызги, они падали и гасли на лету в красноватой дымке. При свете пожара я мог разглядеть некоторые здания. Они были знакомы мне. Мне — тому, который лежал на кушетке.

Беличественный пантеон, грозно насупивший глазницы окон колизей, триумфальная арка Антония, уходящие во мрак ступени терм Каракаллы. Это пылал Рим. Все мое существо захлестнули обида и гнев.

И вновь замелькали ступени. В городе творилось что-то страшное. Кровавый отблеск метался на медных шлемах с крылатыми орлами. Из горящих домов выскакивали полуобнаженные женщины. Они срывали с себя туники и заворачивали в них кричащих детей. Гремели мечи. В узком, зловонном переулке кто-то кого-то звал, захлебываясь от рыданий.

На площади перед храмом собиралась толпа. В багровом свете пожара лица людей казались черными и блестящими. Люди кого-то ждали. Дома рушились, на улицах бесчинствовали насильники. Тела лежали в лужах, где кровь нельзя было отличить от вина. Все было красным в отблесках огня, все дымилось. Гнев отпустил мое горло. Волнение осело к сердцу и сжалось в плотный тяжелый комок ненависти.

Люди на площади заволновались и зашевелились. Кто-то выкрикивал угрозы и проклятья. Старики подымали вверх иссохшие руки. Женщины прижимали к груди заходящихся в плаче детей. И тут я разглядел, что все они смотрят на меня. Я читал в их глазах решимость и веру. Я понял, что эти люди слушали меня, что это я перелил в них кипевшие во мне чувства. Но по толпе прошло смя-

тение, площадь дрогнула, над головами людей заблестели бронзовые орлы, заколыхались ликторские топорики и кисти, закачались пики и поднятые мечи.

Я узнал штандарты высшей власти и рванулся навстречу ненавистному имени. Но пространство передо мной замкнулось двумя скрестившимися копьями...

Зажглась настольная лампа. Тихо гудел трансформатор. Ко мне подошел Мироян.

— Ну, как? — спросил он.

Я был не в состоянии отвечать. Мироян склонился и заглянул мне в глаза. Потом махнул рукой и отошел. Лампа вновь погасла.

Передо мной лежит огромная зеленая саванна. Нежные и сочные травы порой закрывают от меня горизонт — так они высоки. С неба струится зной и аромат. Я, лежа на кушетке, не ощущал никакого запаха. Я как бы вспомнил этот запах. Он был где-то внутри меня. Запахи можно помнить долго. Это рефлекторная память. Достаточно представить себе лимон, его желтую гляцевитую со множеством пор кожуру, стекающий с лезвия столового ножа мутноватый лимонный сок и острый пронзительный запах, чтобы во рту появилась слюна.

Я, который лежал на кушетке, палеоклиматолог. Я прочел много специальных книг об ископаемых фауне и флоре. Может быть поэтому то, что видели мои внутренние глаза, соединенные с памятью церебротрона, на этот раз не казалось мне таким реальным. Слишком уж велик интерес лежащего на кушетке палеоклиматолога, чтобы он мог забыть. Но временами я совершенно отключался и был только тем, кто крался по первобытной саванне, кого ласкало молодое утреннее солнце.

Я сразу понял, что нахожусь в третичном периоде кайнозойской эры, когда маленькие теплокровные животные мелового периода уже вышли победителями в борьбе за жизнь. В тени исполинских акаций гиеноподобные хищники окружили арсинотерию.

Огромное, превосходящее величиной слона животное, нагнув увенчанную двумя рогами голову, угрюмо и методично отбивает атаки врагов. Мне было страшно. Но любопытство сильнее. Я лег на землю и пополз. Раздвинув упругие стебли, я мог следить за подробностями этой битвы. Вот арсинотерий ловко подцепил одного хищника рогами и подбросил его в воздух. С пронзительным виз-

гом третичная гиена шлепнулась в заросли колючих кустов. Арсинотерий ухитрился подбить рогом еще одного врага и тут же растоптал его массивной, как древесный ствол, лапой. Злобно рыча и скалясь, гиены начали отступать в заросли. Гигант вышел победителем, он не преследовал врагов. Он огромен и великодушен. На поляну вышел еще один гигант — предок носорога индрикотерий. Увидев растерзанные тела, он фыркнул и спокойно принялся щипать траву. Он вспугнул скрывавшихся в траве небольших, величиною с кошку, зверьков, которые бросились наутек. Это были зогиппусы — изящные и грациозные предки лошадей.

Битва кончилась. Мне уже не нужно скрываться в траве. Я встал во весь рост и пошел. Но время от времени меня неодолимо влечет к земле, и я то и дело приседаю на четвереньки. В небе кружат и гудят огромные насекомые, в траве шныряют всевозможные звери и пресмыкающиеся. Но я не обращаю на них внимания. Я спешу. Куда? Этого я не знаю. Я могу лишь чувствовать, что мне нужно, очень нужно куда-то спешить. Углубившись в лес, я иду между исполинских, поросших паразитами стволов. Где-то в головокружительной высоте смыкаются кроны пальм, шумит лакированная листва мирт и тисов, величественно покачиваются мохнатые лапы секвой.

Вдруг я вижу, как по гладкому стволу тиса скользнула вниз маленькая длиннорукая обезьяна. За спиной у нее прицепился детеныш с грустными и выразительными глазами. Припадая на передние лапы, обезьяна зашепила мне навстречу. Во мне шевельнулась какая-то смутная нежность. И тут только я, который лежал на кушетке, понял, что я точно такая же обезьяна — проплиопитек. Так вот почему трава казалась мне такой высокой и дремучей, как лес! Проплиопитеки едва достигали тридцати пяти сантиметров, и тридцать пять миллионов лет отделяло их от людей.

Вместе с обезьяной я вскарабкиваюсь вверх по стволу, и мы пускаемся в путешествие по кронам деревьев. Цепляясь за лианы, мы преодолеваем огромные расстояния, перепрыгиваем с дерева на дерево.

Я не знаю, куда мы идем, но властный голос инстинкта заставляет меня спешить. Качаются кроны деревьев, и бросается навстречу земля. Сквозь листву изредка прорываются солнечные стрелы. И когда мне вдруг ослепило

светом глаза, я не понял, что это: то ли солнце, то ли Мироян зажег лампу.

Это было солнце, оно клонилось к вечеру. Я закрываюсь от него ладонью и вытираю пот с лица. Как хорошо пахнут только что скошенные травы! Моя коса ходит равномерно. Покорно ложатся колоски овсяга, лиловые головки клевера, всевозможные зонтики и кашки. Далеко впереди опускается зеленоватый и голубой вечер. Уже можно разглядеть месяц. Он белый и полупрозрачный. Как молодое арбузное семечко. Грустно блестит вода. Сульфальным золотом горят на закате кресты. Я, который лежал на кушетке, узнал неповторимую мужественную архитектуру трехглавого Троицкого собора. Город на горизонте был Псков.

Я кошу траву. Коса звенит, а мне кажется, что это шумит вода, бегущая сквозь дубовой водочес. Легкий ветер донес запах гари. Это не тот вкусный дым костра, на котором кипит котелок с похлебкой, и горящие сухие листья пахнут не так. Я сразу понимаю, что это горький и зловещий дым пожара и войны. Я бросаю косу и бегу. Тугой ветер бьет мне в лицо, сердце стучит где-то у самого горла. Вьется и вьется истоптанная луговая стежка. Уже невозможно бежать... Квакают лягушки в камышах на озере. Стал явственней запах гари. А я все бегу. Хотя, может быть, кажется, что бегу, а на самом деле я еле плетусь, стараясь руками сдерживать рвущееся наружу сердце. Я вижу уже испуганное воронье, кружащееся над поникшими березами. И черный дым, сквозь который проглядывает тревожное закатное солнце. Там был мой дом. Мне уже некуда спешить. Я мог бы упасть в сухую и нежную, как пудра, пыль, рыдать и биться, рвать в отчаянии подорожник, царапать ногтями землю. Но я не ложусь. Я вижу дым над пепелищем, вижу закованных в сталь лошадей с тюльпанами перьев на голове и закованных в сталь всадников с опущенными забралами, похожими на птичий клюв.

И я поворачиваю назад. Туда, где на слиянии рек Великой и Псковской видится каменный кремль «Кром», где печальным отблеском на куполах умирает день. Городские ворота еще открыты, хотя гремит вечевой колокол и народ толпится на площади. Из подворотни массивного, точно вырубленного из цельной каменной глыбы дома, выезжают телеги. Скрипят оси. Люди грузят камни, раздува-

ют огонь под черными котлами, в которых кипит и пузырится смола. Лучники замерли на городских стенах. К ним спешат простоволосые женщины в домотканых платьях, несут завернутые в белые платки ковриги хлеба.

Хмурые бояре неохотно раздают «меньшим людям» секиры и пращи. Но оборванный люд в дырявых лаптях идет на стены с топорами и дубинками. У меня есть вилы. Я тоже пошел на стены. Немецкие рыцари уже близко. Они надвигаются клином. Пешие кнехты идут в середине. У них короткие мечи и арбалеты. Одетые в железо всадники окружают их, как частокол, — они едут, подняв к небу украшенные флажками тяжелые копья. Уже можно разглядеть яркие узоры, намалеванные на их длинных, заостренных книзу щитах. Особенно нарядные и пышные всадники из окружения самого гроссмейстера едут отдельной группой слева, в тени шестистолпного собора Ивановского монастыря. Колокола в звонницах раскачиваются, и над городом плывет непрерывный, беспокойный звон.

Когда передовые отряды подошли к самым стенам, наши лучники дали первый залп. Кажется, туча прошла над землей, так густо летят стрелы. Но они не могли причинить вреда закованным в стальные латы рыцарям. Лишь кое-кто из кнехтов схватился за грудь и упал под ноги наступавшей лавины.

Кнехты снимают с плеча арбалеты, натягивают их и, встав на одно колено, начинают обстреливать стены. Мы попрятались за каменными зубцами. Наши лучники посылают свои стрелы из бойниц, через головы рыцарей. Пока шла перестрелка, кнехты-прашники, укрывшись под самой стеной от стрел, начали поднимать лестницы. Молодой боярин в шлеме и кольчуге с коваными соколами на груди махнул рукой, чтоб лили смолу. Немецкие арбалетчики не дают поднять головы. Кто-нибудь из наших то и дело падает, пронзенный стрелой. Но смола уже течет по желобам, клокоча и медленно застывая. Арбалетчики перестали стрелять, потому что передовые отряды уже лезут на стены. Мы рубим врагов топорами, дерем секирами, сталкиваем вниз лестницы. Мои вилы тоже не устают.

Битва не затихает. На небе зажглись звезды, и серебристый месяц скользит по волнам реки, а мы все не опускаем мечей. В решительную минуту, когда мы, держась

руками за камень зубцов, ногами отталкивали вражьи лестницы, пронесся слух, что бояре предали народ и открыли врагу ворота восточной стены. Крепки скрепленные замешанным на молоке и двадцать лет пролежавшим в земле раствором известковые стены. Горячи наши руки, не устающие рубить и колоть. Но смутила нас черная измена. Воспользовавшись нашим замешательством, на стены ворвались кнехты. А сзади уже слышно, как гудит мостовая под тяжелым шагом закованных в латы коней.

Уже связанные, с колодками на ногах, лежа в сыром подземелье, мы слышим, как стучат топоры плотников. На площади строят эшафот. Немцы всегда, войдя в город, сооружают виселицу. Черные вороны кружат в небе. Но не увидеть неба из каменной темницы, не услышать, как звенит земля под копытами храброй дружины князя Александра, что спешит к нам на подмогу. Да поспеет ли князь... Как настанет утро, выведут нас на городскую площадь...

Вот уже вверху заскрипела, запела тяжелая дверь. Отсвет горящего факела падает на ступеньки. Это за нами. Стучат шаги по сырым гранитным ступеням. Все ближе, ближе...

Наверное, это Мироян зажег лампу и идет ко мне, преодолевая оцепенение, думаю я, лежащий на кушетке. Но нет, это не Мироян. Это на каменном полу пещеры топчутся в ритуальном танце босые ноги. В пещере плохая вентиляция. Дым костра слезит глаза, царапает горло. Голые плечи лоснятся от жира и пота. Вижу, как передо мной на гладкой стене возникает контур. Еще штрих. Вероятно, это я сам что-то рисую на стене.

Я знаю, что должен рисовать, но не знаю, какое изображение родится под моими руками. Тихо пою. Меня переполняет восторг. Какое это счастье — уметь рисовать. У меня лишь черная головешка от костра да кусок глины, но я могу нарисовать все, что угодно: бизона, мамонта, оленя. И всегда я пронзаю их дротиком. Поэтому охота у нашего племени часто бывает удачной. Но если случится несчастье — вепрь или саблезубый тигр убьет кого-нибудь из охотников, тогда племя танцует другой танец, печальный и тихий, а я покрываю стены пещеры причудливой вязью, таинственным узором, понятным лишь посвя-

щенным. Женщинам и мальчикам, еще не ставшим охотниками, нельзя даже краем глаза взглянуть на эти рисунки. А им хочется, я знаю. Но они боятся. Поэтому, чтобы утешить их, я вырезаю из бивней мамонта всякие замысловатые игрушки. Женщины любят ими при свете костра в долгие зимние ночи. Девочки укачивают их, как младенцев, и поют протяжные заунывные песни.

Вот и сейчас я рисую на стене медведя. Он должен быть рыжим, и я раскрашиваю его охрой. Женщины танцуют или кормят детей, мужчины шлифуют каменные топоры и ножи из обсидиана. Они низколобы и волосаты, мои сородичи. У них выдаются надбровные дуги, они одеты в мохнатые звериные шкуры. В пещере пылает огонь. Юноши пристально смотрят в его золотистые пряди, и в глазах их светится другой огонь, огонь мысли.

Мне, лежащему на кушетке, ясно, что это верхний палеолит. На стоянках того времени находят разнообразные хозяйственные предметы и орудия охоты, вырезанные из кости женские фигурки, изображения различных животных. Но я стараюсь не думать об этом, чтобы не пропустить ни единой подробности замечательной сцены, которая родилась в мозгу Лопухого. И вдруг все обрывается. Это, наверное, орудует Мироян. Он ничего мне не дает «досмотреть» до конца, «фильмы» обрываются на самом интересном месте. Но я не сержусь на него. Он хочет показать мне как можно больше, а времени у нас очень мало. Я употребляю привычные и бесцветные слова: фильм, досмотреть, показать. На самом же деле никто мне ничего не «показывает». Я, сам я, но не тот, кто лежит на кушетке, всюду являюсь центральной фигурой. Я все вижу своими глазами, чувствую своим сердцем, хотя все это увидел и прочувствовал не я.

Те, кто способен увлечься кинокартиной до конца, как ребенок, который топает ногами и визжит, поймут меня. Но как бледно и малоправдоподобно кино по сравнению с теми картинами, которые «вкладывает» в мой мозг церебротрон. Вкладывает, именно вкладывает!.. Наконец-то я нашел нужное слово.

Надо мною качается жидкое зеркало. Чувства мои смутны и непонятны. Зеркало раздается и пропускает меня. Вверху небо, затянутое плотной пеленой облаков.

Облака похожи на мокрую вату. Идет тихий дождь. Струйки, как тонкие нити, пронзают воду. Небо точно прядет из них бесконечную ткань океанской глади. Берег совсем рядом. Пологий и песчаный. Грустно блестит мокрая листва. Ажурные папоротники, стройные нестигаемые хвощи. Я чувствую какое-то смутное влечение к этому берегу. Мне хочется побыть хотя бы минуту на этом мокром песке, с которого сбегает грязноватая пена. Но вновь надо мной качается жидкое зеркало. И вновь я выныриваю и с любопытством смотрю на берег.

Я, который лежу на кушетке, сразу же узнаю девонский лес. Мною овладевают противоречивые чувства. С одной стороны, я хочу напрячь внимание и память, чтобы надолго запечатлеть картины трехсотмиллионнолетней давности. Но это мешает мне самому участвовать в них, раздваивает мое внимание. Поэтому лишь на миг я испытываю какое-то сумеречное чувство опасности, когда вижу в глубине огромную с разверстой, как конвертор, пастью панцирную рыбу. Она охотится. У нее нет зубов, но костные наросты на челюстях мгновенно перепиливают зазевавшуюся трехметровую акулу. Но мне уже не страшно. Тот, который лежит на кушетке, узнает в чудовище титанихтиса, и очарование рассеивается. Внимание вновь раздвоено. После долгих сомнений, я все-таки решился подплыть вплотную к берегу и высунуться из воды. Я вижу поразительную картину. Прорвав застывшую гнилую пену, на песок выходят какие-то амфибиеобразные существа. Одни из них только еще цепляются лапками за выброшенные на берег кучки гниющих водорослей, другие уже лежат на песке или медленно ползут к лесу. А некоторые, но их немного, возвращаются назад, в океан. И я, лежащий на кушетке, понимаю, что вижу величайший в истории земли момент, когда первые ихтиостегалы покинули колыбель жизни, чтобы утвердить свое право на жизнь под солнцем. Вам предстоит стать людьми, маленькие амфибии! Те же, кто испугался терпкого аромата лесов, жаркого солнца и пьянящего синего неба и вновь вернулся, просто вымрут. Жестокий и правильный закон развития. Кто не может идти вперед — погибает.

Но почему надо мной снег? Я же только что видел зелень листьев... А может, это не снег? Нет, снег. Напитанный талой водой, изжеванный сапогами и сдобренный на-

возной жижей снег. Низко нависает поблескивающее серым металлом, с длинными желтыми подпалинами небо.

Откуда-то с замерзших рек тянет близкой весной. Тревожный и крепкий запах. Люди жадно ловят его трепетными ноздрями. Запрокидывают голову, щурятся. Много людей. Они плохо одеты и возбуждены. Они стоят отдельными группками. Собираются в плотные кучки и вновь расходятся. Время от времени кто-нибудь поднимается над толпой, срывает с головы ушанку и, сжав руку в кулак, начинает говорить. Толпа рокошет, как река перед наводнением.

Я чувствую, что меня, точно щепку в половодье, подхватил стремительный поток. Сапоги, пимы, унты месят перезрелый снег. Серая белка грызет огромную кедровую шишку. Угрюмо смотрит столетняя темная ель. Большой деревянный дом. Резное крыльцо. Помятая жестяная вывеска: «Ленское золото—промышленное товарищество. Контора». На крыльце толстый краснорожий мужик. Он без шапки. Волосы, разделенные прямым пробормом, блестят от бриллиантина. Руки засунуты в карманы жилета. На брюхе колышется массивная золотая цепочка. Рядом офицер в голубом мундире, с аксельбантом и шашкой. Лицо нервное и худое, глаза белые, сумасшедшие. Рука мучит и мнет белую перчатку. Тут же какой-то иностранец, высокий и поджарый. В кожаной кепи с поднятыми меховыми наушниками. С моноклем и в крагах. Чиновники сгорбленные, в пенсне, с портфелями подмышкой. Топчутся. Лица окутаны паром.

А небо над головой тяжелое, давящее. На кого оно упадет, небо? На нас или на тех? Но это я чепуху плету. Небо не может упасть. Просто я волнуюсь. Рядом со мной румяная, крепкая девушка в телогрейке. Глаза большие и серые, грозные и взволнованные, как небо. Она крепко ухватилась за рукав высокого парня с темным изможденным лицом. Пальцы у него коричневые от махорки. Он курит и кашляет, надсадно и долго.

Идущие впереди меня стали. Я вижу их затылки. Они напряглись в ожидании. Иногда затылки бывают выразительней лиц. Сзади напирают. Почему мы стали? Я уже смотрю поверх голов. Наверное, я приподнялся на носки (себя я никогда не вижу). Пестрое море голов. Рвется на ветру красное полотнище. Лица у солдат тоже красные. С лиловым оттенком. Ружья наизготовку. Шты-

ки примкнуты. Золотые гладкие пуговицы в красных петлицах, желтые буквы на погонах. Кожаные подсумки с патронами. Легкий иней на мохнатом ворсе шинелей. Я вижу все резко и четко, как сквозь уменьшительное стекло. Но, странно, я вижу как-то отрывочно. Отдельными фрагментами, случайными деталями. Это кинематографическая отрывочность. Может быть, это от волнения? Я действительно очень волнуюсь. Волнение накатывает и вдруг пропадает. Потом опять накатывает. Почему мы все время стоим? Как во сне. Офицер на крыльце что-то орет — рот, как круглая яма. Но слов не слышно. Чиновники тоже что-то беззвучно лопочут. Кто-то из наших, в передней шеренге, тоже кричит, размахивая ушанкой и оглядываясь на толпу, точно все время спрашивая у нее: «Правильно я говорю? Так?»

Одни солдаты неподвижны. Штыки в линию, не шелохнутся. Тощий с моноклем, прижав ко рту ладонь, что-то шепчет на ухо офицеру. Тот согласно кивает головой. Чуть подрагивают малиновые шнуры аксельбантов. Солдаты смотрят куда-то мимо нас. Глаза синие-синие.

Я не понимаю, что случилось. Передние пятятся и поворачивают назад. Люди бегут. А я не понимаю, в чем дело. Странное удивление овладевает мною. Я как будто один остался лицом к лицу с солдатами, с теми, которые на крыльце... До них шагов двести. И всюду чернеют на снегу люди. Одни неподвижные, другие мучительно шевелятся. Люди лежат в снегу передо мной и сзади меня и вокруг меня. Снег почему-то все приближается ко мне, а небо, и крыльцо, и солдаты как-то поворачиваются и уходят в сторону. И почему-то желтый измочаленный снег розовеет и розовеет. Становится совсем красным, как полотно над черной толпой...

В зале уже давно горит лампа. Мироян сидит на моей кушетке. А я лежу и не могу подняться. Сейчас я не верю в свою собственную реальность. Реальность там, на снегу затерянного в тайге Надеждинского прииска. Как часто мы о многом забываем. И то, что кажется нам привычным, само собой разумеющимся,— пережило свою мучительную эволюцию, претерпело разрывающий оковы революционный скачок, густо замешано кровью. Как тот снег на прииске у ленских притоков Олекмы и Витима в апреле 1912 года.

Вечер тихо ползет за окном. Я еду на электричке в Москву. Только что прочел записи Мирояна. Не мог утерпеть и читал их здесь, в электричке. Сажу и думаю. Думаю об очень многом. Где-то позади меня, в конце вагона шумно и дружно поют туристы. Грустит аккордеон, рокочет под молодыми ладонями, как барабан, пустое ведро. Поют Окуджаву. Поют о любви и расставании. Весь вагон слушает. С тихой, ласковой завистью. На душе становится чуть грустно и хорошо. Повсюду букеты цветов. Астры, георгины, флоксы. Слишком яркие краски. Цветы пахнут увяданием. Они дышат долгими дождями и ранней осенью. Они хорошие и грустные, как песни. Песня умолкает. Слышны споры и смех. Аккордеон нетерпеливо наигрывает. Он ждет. Он не любит перерывов. Вновь дружно грянула песня. Аккордеон радостно ее догнал. Слова, знакомые не одному поколению туристов и альпинистов:

Ледорубом, бабка, ледорубом, любка,
Ледорубом ты, моя сизая голубка.

Хорошая песня. Но очарование рассеивается. Пассажиры как бы просыпаются ото сна и, виновато улыбаясь, возвращаются к прерванным разговорам, отложенным в сторону книгам и журналам. Рядом со мной сидит молодая женщина. Тонкие узкие руки. Яркий маникюр. Усталая складка у переносицы. Прекрасный алебастровый лоб. Она читает «Романтиков» Паустовского. Тревожно и сладко пахнут ее духи.

Я вновь раскрываю папку и отыскиваю место, где Мироян дает волю своей фантазии. Подумать только, все, что, я пережил сегодня, все, что я видел, это лишь двадцать минут церебротрона. А в этой папке скупое пересказано сто сорок часов! И все это создано памятью одного человека. Несчастливого, отрезанного от мира человека. Каждую секунду на протяжении месяцев не затишает эта уникальная работа. Сколько неповторимых образов, давно исчезнувших ландшафтов, когда-то разыгравшихся на сцене жизни драм! Человеческий мозг не может, физически не может вместить такой колоссальный объем информации. Откуда все это? Может быть, отголоски прочитанных книг? Вряд ли. Слишком все есте-

ственно и правдоподобно даже в малейших деталях. Писателю всего этого не предусмотреть. Да и для того, чтобы в человеческом мозгу могли родиться такие картины, мало прочесть все книги библиотеки Ленина или Британского музея! Мало... Нет, все это реальные события прошлого. Но откуда они?

Я еще раз перечитал конечный вывод Мирояна.

«Каждое живое существо,—пишет он,—в самом себе несет черты своих древних предков. В строении тела человека много сходства с животными. У месячного человеческого зародыша, например, ясно видны зачатки жаберных дуг. Это стадия рыбы. Человеческий зародыш проходит в своем развитии все стадии эволюции. В течение девяти месяцев он повторяет всю миллиардолетнюю историю жизни на земле. Это нечто вроде ускоренной киносъемки. Сначала одноклеточный, простейший организм, потом, благодаря клеточному делению, все более сложный. Стадия рыбы, стадия лягушки и так далее. Возможно, на каждой из этих стадий в постепенно развивающемся мозгу откладывается соответствующая информация. Вот почему мы стали свидетелями событий древних геологических эпох.

Одноклеточному зародышу, вероятно, соответствует информация, относящаяся к доархейской эре, когда только зарождалась жизнь. Стадия рыбы дала информацию о палеозойской эре. Время господства рептилий — мезозой, соответствует концу стадии лягушки и так далее. Таким образом, все получает как будто бы вполне естественное объяснение. Можно возразить однако, почему до сих пор подобные случаи неизвестны? На это будет лишь один ответ: мы впервые применили церебротрон. Возможно, что и некоторые виды сумасшествия характеризуются появлением подобной внутренней информации. Это требует, конечно, экспериментальной проверки. Поэтому предположение, что эмбриональная информация постепенно накапливается в глубинах латентной памяти, остается пока, несмотря на все его недостатки, единственным. Другого объяснения я не знаю...»

Меня это объяснение совершенно не удовлетворяло. В нем было кое-что интересное, заманчивое. Оно даже как будто косвенно подтверждалось. Недаром в видениях первобытный океан занимал основное место... Жизнь зародилась, мужала и крепла именно в океане. Но даже

если отмахнуться на время, как это сделал Мироян, от четких и ясных эпизодов из истории человеческого общества, которые никак нельзя объяснить эмбриональной памятью, существует одно существенное противоречие. Оно носит философский характер. Я сформулировал его как парадокс. Дело в том, что во всех виденных Мирояном и мной событиях очень мало эволюции... Да, мало! Ведь это же сплошная революция. Точки перегиба, моменты высшего напряжения, критические состояния, когда еще неизвестно, кто кого!

Рыба высунулась из воды и собирается сделать первый рыбий шаг по земле, обезьяна спустилась с дерева и вышла из лесу... Это же революция в чистом виде! Узловые пункты.

А картины из истории человечества! Они занимают в видениях незнакомца не меньше места, чем первобытный океан! И какие это картины... Борьба, непрерывная и жестокая борьба, те же узловые моменты длинного мучительного пути от зверя к человеку. Нельзя забывать об эволюции человечества. Она с каждым десятилетием все более и более ускоряется, точно разжимается отпущенная пружина. Человечество шло упорным и героическим путем, противоречивым и не всегда прямым. Были целые века застоя, десятилетия регресса. Но эти века не оставили следов в видениях незнакомца. Потому что не они являются главными и определяющими в человеческой истории. История человечества — это история революций.

Мне опять стало стыдно за те минуты равнодушия, которые были в моей жизни. Как я мог забыть, что жизнь — это борьба! И прежде всего борьба со всем темным и злым, что есть в тебе самом, что осталось в наследство от темного прошлого, от подлого поколения мещан.

В окне электрички замелькали фиолетово-синие огоньки. Железнодорожные рельсы точно поросли пронзительными васильками. Мы подъезжали к Москве. Пассажиры зашевелились. Я мельком взглянул на свою соседку. Она торопливо дочитывала абзац и уже готовилась сунуть в книжку вместо закладки конверт. Конверт лишь мелькнул передо мной, но фамилию отправителя я увидел четко: А. Положенцев. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Только вчера я звонил к нему в институт. Мне сказали, что он в какой-то важной и длительной командировке. И вот, вдруг...

Электричка тихо остановилась. Бесшумно открылись пневматические двери. Пассажиры, теснясь и спеша, стали выходить на перрон. Горели электрические фонари. Влажный воздух раздувался вокруг них, как шар, тускло очерченный радугой.

Женщина шла впереди меня. Блестели складки прозрачного плаща, перехваченного в талии пояском. Длинные и стройные ноги уверенно стучали по асфальту модными каблучками-гвоздиками. Я шел за ней, не решаясь догнать и не отставая. На локте у нее висела большая сумка. Там лежал Паустовский с письмом Положенцева. Я вспомнил роман Джека Лондона, которым бредил в далеком детстве. Он назывался «Межзвездный скиталец». Сегодня я сам был межзвездным скитальцем в бескрайней Вселенной, не ограниченной ни временем, ни пространством. Эта Вселенная уместилась в голове тяжело больного человека. Этому человеку нужно было помочь. Для этого необходимо было разузнать о нем все. Впереди меня шла женщина, у нее в сумке лежало письмо с адресом Положенцева. Положенцев знал что-то, не известное нам. С ним во что бы то ни стало нужно было связаться.

Я догнал женщину у самого входа в метро.

*Артур Викентьевич Положенцев,
профессор биохимии*

Вновь я встречаю осень среди пурпурных полей и зеленых озер Сордонгнохского плато. Со мною друзья — Валерий и Ромка. Птицы улетают на юг. Резко похолодало. Я сижу у костра. В закопченном котелке клокочет уха. На озере трещат моторы. Сордонгнох никогда еще не видел столько людей сразу. Он теперь стал знаменит, наш Сордонгнох. Это объект номер один в плане отделения биологических наук Академии.

Здесь, среди умирающей природы я как-то успокоился, многое понял, кое на что взглянул иначе. Желтеют и высыхают растения, умирают бабочки — все готовится встретить зиму, чтобы весной вновь возродиться и во веки веков вершить свой цикл расцвета, смерти и обновления. Жизнь бессмертна. И люди тоже бессмертны бессмертием коллектива. Эстафета поколений, переходя-

щие от отца к сыну, законсервированные генетические шифры.

Я натворил много глупостей. Но не жалею об этом. Они сделали меня богаче и чуточку мудрее.

Как только исчезла ампула с препаратом — я назвал его препарат виталонга, вечная жизнь — я совершенно растерялся. И, ничего не соображая, ринулся сюда, на Сордонгнох. Воображаю, какую чепуху я намолол директору института. Старик, наверно, решил, что я не в себе. Только здесь, под колючими льдыстыми звездами, я сообразил, что виталонга уже живет в крови подопытных животных и незачем мне для этого вновь искать скрывающегося в глубинах далекого озера дракона. Мы ищем его для иных целей. Этот дракон действительно неоценимый дар нам, людям. Я впрыснул виталонгу кроликам с привитыми опухолями. Папилломы рассосались через семнадцать дней; саркома Брампера исчезла через сорок суток, даже рак семенных желез вынужден был отступить. Недаром писали провидцы, что проблема рака завязана в один узел с проблемой жизни... Нужно много, очень много работать, чтобы отделить антиканцерогенные и гиперрегенерационные свойства виталонги от патологического бессмертия. Когда организм замыкается в себе — это патология. Кто знает, может быть, нам удастся найти иные пути предохранения нуклеиновых кислот от накопления митогенетических ошибок. Возможно, тогда мы уже с иных позиций станем подходить к бессмертию. Оценки меняются со временем. Нельзя закрыть путь будущим поколениям шлагбаумом наших представлений. Может быть, человечество научится управлять временем. Здесь можно лишь фантазировать. Ясно одно, что наши внуки уйдут дальше, намного дальше. Поэтому не будем так категорично ставить вопрос: нужно или не нужно бессмертие?

Со вчерашней авиапочтой мы получили три письма, и они вызвали целую бурю в нашем доселе спокойном лагере. Мы здорово поспорили и даже чуть-чуть поругались между собой. Особенно горячился и насккивал на меня Валерий. Ромка занимал свою особую, по-моему, для него самого до конца не ясную, позицию, но тоже время от времени выкрикивал общефилософские положения.

Первое письмо было от матери Курилина. Она писала, что месяца два тому назад Борис Ревин попал в больни-

цу в очень тяжелом состоянии. Врачи не могли определить характер его заболевания. Все было очень странно и необычно. Что-то вроде сильного летаргического сна. И в то же время это была не летаргия. От больного уже почти отказались, как вдруг за дело взялся аспирант Мироян. Такой симпатичный маленький армянин, писала Курилина. Он попросил написать Валерию, чтобы тот сообщил все известные ему подробности о Борисе.

Два других письма были адресованы мне. Я сразу проникся симпатией к их авторам. Один из них, Мироян, о котором уже упоминала мать Курилина, подробно описывал характер заболевания Бориса и просил меня помочь в трудном деле. Все, касающееся Бориса, его очень интересует.

В третьем письме ассистент университета Флоровский рассказывал, как выглядел и что делал Борис перед заболеванием. Флоровскому с большим трудом удалось раздобыть мой адрес, и каково же было его удивление, когда этот адрес полностью совпал с адресом Валерия Курилина, который дала Марья Ивановна, мать молодого геолога. Он и Мироян считают, что мы больше, чем кто-либо, осведомлены о действительной причине заболевания Бориса.

И они не ошибаются. Я сразу понял, что Борис, верный своей цели, взял ампулу и впрыснул себе виталонгу. Я припомнил наш последний разговор, и мне многое стало ясно. Станные вопросы и поступки Бориса выглядят теперь совсем в ином свете.

— Это первая жертва вашего препарата, — мрачно сказал Валерий.

Мы сидели возле палатки Оржанского. Отсюда хорошо видна спокойная гладь Сордонгнохского озера.

— Я только одного не понимаю, — продолжал Валерий, — почему все, что ни сделает наука, приносит столько же зла, сколько и добра. Порой кажется, что лучше бы некоторых великих открытий и вовсе не было. Вот, например, ваше бессмертное вещество. Я раньше думал, что от него хоть какая-нибудь будет польза людям, а теперь вижу, что вреда и глупостей здесь не оберешься. Вы же понимаете, какую проблему вы ставите перед людьми. Быть бессмертным! Да за это уцепятся все фанатики, эгоисты, дураки и прочая и прочая! Какие могут быть странные неожиданности, какие злоупотреб-

ления! Этот случай с Борисом меня сильно настораживает.

— Развитие человечества,— прервал его Роман,— идет с помощью метода проб и ошибок. Без ошибок нет движения, а ты хочешь, чтобы все шло гладко, без сучка, без задоринки.

— Я не хочу этого, но нужно же предусматривать, куда поведет то или иное изобретение. Ученые должны прервать игру с огнем. Человечество уже вышло из детского возраста.

— Я должен поддержать Романа, — начал я, — он объективно прав. Развитие мысли, науки не может остановиться из-за того, что возможна ошибка. Если данное открытие не сделаем мы, его сделают другие...

Пока я это говорил, из головы у меня не выходила фраза, которую я мельком видел в письме Курилиной. «...Как он был неудачником, так и посейчас остался. Лежит, бедолага, ни жив, ни мертв, только Мироянчик круг него суетится...»

— Мы сделаем все, чтобы поставить Бориса на ноги,— неожиданно для самого себя говорю я. Голос у меня глухой и напряженный. Ребята с удивлением смотрят на меня. Верю ли я в свои слова? Верю. Но мне страшно, а вдруг...

Как-то Борис сказал мне, что ему очень хотелось бы, кроме всего прочего, разгадать одну тайну, с которой связаны близкие ему люди. Глаза его были прозрачны и стеклянны. Он будто всматривался внутрь себя. Тогда это не произвело на меня особого впечатления, но сейчас все приобретало таинственный смысл: и неподвижный взгляд, и неистовое устремление любой ценой, даже ценой жизни, к видениям прошлого. В этом парне причудливо смешались любопытство ученого, страсть охотника, боль человека. Такой коктейль чувств легко бросает людей на подвиг.

Мысль о Борисе тяжелая, теперь она будет все время во мне. Но пока нужно думать только о науке. С ее чистой высоты всегда увидишь какую-нибудь лазейку, по которой придет спасение.

— Мы поставим его на ноги,— повторяю я упрямо, словно убеждаю кого-то.

Меня радуют все факты, которые сообщили мне Мироян и Флоровский. Это последнее недостающее звено

в моей гипотезе о внутриклеточной информации. Я оказался прав. Мозг способен черпать информацию только из организма, не вступая в контакт с внешней средой. Эта информация запасена в клетках, в тридцати триллионах совершеннейших машин памяти.

Блестящие эксперименты с двухголовым червем планарией, которые провел англичанин Мак Конелл, доказали существование наследования приобретенных признаков. Флоровский и Мироян были первыми свидетелями, воочию увидевшими те картины, которые нередко запечатлелись в веществе наших клеток.

Копии нуклеиновых кислот, которые постоянно рождаются и рушатся внутри нас, несут в себе следы памяти и опыта, приобретенного бесчисленными поколениями наших предков. Эти приобретенные черты находят свое непосредственное отражение в мозге и нервной системе. Со смертью предков приобретенный опыт не пропадает, он идет дальше, из поколения в поколение, становясь богаче и полнее.

Но не вся жизнь организма находит отражение в структуре нуклеиновых кислот. Лишь крупные, поворотные события физической и духовной жизни могут вызвать мутации. Мутации — это буквы в летописи революций. Триллионы разбуженных виталонгой клеток непрерывно посылают в мозг Бориса всю накопленную ими информацию.

Все это происходит хаотично, без всякой последовательности и зачастую одновременно. Только такой сложный и совершенный прибор, как церебротрон, мог разобраться в этом хаосе и разложить его по своим ферритовым полочкам.

Состояние Бориса вполне объяснимо. Никакой здоровый мозг не в состоянии вместить такой напор обильной и яркой информации.

Нужно искать пути приглушить эту информацию, подавить внезапный бунт клеток. Только так можно вернуть Бориса к активной жизни. Все, что я вам рассказал, я напишу Мирояну и Флоровскому. Для них многое прояснится.

Думаю, что здесь нам во многом помогут наблюдения над сордонгнохским ящером. Эта загадка должна быть во что бы то ни стало раскрыта. Мы обшарим все озеро сетями, пока не поймаем ящера и не поместим его в ак-

вариум. У нас достаточно теперь для этого и сил и средств. Думаю, что поимка ящера откроет нам и другую тайну, которая так потрясла ваше воображение, Роман. Мы возьмем пробы воды и грунта, поймаем других обитателей озера, произведем радиометрические измерения. Может быть, мы и сумеем раскрыть удивительную загадку бессмертного ящера, узнать его историю. Я не согласен с вашей пылкой гипотезой, Роман. Почему обязательно космонавты из других миров? С равным правом все можно объяснить обычными земными причинами... Объяснений можно придумать много. В этом-то вся беда. Нелегко из десяти расплывчатых и шатких гипотез выбрать одну, верную. Вполне допустимо, что бессмертный ящер — это фокус все той же матушки-эволюции, возможности которой еще далеко не исчерпаны. В конце концов одно другому не мешает. Можно гадать и искать. Я обычно больше надежд возлагаю на второй вариант. Поэтому будем ждать фактов.

— Нам, конечно, остается только поблагодарить лектора за высоконаучный доклад, — насмешливо сказал Валерий после того, как я закончил, — Но если говорить откровенно, Артур Викентьевич, мне плевать на виталонгу, наследственность, мутации и все прочее. А вот Бориса мне жаль, хотя он сам, дурак, виноват. Я не испытываю никакого преклонения перед изобретением, которое способно отшибить у человека память и превратить его в живого мертвеца...

— Вы не правы, Валерий! — закричал я, раздосадованный упрямством молодого геолога. — То, что мозг отклонился от внешнего мира, явилось всего лишь спасительным рефлексом! Так предохранители отключают установку, спасая ее от скачков напряжения в цепи. Я не думаю, чтобы в мозгу Бориса могли произойти какие-нибудь необратимые изменения. Мы обязательно вернем его к жизни. Борис совершил подвиг во имя науки. Я уверен, что все физические и психические переживания Бориса отразятся на его генах, которые принесут в далекие поколения рассказ об этом великом подвиге.

— Борис станет великим и бессмертным в веках! Аминь! — торжественно провозгласил Роман, вставая. — О чем спорить? Давайте работать, и труд нам покажет, кто был прав. Добудем ящера из кладовой Сордонгноха, посмотрим, как он управляется со своим бессмертием.

Меня лично интересует вопрос, почему этот ящер не спит все время, как Борис, а периодически хватает то собак, то уток. Как вы думаете, Артур Викентьевич?

— Мне кажется, что именно в этом и состоит секрет, с помощью которого можно спасти Бориса,— сказал я.

— Ну что ж, будем работать,—сказал Валерий. И, помолчав, добавил:— Я вот что думаю, не слетать ли мне в Москву, посмотреть, как там дела, а?

Мы согласились, что, пожалуй, он прав.

Вечером я долго думал о нашем разговоре, о проблеме виталонги. Почему-то я верю, что все будет хорошо. Люди найдут свое бессмертие. Как все-таки мудра природа. Не прозябание, не сонное и сытое времяпрепровождение, а борьба и труд во имя человечества—вот что движет историю. И память об этом навеки остается в святой святой жизни, в вечных скрижалях, хранящихся в наших клетках. Как глубоко бывают правы поэты! Это правда озарения и провидения:

Лишь тот достоин счастья и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

Или вызов, брошенный Горьким сытым и самодовольным, паразитам и трусам:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

Нет приговора суровее. Нет страшнее участи, чем бесследно исчезнуть в непрерывной эстафете поколений бессмертного и гордого человечества.

*Записка аспиранта Г. Мирояна
ассистенту университета
В. Н. Флоровскому*

Владимир Николаевич, ты сегодня меня не застанешь, так как меня вызывают в Москву. Очень прошу, посмотри мои сегодняшние записи церебротронных видений Ревина-Михайлова. Я сразу по биотокам определил, что

с ним что-то происходит. Мое предположение подтвердилось. Впрочем, сам увидишь. Можешь делать замечания на полях. Мне интересно, что ты обо всем этом думаешь.

Запись Мирояна

Этот сеанс был не похож на другие. Раньше я все время чувствовал собственное присутствие в тех картинах, что разворачивались перед моими глазами. Сейчас все было иначе. Впечатления были настолько сильными и непосредственными, что порой я совершенно забывал о Галусте Мирояне, обклеенном электродатчиками и лежавшем в темной церебротронной.

Первым и главным ощущением была усталость. Она тяжелым цементным тестом схватила мышцы и суставы. Когда я поднимал ногу, мне казалось, что я слышу, как рвутся и дробятся мои одеревеневшие мускулы. Огромным усилием воли посылал я вперед свое измученное тело. Еще шаг, еще... Иногда я останавливался и оглядывался назад. Там двигался он. Высокий рыжебородый мужчина в резиновых сапогах и брезентовой накидке шел тяжело и медленно. Когда я смотрел, как он, пошатываясь, старательно обходит свинцово-серые лужи, во мне на миг разливалась теплота сочувствия и понимания. Я кивал ему головой, поднять руку я уже был не в силах. А он только смотрел в ответ. Голубые глаза на сером лице были нечеловечески прозрачны. Они ничего не выражали, ни боли, ни тоски, ни надежды. Я поворачивался и шел вперед.

Я знал, что мы идем уже много дней. Нас по-прежнему окружала мокрая осенняя тайга. Черные осклизлые стволы исполинских сосен сверкали, словно облитые глазурью. По ним скользили жирные капли дождя. Низкое темное небо лежало на раскачивающихся верхушках деревьев. Оно непрерывно источало влагу и холод. Под ногами плескалась студеная грязная жижа из веток, мха и воды. Воды здесь было сколько угодно. Она струйками выпрыскивала из-под ног, сочилась из рваной коры старых елей, внезапно преграждала путь, разлившись маслянистым неподвижным озером. Вода висела в воздухе, превращая его в холодный вязкий кисель. Иногда мне казалось, что, кроме воды, вокруг нас ничего нет. Лес

был из воды, воздух из воды, мы сами из воды, весь мир был сделан из воды.

Мокрые брюки и белье сильно натирали колени, и кожа там горела, словно от ожога. По вечерам, когда мы забивались в нашу крохотную изъеденную дождем палатку, я снимал разорванные в нескольких местах резиновые сапоги и рассматривал свои ступни. Они были белые и набрякшие, как у мертвеца. Казалось, влага пропитала живую ткань тела и, если нажать пальцем, то из-под пористой кожи выступят желтоватые молочные капли. Я не нажимал, боялся.

Мой рыжебородый друг доставал из рюкзака, где хранились образцы и еда, маленький сверток. Первой из свертка извлекалась грязная помятая бумажка, на которой были написаны два слова: «Дойти и выжить». Потом появлялся мешочек с мукой, баклага спирту и пачка с печеньем. Мы опрокидывали по глотку огненной влаги, запивали ее болтушкой на дождевой воде и съедали по куску печенья. Огня, насколько я помню, мы уже давно не разводили, так как не было спичек, да и слишком отсырело все вокруг. Наверное, во всей тайге не было ни одной сухой ветки. Мы засыпали, плотно прижавшись друг к другу.

У меня было ощущение нескончаемой вереницы однообразных дней. Мы шли, шли, шли... Я помнил сырые дни, похожие между собой, как близнецы, бесконечные холодные ночи, когда к утру хочется плакать от голода, медленное движение по болотистым таежным зарослям и усталость, ставшую второй одеждой тела. Усталость сделала бесчувственными руки и ноги, лицо, грудь. Были безразличны удары ветвей по щекам, вода, проливавшаяся за ворот, намокшие и опухшие ноги.

Все чаще я оглядываюсь назад на своего спутника, все дольше задерживаюсь, поджидая его. Походка у него сейчас особенно неуверенная, он часто взмахивает руками, словно собирается взлететь, глаза сверкают лихорадочным блеском. Он торопится за мной, он боится отстать... Меня охватывает тревога. Она пробивается сквозь равнодушие, как подснежник весной. Мне очень хочется ему помочь, но я ничего не могу поделать. Основной груз — рюкзак с нашими образцами — волоку на себе. Рыжебородый несет только палатку, но ему нелегко и это. Он сильно сдал... Вот тебе и богатырь... Я поджидаю, пока он

доковыляет ко мне, и иду дальше. Но он все больше и больше отстает. Лес слегка редееет. Очевидно, где-то поблизости река. Наконец-то вечер. Я наскоро разбрасываю палатку, и мы заползаем в нее. Сегодня мы ложимся спать без ужина. Еды осталось всего на два дня, а идти нам еще не меньше пяти суток. Как мы дойдем?

Я просыпаюсь от холодного и мокрого прикосновения к лицу. Мне кажется, что на меня упала палатка. Я медленно сгребаю ткань с лица и обнаруживаю, что запутался в тряпках, которые положил в головы. Я поворачиваюсь на другой бок и пытаюсь заснуть. Что-то необъяснимо тревожит меня. Наконец до меня доходит причина. Мне не хватает тепла его тела. Я протягиваю руку, и она повисает в ужасающей пустоте. Я лихорадочно обшариваю всю палатку, все углы, закоулки, смятины, словно там мог спрятаться и потеряться взрослый человек. Меня охватывает ужас. Я обнаруживаю исчезновение рюкзака с образцами и остатками еды. Я вырываюсь из палатки, словно из склепа, на воздух. Занимается раннее утро. Солнца, конечно, нет, но где-то далеко на востоке над иссиня черным лесом расплываются вялые бледные полосы. Я быстро скатываю палатку валиком. Может, он просто пораньше встал и решил пройти вперед, чтобы ему не догонять меня в течение всего дня. Но куда он двинулся и почему не предупредил меня? Ведь у него даже компаса нет! Неужели сбежал? Это моя смерть.

Я бегу, выплескивая воду из сапогов и луж. Внезапно я замечаю впереди темную фигуру. Я настигаю ее и хватаю за плечо. Он быстро поворачивает ко мне голову. В этом лице нет ничего человеческого. Потухшие глаза в кровавых белках смотрят тупо и настороженно, на щеках вспыхивают фиолетовые пятна. Я что-то быстро говорю, убеждаю, возмущаюсь. Внезапно резкий, рассыпавшийся молниями, удар, прерывает меня. Я падаю навзничь прямо в огромную лужу. Лежу в грязной воде и смотрю, как медленно уходит рыжебородый. С ним уходят моя еда, спирт, жизнь.

И я, уже не тот человек в тайге, а Галуст Мироян с датчиками на лбу, отмечаю про себя, что рыжебородый болен. И я, Галуст Мироян, знаю, как называется эта болезнь, но тот человек, что лежит в тайге, мешает мне вспомнить это название.

Я выбрался из лужи, и теперь сижу на упругом мши-

стом покрове. Сегодня, кажется, первый день, когда нет дождя. Значит, скоро зима. Я не пойду за рыжебородым, который уносит в рюкзаке мою жизнь. Когда-то он подарил мне счастье, а сейчас я должен вернуть ему долг. Теперь-то я знаю, что не дойду, но идти все равно надо. И я плетусь с кочки на кочку, пока часов через пять не выхожу к реке. Она небольшая, синяя и холодная. Я беру правее, чтобы подыскать подходящую переправу и вдруг замечаю его. Он тоже ищет брод. У него в руках шест, чтобы ощупать дно.

Сапоги он снял и держит их под мышкой. Видно, что ему мешает рюкзак. Вот он вернулся на берег, сбросил рюкзак, огляделся по сторонам. Что-то делает на берегу, отсюда не видно, всё же метров триста. Потом снова пошел в воду, на этот раз в сапогах. Правильно, все равно ноги мокрые, а камешки на дне острые, без обуви не пройдешь.

Я отыскиваю палку и начинаю тыкать в воду. Здесь везде крутой спуск, да и глубина порядочная. Я долго брожу по берегу, и наконец, решаюсь двинуться вверх по течению. Там, вероятно, больше мелких мест. А как дела у рыжебородого? Я осматриваю поворот реки, где маячил его силуэт, и никого не вижу. На противоположном берегу низко склонились вековые кедровые деревья. На этом — шумит сосновый молоднячок, продуваемый пронизывающим осенним ветром. Я медленно иду туда.

Песок под рюкзаком успел осесть и слежаться. Когда я потянул мешок за лямки, под ним открылась яма, на самом дне которой собралась вода. Немного поодаль на мелкой речной зыби раскачивался темный предмет. Я извлек его. Старая пыжиковая шапка. На внутреннем ободке вышита хорошо знакомая надпись «Ник. Курилин».

И вот здесь что-то произошло. Я, Галуст Мироян, из тайги был переброшен в свою церебротронную вскриком: «Отец, отец!» Это кричал Борис Ревин. Я бросился к пульту, отключил церебротрон и подошел к больному. Он бредил! Это огромная победа. Это первый шаг к выздоровлению. Интересно, что, когда я рассматривал кривые биопередачи, я отметил колоссальный толчок-импульс. Огромное нравственное возбуждение взорвало анабиотическое состояние больного, буквально, как мина взрывает горную породу. Получение стройной информации из прошлого нарушилось, открылась отдушина для поступле-

ния раздражений извне. Он уже реагирует на яркое освещение! Свет прожектора вызывает дрожание век. Сейчас Ревин по-прежнему бредит. Мы начали использовать различные химические препараты. Надеемся, надеемся, на многое надеемся!

Кстати, я долго думал об увиденной сцене в тайге. С твоих слов я знал о семейной драме Михайловых. Получается, что Михайлов ни в чем не виноват, это его бросил Курилин. И Михайлов принял предательство друга на себя. У них там были какие-то счеты. Но когда я «просматривал» эту сцену, мне показалось, что Курилин был болен. Я проверил все внешние признаки заболевания, которые мог не заметить измученный и отупевший от усталости Михайлов. Похоже на таежный энцефалит. Это тяжелое быстро развивающееся мозговое заболевание могло сделать Курилина невменяемым...

... лет спустя
(Эпилог)

В о п р о с. Какие открытия прошлого, по вашему мнению, сохранили свое значение и в наши дни?

О т в е т. Мне не хотелось бы умалить и принизить значение множества великолепных достижений науки прошлого, но я возьму на себя смелость назвать всего лишь две, по-моему, совершенно уникальные победы человеческого разума. Это атомная энергия и раскрытие тайны жизни.

В о п р о с. Скажите, председатель, если бы эти открытия не были сделаны в свое время, насколько бы задержалось развитие нашей цивилизации?

О т в е т. Этого не могло произойти. Они были подготовлены всем ходом истории человеческого общества. Атомный век для человечества начался с лучей, обнаруженных Беккерелем, а не взрывом бомбы над Хиросимой. Точно так же разгадка тайны жизни началась с открытия структуры нуклеиновых кислот, а не с тех грандиозных потрясений, к которым привело использование витаминов.

В о п р о с. Вы считаете, что применение этих великих открытий не всегда шло по правильному пути?

О т в е т. Безусловно. Чтобы проникнуть в тайны атома, не стоило взрывать атомную бомбу. Это нисколько не продвинуло нас по пути познания ядерных процессов. И опять же навязчивые и вздорные идеи о бессмертии, якобы порождаемом виталонгой, на некоторое время сбили науку о жизни с правильного пути. Нам остается только утешаться тем, что все это этап, давно пройденный человечеством. Сейчас атомная энергия верно и преданно служит людям, а виталонга-прим стала самым заурядным препаратом в любой аптеке. Вы сами, наверное, ей пользуетесь, а если нет, то скоро начнете. Она спасает людей от преждевременной старости, придает необыкновенно устойчивый жизненный тонус, неиссякаемую бодрость духа, великолепную трудоспособность в любом возрасте.

В о п р о с. Скажите, председатель, как себя чувствует Борис Ревин-Михайлов, самый старый человек на земном шаре, да и, пожалуй, во всей солнечной системе?

О т в е т. В настоящее время он руководит объединением...

— Ну, хватит валять дурака, — сказал Положенцев, входя в дверь с букетом цветов.

Ромка поперхнулся недосказанной фразой и закашлялся. В его руках дрожал микрофон (чайная ложечка). Курилин по-прежнему величественно покоился в кресле. Он посмотрел на часы и, преувеличенно кряхтя, поднялся.

— Что, уже пора ехать? — сказал он, обращаясь к Положенцеву.

— Да, такси уже у подъезда.

— Если эти роскошные цветы предназначены для Бориса, — Курилин потрогал влажные черно-малиновые астры, — то совершенно напрасно, он их терпеть не может.

— Не для Бориса, — отрезал Положенцев.

Геннадий Гор

У Э Р А

П о в е с т ь

Остановленный миг

Всего два часа продолжалась эта странная попытка заглянуть в бесконечность, остановив миг.

Чего ждала Эроя, включив аппарат? Она ведь знала, что прошлое, возвращенное благодаря бесперебойной работе искусственной памяти, не могло заменить ни настоящего, ни будущего.

Сейчас Веяд был здесь, рядом. Сейчас? Нет, это «сейчас» давно стало прошлым и поселилось в сознании автомата, всегда готового к услугам, всегда умеющего повторить ускользнувшее мгновение, но не способного превратить утраченное в настоящее.

Эроя встретила с Веядом как в сновидении. Но это «сновидение» было точным отражением действительности и не давало ни на минуту забыть, что время необратимо.

И все же Эроя не жалела, что включила аппарат. Два часа она провела «вместе» с Веядом, и временами почти казалось, что он вернулся. Может, он и вернется, если его отпустит даль. Но когда? Десять лет прошло, и пройдет еще десять, и еще двадцать...

Она ждала. Но ведь и он тоже ждал, если был жив. Между ними были звезды, которые своим светом напоминали ей, как велика Вселенная и как легко в ней затеряться.

Эроя притронулась к роботу, хранившему прошлое. Он был холоден, как и полагается вещам. Но из всех вещей

его выделяла одна особенность: он был хранителем того, что связывало их, и сопротивлялся течению времени.

В этом сделанном из довольно прочных материалов предмете жило нечто неповторимое и интимное, впрочем, не очень прочное — кусок отраженного бытия. Эроя приоткрылась к роботу ласково, словно это было живое существо. Затем она вышла из комнаты воспоминаний, усилием воли оторвавшись от утраченного.

Любезный автомат-водитель открыл дверцу вездехода, и незаметное движение перенесло Эрою в горную местность, в Институт истории и археологии. Здание было вписано в синеву леса. Здесь еще было утро. Свистели птицы. Здесь утро длилось дольше, чем везде. Со скалы падал водяной поток. Грохот падающей воды освежал каждое мгновение в этом утреннем краю пахнущих смолой ветвей.

В лаборатории на реконструкционном столе лежал череп молодого охотника, погибшего еще в каменном веке. Легко ли будет восстановить облик древнего юноши, вернуть то, что не сохранилось? Эрон-младший, брат Эрои, выдающийся кибернетик и физиолог, предложил восстановить заодно и внутренний мир этого древнего дильнейца. Разумеется, не буквально вернуть утраченное бытие, а создать духовный слепок, модель ума и чувств. Эроя пока не дала согласия на это. Да и возможно ли смоделировать внутренний мир древнего дильнейца, имея только его череп?

Работа, в сущности, еще не перешла через первую стадию размышлений и догадок. Эроя старалась представить себе жизнь этого охотника, его самого, пещеру, где он и его сородичи нашли приют.

Один старинный философ сказал: «Все наше богатство заключено в мысли».

Как будто мысль важнее действия! Философ жил в ту эпоху, когда мышление наивно отрывали от жизни, от дела. А ей, Эрое, нужно реконструировать стихийную природную жизнь, скорее жизнь чувств, чем жизнь мысли.

Было ли имя у этого охотника? Нужно думать, было.

Собственные имена существуют давно, они возникли вместе с языком для того, чтобы древний дильнеец мог отделить себя от других, и другие могли с помощью звуков обозначить нечто неповторимое и особенное. Иногда Эрое казалось, что ей было бы легче работать, восстанавливая облик древнего охотника, если бы она знала его имя. В каждом имени есть нечто от того, кто его носит. Звук, название сливается с тобой и, как кажется родным и близким, выражает твою суть. Вот и Веяд... Сочетание звуков переносит Эрою в то десятилетие, когда он был здесь, на Дильнее, рядом с ней. Он немножко подшучивал над ее специальностью палеонтолога и археолога. Всю жизнь смотреть в прошлое, оглядываться назад! Так может заболеть шея! Нет, его интересовало не прошлое, а будущее, тоже даль, но не позади, а впереди нас.

Эроя любила свою специальность. Еще учась в средней школе, она поняла или, вернее, почувствовала, что такое время, история. А позже она овладела искусством извлекать время из мертвых предметов и документов, и это стало ее профессией.

Размышления Эрои прервал призывный звук отражателя. Она взглянула на экран и увидела добрые, усталые глаза своего отца.

— Если ты не очень занята, Эроя, — сказал отец, — зайди, пожалуйста, ко мне в институт. Я хочу показать тебе чудесное существо.

— Опять древнего таракана, извлеченного из тьмы веков? Он мне ужасно не понравился.

— Нет! На этот раз не таракана, а бабочку, только что доставленную из тропиков.

Дети Эрона-старшего, одного из крупнейших энтомологов Дильнее, не пошли по стопам отца. Эрон-младший избрал специальностью теорию информации, Эроя — историю и палеонтологию. Нет, их не привлекал мир насекомых, крошечных существ, которых эволюция загнала в тупики познания, одарив инстинктом, застывшим знанием рода и вида.

Сколько книг о насекомых и их видении мира написал Эрон-старший! И сколько придумал и создал аппаратов, занятых тем, что они вбирали в свою механическую память факты из жизни этих странных существ.

Эроя зевнула. Ничего не поделаешь, придется провести час или два в лаборатории отца.

Это было давно. Эрое исполнилось тогда семь лет. И отец принес домой необыкновенную вещь.

— Не знаю понравится ли тебе мой подарок, — сказал он. — Достаточно войти сюда и нажать кнопку... Но не спеши. Никогда не надо спешить.

— А если я нажму кнопку, — спросила нетерпеливо Эроя, — что случится со мной?

— Ничего особенного. Ты превратишься в пчелку.

Эроя думала, что отец шутит. И так думали все — и дети, пришедшие в гости, и взрослые. Но оказалось, отец вовсе не шутил. Эроя раскрыла дверь аппарата, вошла, нажала кнопку и превратилась в пчелу. Не то чтобы превратилась буквально, как в древних сказках, но она попала в пчелиный мир. А разве это не одно и то же?

Это были чудесные мгновения. Исчезла комната с гостями, исчезло все, и появилось нечто новое и необычайное. Этот мир, который раскрылся перед Эроей, сверкал всеми цветами и всеми оттенками. Желтый, зеленый, синий, фиолетовый. А это еще что за цвет? Ведь такого цвета не бывает. Но он тут, перед глазами. Он сверкает, как поверхность лесной реки, как облако, как зыбкая ветка приснившегося дерева. Как же он называется? Эроя начинает вспоминать названия всех цветов и оттенков. Но этому цвету, должно быть, забыли дать название. А мир сверкает и меняется. Цвета и запахи так странно сливаются. Пахнет кленовым соком. Что это? Птичий свист? Или запах фиалки? Или прохлада грохочущей реки, несущейся по камням?

Вещи потеряли тяжесть. Нет линий и форм. Только цвета и оттенки. Время остановилось. В приснившемся облаке отражается черное крыло птицы.

Спустя много лет у Эрои не раз возникли воспоминания, что когда-то она была пчелкой. Не во сне же ей приснился странный пчелиный мир?

И все же она не стала энтомологом, вопреки желанию отца. Ее влекла к себе не природа, а история. А еще больше — искусство восстановления утраченного. Вот и сейчас она хочет восстановить черты древнего охотника, того, от которого остался только череп, а от эпохи — кусок грубо отесанного камня, служившего орудием труда и защиты.

Брат Эрои Эрон-младший предлагал восстановить внутренний мир охотника. Он мог ставить себе такую задачу. Сумел же он создать модель внутреннего мира своей сестры, записать живую историю ее личности и подарить эту модель отправившемуся в космическое путешествие Веяду. Он хотел облегчить горечь разлуки. Удалось ли это ему? Едва ли. Но об этом речь пойдет впереди.

Встречаясь с сестрой, Эрон-младший шутил:

— Ты здесь? Возможно ли это? Но спрашивается, кого же я отправил с Веядом?

— Ты отправил мою тень, мое отражение.

— Нет! То, что я отправил, все же больше тени и глубже отражения.

— Так что же ты отправил, Эрон?

— Что я отправил? Об этом нам расскажет Веяд, когда он вернется из своих странствий.

Подарок Эрои

Веяду и его спутнику Туафу пришлось поселиться на космической станции Уэра. Им не дано было выбирать, где жить. Космолет погиб, и только им двоим удалось достигнуть Уэры, им да еще третьему существу, которое не нуждалось ни в пище, ни в воздухе, ни в опоре для ног.

Это существо могло поместиться и в кармане.

О том, как удалось создать «дубликат» Эрои, уменьшив больше чем во сто крат ее физическое начало и оставив почти без изменения внутренний мир, не знал не только Туаф, но и сам Веяд. Он прятал Эрою, пытаясь сохранить в тайне удивительный факт, плохо согласованный с опытом и здравым смыслом. Он прятал ее от чужих и нескромных глаз. Но разве можно спрятать что-нибудь на таком крошечном островке, как Уэра?

В истории планеты Дильнеи это был первый случай, когда путешественник увез вместо изображения своей жены нечто невообразимо новое, чему еще не придумали названия.

Подарок, который преподнесла Эроя своему другу и возлюбленному, был бесценен — она принесла самое себя, отделившись от самой себя и одновременно оставшись

сама собой. Она вручила дубликат своего ума и своих чувств, бесформенный комок какого-то неизвестного и чудесного вещества, куда вместилась живая и неповторимая история личности, называемая памятью.

Один из крупнейших физиологов древности назвал память «преодолением отсутствия». Неплохо сказано, хотя и чуточку туманно. Веяд и Эроя с помощью Эрона-младшего нашли способ «преодолеть отсутствие», сделать невозможное возможным, разлучившись, все же остаться вместе, разделить, не разделяясь. Они думали, что им удалось обмануть пространство и время, перехитрить закон природы. Но они переоценили открытие Эрона — брата Эрои — и невозможное так и осталось невозможным.

Рассказывает Туаф

Не я выбирал себе спутника и товарища, его выбрала за меня судьба. Покинуть космолет удалось всем, но только мне и Веяду посчастливилось достичь Уэры. Посчастливилось? Я не без сомнения употребляю это слово. В самом же деле не много счастья в том, чтобы сидеть на крошечном островке, окруженном пустотой, и ждать...

Нас было двое, всего только двое в этом огромном и пустынном мире, и трудно представить мое изумление, когда однажды, проснувшись рано утром, я услышал незнакомый голос. Это был женский голос, явно девичий, мелодичный и музыкальный. Я подумал, что меня обманывают чувства. Но голос был рядом, за тонкой звукопроницаемой перегородкой. Кто-то разговаривал с Веядом. Я прислушался.

Веяд. Тише! Нельзя так громко говорить, Эроя. Впрочем, пусть слышит. Мне надоело тебя прятать.

Эроя. А ты думаешь, мне приятно, чтобы меня прятали!

Веяд. Но зато мы вместе, рядом.

Эроя. Рядом? Ты в этом уверен? А мне кажется, что между нами целый мир... Между нами пространство, Веяд. Холодное космическое пространство.

Веяд. И все же ты со мной. Я слышу твой голос. Я спрашиваю тебя и отвечаю на твои вопросы. Разве это так уж мало?

Э р о я. Твой спутник лишен этого?

В е я д. Лишен. Хочешь, я познакомлю тебя с ним? Его зовут Туаф.

Э р о я. Не хочу.

В е я д. Почему?

Э р о я. Это причинит ему боль. Он еще больше станет тосковать по Дильнее.

В е я д. Возможно.

Э р о я. Он тоже расстался с возлюбленной?

В е я д. Не знаю. Туаф ничего не говорил мне о ней.

Э р о я. Он застенчив?

В е я д. Не очень.

Э р о я. Скрытен?

В е я д. Не всегда.

Э р о я. Умен?

В е я д. Отчасти.

Э р о я. Добр?

В е я д. Иногда добр, иногда нет.

Э р о я. (*смеясь*). Из твоих слов трудно составить что-нибудь определенное. Он красив?

В е я д. Да, когда он этого хочет, когда у него хорошее настроение.

Э р о я. (*изумленно*). Разве красота зависит от настроения?

В е я д. Зависит.

Э р о я. Я этого не понимаю.

В е я д. Сейчас объясню. Туаф — оптик, косметик и декоратор-иллюзионист. Во время путешествия в его обязанности входило заботиться о внешности членов экспедиции и экипажа. И о своей внешности. Но сейчас он в таком настроении, что ему не до красоты. Да и для чего быть красивым на таком острове? Если бы он знал, что его может увидеть женщина...

Э р о я. Тебе нравится этот островок?

В е я д. Уэра?

Э р о я. Я не знала, что у этого островка такое звучное название.

В е я д. (*мечтательно*). Название успокаивает. Безжизненный островок облачен в звук, он назван и где-то помнят его название. Названия... Имена! Где-то далеко-далеко, может, вспоминают и мое имя.

Э р о я. Она скучает по тебе.

В е я д. Кто?

Э р о я. Кто же еще? Разумеется, твоя Эроя.

В е я д. Но разве ты не она? Ты ведь здесь?

Э р о я. Здесь только часть меня. На самом деле я там.

В е я д. Нельзя же быть одновременно и там и здесь?

Э р о я. Ты же знаешь, что можно.

В е я д. И знаю и не знаю. Я ведь ни в чем не уверен.

Э р о я. Разве так уж плохо, что мы вместе?

В е я д. И вместе и отдельно. Ведь вместе со мной только одна твоя память, история твоей личности. Тело же твое осталось там. Оно за миллионы километров и десятки лет отсюда.

Э р о я. Да, оболочка осталась там.

В е я д. И сущность тоже. Ведь то, что здесь со мной, только копия, совершенная, идеальная копия, но все же не оригинал.

Э р о я. Мне неприятно это слышать. Твои слова причиняют мне боль.

В е я д. Тс! Кажется, проснулся Туаф.

Пауза.

Ту а ф. Да, я проснулся. С кем ты беседуешь?

В е я д. *(растерянно)*. Сам с собой. Я мечтаю вслух.

Ту а ф. *(насмешливо)*. Двумя голосами? Мне послышалось, что с тобой разговаривала женщина.

В е я д. *(уже спокойно и тоже насмешливо)*. На нашем острове появились призраки.

Может, действительно на острове появились призраки. Здесь снятся такие необыкновенные, реальные сны!

Игрок

Уэра! Крошечный мирок. Кусочек трехмерного пространства, кое-как приспособленного, чтобы приютить жизнь. Здесь были аппараты и запасы вещества, почти все необходимое, кроме воздуха и воды. Но Веяд и Туаф с помощью устаревшей аппаратуры (она оставлена была здесь по меньшей мере полтора-два столетия назад) создавали воду и воздух, минимум того, что требуется для существования. Пребывавшая же здесь Эроя не нуждалась ни в воздухе, ни в воде, ни в пище. Она была по ту сторону жизни и смерти — отражение живого бытия, кусочек восприимчивого вещества, наполненный до отказа

всяческой информацией, нечто большее, чем тень, и нечто меньшее, чем та, что осталась ждать.

Ждать... Из всех слов разговорного языка, из всех обозначений и знаков это слово было самым необходимым на Уэре. Уэра и была создана для того, чтобы дать приют тем, кто должен ждать. Да и сама Уэра ждала почти двести лет, пока из необитаемого островка стала пристанищем для космических Робинзонов. Пусть останутся в веках имена ученых и инженеров, строителей этого крошечного мира! Благодаря их смелости, упорству и мастерству Туаф и Веяд нашли то, на что можно было опереться в этой пустоте.

По-видимому, один из строителей, инженер Тей, в свободные минуты предавался размышлениям о сущности времени и бытия. Веяда заинтересовали записи Тей. Инженер Тей писал: «Для меня нет ни настоящего, ни прошлого, а только будущее. Весь смысл моего бытия — достичь его. Настоящее? Когда я возвращусь на родную Дильнею, оно станет прошлым. Прошлое? Оно присоединится к будущему. Долгое пребывание в космосе и полет со скоростью, близкой к скорости света, создает парадокс времени. Мне хочется представить себе тех, кто найдет здесь приют. Может, это мне поможет победить свою тоску по Дильнее... Жена ждет меня. Но едва ли она меня дождется. Когда я возвращусь домой, пройдет слишком много лет для короткой жизни индивида. Долгое пребывание в пути, полет почти со скоростью света затормозят мое время, удлинят мою жизнь, но жизнь моей жены и моих друзей, подверженная другим темпам и иным ритмам, не сможет поспеть за моим бытием...»

Веяд столько раз читал этот отрывок дневника Тей, что знал его почти наизусть.

Тей — этот добрый и мужественный строитель. О, если бы Туаф хоть чуточку был похож на него! На днях он сказал Веяду:

— Мне скучно. А тебе?

— Ты не мог спросить меня о чем-нибудь другом?

— О чем?

— О погоде.

— На Уэре стоит всегда одна и та же погода.

— Ты наблюдателен. А еще что ты заметил, живя здесь?

— О том, что я заметил, я пока тебе не скажу.

Он стал продолжать дело, которым был занят. Туаф чинил автомат для логической игры. Искусственный гроссмейстер был создан по крайней мере два века тому назад и, разумеется, порядком устарел. Когда-то он честно послужил людям, борясь с самой страшной энтропией из всех энтропий, разъедавших не вещи и явления, а живое дильнейское время. Он некогда развлекал строителей космической станции, заставляя их долго думать над каждым ходом.

У Туафа были ловкие руки и способности к технике. Дело подвигалось успешно. И вот искусственный гроссмейстер сделал свой первый ход. Но прежде, чем сделать ход, он бросил Туафу нагловатую и насмешливую фразу:

— Могу дать фору. Хотите, сниму корабль?

— Не хочу, — сердито ответил Туаф. — Будем играть на равных.

— На равных? Но я еще не встречал логиков, которые могли бы поставить знак равенства между своими усилиями и моим умением.

Он, вероятно, повторял то, что говорил двести лет тому назад, ведь это ему было задано программой. Двухсот-летняя пауза прошла для него так же незаметно, как секунда.

— На равных, так на равных, — сказал искусственный гроссмейстер и сделал ход рыбой.

Туаф долго думал, прежде чем сделать ход. Ему не хотелось дать себя победить автомату. Ведь в космолете он в продолжение многих лет держал первенство в логической игре.

Веяд знал правила логической игры, но никогда ею не интересовался. Сейчас же он с напряженным вниманием следил за каждым ходом. На чьей стороне он был в этой игре? Кому желал победы? Как ни странно, этому нагловатому автомату. В его манере самоуверенным тоном произносить слова и с азартом бросать фигуры на доску было нечто характерное, живое и интересное. Казалось, когда-то живший игрок передал этой машине не только свои опыт и знания, но и свой темперамент. После каждого удачного хода искусственный гроссмейстер насмешливо говорил:

— Ну что, маэстро! Еще не заболела голова? Могу предложить таблетку. Помогает.

И он делал насмешливый жест пластмассовой рукой.

Он неизменно выходил победителем из этого состязания с напрягавшим все умственные силы Туафом. Послушали бы вы, каким тоном он произносил каждый раз это грозное слово «Предупреждаю!» И при этом потирал руки.

— Предупреждаю! — говорил он.

Он ли это говорил? Нет, не он, а, казалось, тот живший двести лет тому назад игрок, который передал ему вместе со своим мастерством и заметную долю своего насмешливого характера.

Рассказывает Веяд

Она? Эроя? Но разве можно называть живым женским именем кусочек вещества? И все же я хорошо знал, что за своей вещественной оболочкой он хранит мир мыслей и чувств, что он не только вещь, но и отчасти Эроя тоже.

Она была тут, рядом, и я ждал, когда за стеной Туаф и искусственный гроссмейстер закончат последнюю партию и наступит ночная тишина, покой.

Тогда начинался наш разговор. Мы говорили шепотом, чтобы не услышал Туаф.

— Эроя, — спрашивал я. — Ты здесь?

— Странный вопрос, — отвечала она. — А где же? Я и здесь, и там. Нигде. Меня нет. Вернее, меня не было еще минуту тому назад. Я спала. Но сейчас... Сейчас я уже здесь. Твоя мысль разбудила меня, и я обрела бытие. Я здесь с тобой, Веяд. Чем ты занимался сегодня?

— Писал свою диссертацию о проблеме конечного и бесконечного. Думал. И когда устал, пошел пройтись. За шесть часов я обошел почти весь здешний мир.

— Наверное, трудно писать о бесконечности, живя в мире, который можно обойти за шесть часов?

— Наоборот, Эроя. Только здесь можно почувствовать всю глубину этой проблемы.

— А что делал Туаф?

— Последние две недели он почти ничего не делает,

только играет с гроссмейстером. Он дал себе слово, что победит своего искусственного и искусного соперника. Но пока до победы далеко. Позавчера Туафу удалось сделать ничью. Ах, как он был счастлив. Я не видел еще более счастливого индивида.

Эроя рассмеялась.

— Ничья сделала его счастливым?

— Да.

— Он не очень-то многого требует от судьбы, твой друг Туаф. Он и на родине был игроком?

— Не только. Он был крупным оптиком, косметиком и декоратором и, кроме того, преподавал. Он отправился в космическую экспедицию, чтобы изучать сущность прекрасного и его разнообразные проявления. Кроме того, в его обязанности входило украшать быт на космическом корабле, служить красоте... Он занимался этим довольно прилежно. Но здесь он обленился, забыл о прекрасном и играет с утра до ночи с искусственным гроссмейстером.

— А у тебя, Веяд, есть возможность приложить свои силы?

— Я философ. А размышлять можно везде. Уэра слово создана для размышлений.

— А еще для чего?

— Для ожидания.

— И долго нужно ждать?

— Десятилетия... И мне все же легче, чем Туафу. У меня преимущество.

— Какое?

— Он одинок. А я — нет. Со мной ты.

— А ты уверен, что я с тобой, что я здесь?

— А где же ты, если не здесь со мной?

— Для меня не существует слова «здесь». Я его не понимаю. Сколько раз ты мне пытался его объяснить, а я все равно не могла понять. «Здесь»? Что это означает?

— Это означает, что ты сейчас на космической станции Уэра. Только здесь и нигде в другом месте Вселенной. Это один из незыблемых законов природы. Нельзя одновременно пребывать в разных местах мира.

— Так ли уж он незыблем, твой закон, Веяд?

— Не мой, Эроя, а природы.

— Значит, мы не все знаем о природе. Для меня понятие «здесь» вовсе не имеет абсолютного смысла.

— Не будем спорить, Эроя, о законах природы.

Меня немножко тревожили слова Эрои. Раз она не понимает, что такое «здесь», и путает его с «там», значит, в ее сознании время не совпадает с пространством. Какой-то дефект в конструкции, в отражении ее «я»... Но не стоит посвящать ее в тайны ее конструкции. Она так обидчива и самолюбива. Да и само выражение «конструкция» может порядком ее смутить, как одно время смущало меня, пока я не привык.

Кто она? Это, в сущности, не ее дело. Она отражение Эрои, оставшейся на Дильнее... Логика (если это можно назвать логикой) модели Эрои устроена так, что она не хочет считать себя только отражением чужого бытия, она претендует на нечто большее... И пусть претендует! В этой претензии есть нечто загадочное... Она и превращает эту копию почти в оригинал. «Почти»... На это «почти» я долго пытался закрывать глаза.

В прошлом и позапрошлом веке люди, отправляясь в долгое путешествие, брали с собой фотографические изображения своих близких. Женатый дильнеец, быстро двигаясь в убегавшем пространстве, мог достать из кармана конверт с фотографиями и увидеть лицо, глаза, улыбку своей жены. Это было плоское и схематичное отражение чего-то живого и ускользающего, все — и вместе с тем ничто! Фотографическая карточка, напоминая об ускользающем мгновении, напоминала и о бесконечности. Она заставляла еще острее почувствовать расстояние, отделяющее путешественника от родины, боль и тоску.

Я был первым путешественником, который увозил с собой с Дильнееи не только отражение возлюбленной, не оптическое повторение того краткого мгновения, когда любимое лицо и улыбка были запечатлены объективом аппарата, а нечто большее. Ведь странствия могли длиться десятилетиями, и желание мое не только видеть изображение любимого существа, но и иметь возможность говорить с ним, чувствовать его присутствие было естественным желанием, хотя и противоречило опыту, здравому смыслу и логике расстояния, которое все увеличивалось и увеличивалось.

Что же увозил я с собой? Это до сих пор остается загадкой, и слово «модель», употребляющееся вот уже несколько столетий, только отчасти может примирить мыс-

ли и чувства со столь противоречивым и странным фактом.

Желание участвовать в продолжительном космическом рейсе возникло у меня еще в средней школе. Разумеется, оно тогда было еще наивно-романтическим, типично ребячьим, и я еще не думал, что всякое долгое путешествие связано с продолжительной разлукой. Как у всякого подростка, у меня еще не было сильных привязанностей, и я не боялся разлучиться с кем-нибудь из родных и друзей. Ведь взамен тех, кого я оставлял на время, я получал огромный и неизвестный мир, который нужно было освоить.

В том году, когда я встретился и познакомился с Эрой, я совсем иначе стал представлять себе это путешествие. Мир без Эрой — это мир без самого существенного для меня. Да и хватит ли у меня мужества и силы воли добровольно разлучиться с ней на несколько десятилетий? Парадокс относительности времени ставил нас в неравное положение. Движение со скоростью, близкой к скорости света, на космолете должно было привести к тому, что я мог не застать Эрой в живых или увидеть дряхлую старушку и с грустью отыскивать на ее морщинистом, увядшем лице черты той, которую оставил юной.

Я решил отказаться от своей затеи, и Эроя стала моей возлюбленной. Видеть ее лицо и улыбку, слышать ее голос и смех, чувствовать тепло ее упругого тела стало для меня привычкой.

— Эроя! — говорил я просыпаясь. — Я сегодня видел тебя во сне.

— И я тоже видела тебя во сне, милый.

Мы были вместе, всегда вместе наяву и не разлучались даже во сне.

Эроя была увлечена своей работой. Она занималась археологией и палеонтологией. Все ее интересы были на Дильнее. Меня интересовал космос, я изучал время и пространство. И не удивительно, что немного спустя я снова стал мечтать о рейсе в неведомое... Космос! Он манил меня, заставляя завидовать всем, кто улетел осваивать безграничные пространства. Я упрекал себя в малодушии, называл себя трусом. Чего я боялся? Опасностей? Нет. Разлуки со всем тем, к чему привыкли чувства? Тоже нет. Смерти? Нет. Я боялся продолжитель-

ной разлуки с Эроей. Я мысленно представлял себе это расстояние в несколько десятилетий, готовое встать между мною и ею.

Да, в этом было нечто коварное, в нем, в этом пространстве, в этой дистанции. И все же космос манил меня. Я знал всю историю борьбы со временем и пространством, от первой ракеты, преодолевшей силы планетной гравитации, и до самых последних путешествий далеко за пределы нашей Галактики.

Космос манил меня. Прожить жизнь и не побывать вдаль от привычного и известного — да стоит ли тогда жить?

Мы жили с Эроей в ярком и бесконечно интересном мире. Дильнея набирала силу. Она была похожа на огромную ракету, заряженную энергией и устремленную вдаль.

А что такое даль? На этот вопрос ответит и астроном и ребенок, только что научившийся читать. Но чей ответ будет ближе к истине ученого, вычислившего расстояния от бесчисленных звезд одной Галактики до звезд другой, или школьника, измерившего шагами расстояние от дома до школы? Я убежден, что к истине будет ближе ребенок, ощущающий даль сердцем, всем существом, даль с ее музыкой неизвестности, безграничную даль.

И вот я узнал, что такое даль, не на астрономической карте, а на опыте.

В моих чувствах поселилось пространство, которое я преодолел за те годы, что прошли, сливаясь с моим путешествием. С тех пор, как я поселился на Уэре, я непрестанно думал о Дильнее, о ее садах и лесах, о ее реках и озерах, которых мне сейчас так не хватает.

Эрон-младший

После того как были восстановлены черты лица древнего охотника, Эроя заболела нервным расстройством. Случай сыграл с ней злую и нелепую шутку. Древний охотник оказался словно близнецом Веяда. Сходство было поразительное. Все напоминало об отсутствующем. очертания лба, разрез глаз, характерный нос с горбинкой, губы. Не хотелось верить, но это было так.

Со случайным сходством (чего на свете не бывает!) можно было бы примириться, если бы Веяд был здесь рядом, на Дильнее. Но увы! Даль хранила молчание.

Два месяца Эроя не заглядывала в свой институт. Она гостила у брата Эрона-младшего.

— Индивидуальность, — рассуждал брат, — морфологическая неповторимость... Так ли уж это абсолютно? Поверь, дорогая, нет. Меня до сих пор дильнейцы часто путают с неким телепатом Монесом. А я терпеть не могу ни этого Монеса, ни эту сомнительную науку телепатию. Но что поделаешь! Природа поленилась и сотворила нас похожими. Уверяю, случай тебя всегда может свести с дильнейцем, похожим на Веяда. Что за беда, если двойник оказался старше твоего отсутствующего друга на пятьдесят тысяч лет? Хорошо, что он не сверстник, и ты не можешь встретить его у общих знакомых, как я встречаю иногда своего «близнеца»-телепата... Однажды я ему наговорил дерзостей насчет познания без органов чувств... Вот уж прошли века, а наука все не может проверить подсовываемые этими ловкачами факты. Разгадали физическую сущность гравитации, а физическая суть этих сомнительных явлений все еще показывает ученым кукиш и водит за нос всех, не исключая моего двойника-телепата.

Эрон-младший всегда был в хорошем настроении. Казалось, он не знал усталости, хотя работал над решением грандиозной проблемы. Вот уже три года он бился над задачей, которая казалась неразрешимой всем его помощникам и друзьям.

— Ум обычного среднего дильнейца, — объяснял он свою идею сестре, — это ум, укладывающийся в том познании, которого достигло его время от начала до конца его биографии. Но что такое гений! В сущности, никто до конца этого не знает. Гений — это ум, заброшенный в настоящее из далекого будущего. Тривиальный, но тем не менее правильный ответ. Почему хотя бы раз в столетие случается такое явление, когда будущее посылает нам своего вестника? Пока оставим этот вопрос в стороне. Он для меня не так важен. Меня интересует «что», а не «почему». Я и мой друг Арид пытаемся создать модель ума, обогнавшего своими логическими возможностями современные умы по крайней мере на не-

сколько тысячелетий. Наш отец изучает познание насекомых, познание, загнанное в тупик, придаток адаптации. Становление дильнейца, его эволюция говорит о том, что наш ум, наши логические способности бесконечно шире тех задач, которые связаны с адаптацией, с приспособлением к среде. Но иногда, правда очень редко, в одном дильнейце законы наследственности сосредоточивают грандиозное познание, необычайные способности.... Благодаря этим гениально одаренным членам общества всему обществу удастся заглянуть в даль будущего, расширить круг познания... Я мечтаю о таком мозге, который перенес бы нас вперед на многие тысячелетия, раскрыв множество тайн, окружающих нас. Мы научились воспроизводить тончайшие интеллектуальные процессы, но перескочить через границу того, чего достигли общество и наука, мы не можем. Мы не знаем тех логических законов, по которым будут мыслить дильнейцы через тысячи лет.

— А не зная этих логических законов,—спросила Эроя брата,—как ты построишь модель ума, обогнавшего современников на тысячелетия?

Эрон-младший улыбнулся.

— Для того и существует фантазия, чтобы расширять окружающий нас мир, мысленно преодолевать пространство и время. Мы ищем эти логические законы. В моей лаборатории работают не только самые талантливые физиологи и кибернетики Дильней, но и самые выдающиеся логики. Люди различных специальностей и профессий, пожалуй, все, за исключением телепатов. Эту сомнительную науку я не пускаю за порог своего института. Но представь себе, мой «двойник»-телепат, о котором я тебе говорил, на днях предложил мне свои услуги.

— Он в самом деле очень похож на тебя?

— Внешне да. Очень. Такого же роста. Так похож, что я сам готов принять его за себя. Но в складе ума у нас нет ничего общего. Я ненавижу телепатию... Пойдем ко мне в лабораторию. Я познакомлю тебя со своими помощниками. Среди них есть один выдающийся логик. Я тебе о нем говорил. Его зовут Арид. Кстати, он интересуется древним мышлением. И хочет поговорить на эту тему с тобой.

Я нашел эту книгу в Михайловском сквере возле памятника Пушкину. Кто-то забыл ее, и она валялась под скамейкой на песке.

Кто же был этот рассеянный читатель, кто, а главное—откуда?

На этот вопрос пока еще нет ответа, так же как никто еще не сумел прочесть хотя бы одно слово в этой странной книге.

Где она была издана? На каком языке? И это тоже долго оставалось тайной. Она побывала у всех лингвистов Ленинграда и Москвы, знатоков всех языков и наречий. Но что толку? Никто не сумел прочесть даже ее названия.

За каких-нибудь два-три месяца я стал знаменитым человеком, почти таким же знаменитым, как археолог Шлиман или шахматист Тайманов, хотя вся моя заслуга перед человечеством состояла только в том, что я нагнулся и поднял лежавшую на песке книгу.

Теперь в ящике для писем и газет на дверях нашей квартиры не хватает места и для десятой части той корреспонденции, которую я получаю. Почтальон, низенькая девушка с красным негодующим лицом, заходя ко мне, сокрушалась:

— Уф! И лифта нет в доме. Третий этаж. Долго вам будут писать со всего света?

— Долго, — отвечал я.

И действительно, кто только мне не писал! Школьники из Казани, пенсионеры из Баку, студенты из Киева, журналисты и физиологи, буфетчицы и математики и даже один не то сумасшедший, не то чудак, утверждавший, что книгу издали в Женеве в знаменитом издательстве SKIRA просто для рекламы.

Глупость! Кто же станет рекламную книгу издавать на неизвестном языке?

В тот день, когда я нашел книгу, я не придавал своей находке никакого значения. Я думал, что какой-нибудь иностранец, западный немец или француз, засмотревшись на здание Русского музея, замечтавшись, уронил эту книгу.

Иностранец? А может, не иностранец, а инопланетец?

Впрочем, этот вопрос задал не я, а корреспондент журнала «Кибернетика и будущее», приезжавший знакомиться со мной из Москвы. Так он назвал и свою статью: «Инопланетец». И на всякий случай поставил вопросительный знак.

Был ли он искренне убежден в своей правоте, не знаю, но он горячо убеждал читателей журнала, что на скамейке в Михайловском сквере перед памятником Пушкину побывал некто, чьи облик и ум были сформированы за пределами Земли, а может, даже и солнечной системы.

Разговаривая со мной, корреспондент держался немножко свысока и три раза подряд упрекнул меня в скрытности.

— Ты, — сказал он, почему-то переходя на «ты», — ты чего-то не договариваешь, Павлушин. А как он выглядел?

— Кто? — спросил я.

— Кто? Ну, этот самый, кто дал тебе книгу.

— Мне никто не давал. Я нашел ее в сквере перед...

— Знаю, — перебил он меня. — Слышал эту версию. С чего ему быть таким рассеянным? Куришь? Обожди, не волнуйся. Спешить некуда. Слово он с тебя взял, что ли? Но ты пойми, Павлушин, я не следователь, а журналист. Имя можешь не называть, а только опиши наружность хотя бы в общих чертах.

Я усмехнулся.

— Видите ли, у него нет наружности.

— То есть как нет наружности?

— Нет — и все. А почему ему нужно иметь внешность? Он же не человек!

— Ну, ладно, — догадался корреспондент. — Не хочешь раскрыть тайну. До завтра! Я еще забегу. А ты обдумай хорошенько: имеешь ли ты право скрывать от общест-венности правду о таком событии? Ну, пока!

Он забегал ко мне по несколько раз в день в течение недели и все уговаривал описать наружность инопланетца, якобы презентовавшего мне книгу. Именно наружность, черты лица. Что касается других подробностей, он готов был ждать целый месяц, пока не пробудится во мне совесть и я не перестану разыгрывать из себя сфинкса, а если сказать по-русски, просто свинью.

Подробностей он так и не дождался и, разумеется, поспешил опубликовать статью. Я его не упрекаю за это. Не мог же он ждать, пока лингвисты переведут книгу с загадочного языка?

Забегая намного вперед, я должен огорчить читателя: лингвистам и этнологам не удалось расшифровать текст найденной мною в Михайловском сквере книги. За них это сделала кибернетическая машина, созданная коллективом сотрудников специальной лаборатории Академии наук.

Удовлетворив любопытство читающих мои записки, я должен вернуться к дням, предшествующим расшифровке и оказавшим столь значительное влияние на мою судьбу. Из-за этой находки я оказался в центре жизни не только Ленинграда, но и всей планеты. Телефонные звонки, телеграммы, приглашения из научных обществ и дворцов культуры. Я долго не мог привыкнуть к этому шуму. Зазнался ли я? Если и зазнался, то только самую малость. Наоборот, и дома и на работе я старался держаться как можно скромнее. Я работал в геологическом учреждении и каждую весну обычно уезжал с партией на Север, а возвращался поздно осенью. Но в эту весну я совсем забыл, что мне нужно уезжать. При той ситуации, которая так неожиданно возникла, я не мог отлучиться из дому на долгий срок. Я был нужен всем. На днях ко мне звонил сам президент Академии наук. Но в учреждении все смотрели на меня, как на ловчака и делягу. Евдокимов, старший научный сотрудник, сделав вид, что не видит меня, сказал при мне в буфете:

— На Север ездил и ничего не нашел, кроме пустяков, а тут на обычном, заплеванном бульварчике сделал крупное научное открытие.

Последние слова этой ядовитой фразы он подчеркнул голосом.

Я и сам, несмотря на свою молодость и неопытность, чувствовал двусмысленность своего положения. Кем я был? Обычным парнем, заурядным геологом, всего три года назад окончившим Горный институт. А кем я оказался? Связующим звеном между двумя мирами, между Землей и той планетой, представитель которой через посредство моих рук передал странную книгу человечеству. Правда, пока специалисты еще не перевели книгу и не

расшифровали ее загадочный текст, это оставалось гипотезой, выдвинутой журналистом, сотрудником журнала «Кибернетика и будущее». Но с каждым днем эта гипотеза находила все больше и больше сторонников. Я даже сам стал подумывать о том, что в сквере побывало существо из другого мира — «инопланетец», как его назвал корреспондент, да, инопланетец (мне понравилось это словечко), оставив вещественные следы своего пребывания в этом месте. Нельзя сказать, что я без всяких усилий заставил себя поверить в эту смелую концепцию. Этой вере сопротивлялось во мне все: чувство реальности и юмора, привычки, любовь к обыденному и врожденное недоверие к чуду. А что же это было, если не почти чудо? В сквере среди нянь и детей, играющих возле памятника Пушкину, появилось необычное существо, однако же оставшееся незамеченным.

С какой целью появилось оно? И почему именно в этом сквере, а не в другой точке земного шара?

Все эти вопросы остались без ответа. И кибернетическая машина Академии наук, расшифровавшая текст загадочной книги, позволила нам заглянуть в далекое будущее, но ничего не сказала нам о настоящем, о том, как эта книга попала в сквер, расположенный между Михайловским театром, Филармонией и Пассажем, в одном из самых многолюдных мест обыденного Ленинграда. И если можно допустить, исходя из модной теории вероятности, что там побывал инопланетец, то невозможно поверить в то, что там очутился человек из будущего, нарушив самый незыблемый закон природы, закон необратимого хода времени. Как ни странно, а о том, что текст наконец расшифрован, я узнал позже других. В эти дни я как раз был в Енисейской тайге с геологической партией, и наша рация, как нарочно, безмолвствовала (попался нерадивый и малоопытный радист). Напросился в экспедицию я сам и попал в тайгу вопреки желанию своего начальства, считавшего, что мне следует пребывать в Ленинграде, коли уж я стал таким знаменитым. Я настоял — и меня отправили. Было ли это бегством? В какой-то мере да. Я бежал от бесчисленных телефонных звонков, телеграмм, писем, корреспондентов, пенсионеров, интересующихся наукой, от чересчур любознательных школьников, а главное — от самого себя, от того двусмысленного положения, в котором я очутился.

Помню, как я сел в поезд на Московском вокзале и вагоны вдруг тронулись, унося меня из мира шумной и случайной славы в бесконечные и тихие леса Восточной Сибири. Я забрался на верхнюю полку, блаженно закрыл глаза и удовлетворенно подумал, что ни через час и ни через сутки меня не вызовут к телефону, не разбудят ночью, чтобы расписаться в получении телеграммы, не будут требовать ответа корреспонденты и писатели. Я взглянул в окно. За окном было небо, полное звезд, спокойных и недокучливых звезд, звезд, которым не было до меня никакого дела.

Еще меньше, чем звездам, было дело до меня Енисейской тайге. В длинных переходах с ночевками у костра я, казалось, забыл о таинственной книге, найденной мною в Михайловском сквере. Но книга не забыла обо мне, и так же неожиданно, как она очутилась возле скамейки сквера, она снова напомнила о себе.

Я уже говорил о том, что у нас испортилась рация. Радист Валька Дадонов пытался починить ее и связать нас с миром. Он был дальноточек, как все искатели приключений, и увидел эвенка Учигира, гнавшего оленей, раньше нас.

— Какие новости? — крикнули мы, когда подошел Учигир.

— Больших новостей нету, — лениво ответил эвенк.

— А маленькие?

— Маленькие найдутся. Книгу расшифровала машина, ту книгу, что долго молчала. Вчера с вечера передавали по радио... И сегодня обещали передавать.

Я бросился к Вальке Дадонову, чтобы помочь ему наладить рацию. Мои пальцы дрожали от нетерпения, и не столько наша ловкость и умение помогли, сколько простая удача — рация вдруг заговорила. Рация ли? Не рация и не диктор, а голос из неизвестного мира, так странно и нелогично замурованного в текст незнакомого языка.

— Я, — говорил голос, — жил в мире, где время породнилось с самыми заветными мыслями, время большое и маленькое, столетия и мгновения, годы и часы, нетерпеливо звавшие нас в неведомое.

Он был довольно точным отражением великого игрока, который жил на Дильнее двести лет тому назад. Он во-брал в себя не только его логические способности, но и насмешливый характер.

— Мне надоело,— сказал он.

А затем повторил те же слова.

— Мне надоело. Мне надоело играть целый год с таким слабым игроком. Так может облениться ум, а способности притупятся.

Туаф обиженно поднялся с места. «Впрочем, можно ли обижаться на вещи? — спросил он себя. — Искусственный-гроссмейстер! Вещь! Предмет! Но как я ненавижу эту наглую вещь! Этот предмет».

Он мог разобрать эту вещь на части, сломать ее, как ломает ребенок надоевшую ему игрушку. Но это было бы глупо. А не глупее ли другое: что дильнеец, давно погрузившийся в небытие, игрок, которого давно уже нет на свете, из своего небытия смеется над ним, Тауфом, доказывая, что логика и мастерство бессмертны.

Туаф сделал несколько шагов. Когда-то — год назад — он был рад тому, что мог шагать, чувствуя под ногами опору. Теперь ему этого было мало. Да, слишком мала была Уэра, островок, отрезанный ото всего и всех.

Туафу снились женщины, их лица, их ноги и их руки. Сегодня ночью он почувствовал легкие прикосновения женских рук. Это было ни с чем не сравнимо. С ним рядом сидела женщина. Затем он проснулся и понял, что женские руки он видел во сне. Он долго лежал, стараясь припомнить сон. Потом он снова уснул. Его разбудил тихий женский смех. Смех был рядом за перегородкой, и мелодичный женский голос. До него, до Туафа донеслись странные, невозможные здесь, на Уэре, слова:

— Я тебя люблю...

Затем все стихло. Туаф, замерев от напряженного внимания, слышал, как стучало его собственное сердце. Совершенно ясно. Веяд был не один. С ним пребывала женщина. Но как попала она сюда на Уэру, преодолев бездонное пространство и время? По-видимому, Веяд прятал ее. Но где? Где он мог ее спрятать? Да и как она могла очутиться здесь?

Туаф так и не уснул. Он все ждал, все прислушивался. Сердце билось возле самого горла. Но женский смех не повторялся. Женщина исчезла, испарилась. Ее больше не было здесь.

Утром Туаф, встретившись с Веядом, не подал и вида, что он слышал ночью женский смех и слова. Но сейчас... После того как наглая вещь обыграла его в сотый, в тысячный раз и высказала свое презрение, у него не было больше сил молчать. Ему надоело одиночество...

— Послушайте, Веяд, — остановил он своего спутника.

— Слушаю, — сказал насмешливо Веяд.

— Познакомьте меня с ней.

— С кем?

— С той, с которой вы разговаривали сегодня ночью. Где вы прячете ее? Я хочу знать.

— Вот как! А может, она не захочет с вами знакомиться?

— Почему? Она меня не знает. Я требую!

— Пустые слова! И, кроме того, ее здесь нет.

— А где она?

— На Дильнее.

— Но с Дильнеей нет связи. А я слышал ее смех.

— Это не ее смех.

— А чей?

— Чей? Не знаю. Философская загадка, гносеологическая проблема...

— Лжете! Проблема не может смеяться и говорить на живом дильнейском языке. Не с проблемой же вы объяснялись в любви!

— А вы подслушивали?

— Я не подслушивал. Я услышал нечаянно.

— Если нечаянно, то вам могло и показаться. Может, вы слышали женский смех во сне?

— Во сне так не смеются. Познакомьте меня с ней, Веяд. Я вас прошу. Мне надоело одиночество. Клянусь, я не буду отбивать ее у вас. Мне просто хочется перекинуться словом с кем-нибудь, кроме вас и этого обнаглевшего автомата, этого искусственного гротескмейстера, чье искусство выводит меня из себя. Познакомьте меня с ней!

— С проблемой?

— У этой проблемы, вероятно, теплые круглые руки и насмешливые живые глаза?

— Вы ошибаетесь.

- Но у нее есть имя?
- Имя есть, но имя это еще не все.
- Как ее зовут?
- Эроя.
- Она здесь? Где-то тут? Поблизости?
- Вот это-то как раз и загадка. Здесь ли она или там? Ее бытие, если это можно назвать бытием, в какой-то степени снимает противоречие между «здесь» и «там». Она здесь и не здесь. Она там и не там.
- Бросьте играть пустыми словами. Тоже мне диалектик! Небось обнимались не с фигуральным выражением, а с живой фигурой. Софист!
- Я не обнимался. И, кроме того, у нее нет фигуры. Она комок бесформенного вещества.
- Так и поверю вам!
- Клянусь, что она мала и бесформенна!
- Значит, все-таки она существует, она здесь!
- Здесь только отражение ее.
- Не может быть. Смех был слишком реален. И слова... Отражение не может отвечать на вопросы. А в прошлый раз... Ведь я давно догадываюсь, что вы кого-то прячете.
- Я прячу мечту.
- Мечту? Но с мечтой не разговаривают ночью. Я слышал голос. Веял, я настаиваю. Я хочу знать. Покажите мне ее.
- Как-нибудь в другой раз, — уклончиво ответил Веял.
- Я требую!
- Требую? Забудьте это слово. Живя на Уэре, нельзя чего-нибудь требовать. Здесь можно только ждать. Вот и ждите...

Логик Арид

Эрон-младший познакомил Эрою со своим помощником, логиком Аридом.

— Это Арид, — сказал он. — Мой друг Арид. Посмотри, Эроя, на него. Этот ученый обогнал нас на полстолетия или даже на целый век. Он живет в другом тысячелетии. Как это ему удалось? Спроси его. Но он едва ли выдаст свой секрет.

— Бросьте, Эрон. Вы хотите бросить тень на мою реальность.

— Если бы я сомневался в вашей реальности, я бы не поручил вам проектировать логику искусственного мозга небывалой мощности.

Эроя с любопытством взглянула на Арида. Нет, он был слишком реален для дильнейца, избравшего своей специальностью изучение логики. Плотный, по-видимому, склонный к полноте, он был больше похож на актера-комика, чем на философа. Наивное, чутьчку плутоватое лицо взрослого ребенка. И смеялся он совсем по-детски, весь преображаясь и погружаясь в то удивительное состояние, истинный смысл которого до сих пор не удалось открыть. Что рождает смех? В чем сущность смешного? Об этом гадали мыслители еще на заре цивилизации. Но вот дильнейцы раскрыли происхождение жизни, а до сих пор не знают, что такое сущность смеха. Правда, это никому не мешает смеяться.

— Чему вы так весело смеетесь? — спросила Эроя логика, когда ушел брат.

— Чему? Хотя бы тому, что сказал ваш уважаемый брат. Он верит в то, что действительно можно выпрыгнуть из своего времени и свить интеллектуальное гнездо в другом тысячелетии. Но птицы не выют гнезда в вакууме, в абсолютной пустоте. Им нужна верхушка дерева, ветка или, по крайней мере, карниз дома. Моей мысли не на что опереться. А ваш брат не хочет ни с чем считаться. Ему нужен мозг, искусственный мозг небывалой мощности. Но в чем суть мощи, только ли в силе логических способностей? Как вы это себе представляете, Эроя?

— Специалисты по изучению логики обычно лишены чувства юмора. Они слишком серьезны. Вы, Арид, по-видимому, представляете исключение.

— Благодарю за комплимент. Но вы не ответили на мой вопрос: в чем вы видите главную силу мозга? Только ли в логике?

— В умении видеть смешное и смеяться, — сказала Эроя скорее шутя, чем всерьез.

— Вы даже не представляете, как вы близки к правде. Мне думается, Эроя, без смешного не существует и истинно серьезного. Вы историк. Изучаете прошлое. А известно ли вам, когда дильнеец научился смеяться?

— Фольклор полон юмора. Он единственное свиде-

тельство того, как мыслил древний дильнеец, если не считать пещерной живописи.

— Да, — сказал задумчиво логик Арид, — у историка преимущество перед ученым моей специальности. Вы можете судить о прошлом на основании точных фактов. Будущее же, в отличие от прошлого, не спешит нам сообщить о себе. Мы не знаем, каким будет видение мира через много столетий. Я как-то сказал вашему уважаемому брату: первое, что совершит искусственный мозг, — он расхохочется от души. Ведь ему многое покажется смешным и устаревшим, ему, понявшему суть вещей, отделенных от нас завесой будущего.

— Чтобы весело смеяться, нужно иметь душу, чувства, а ваш искусственный мозг будет бездушен, как всякая машина.

— Кто вам это сказал?

— Никто не говорил. Я его таким представляю.

— Я научу его смеяться. Но не станем гадать. У меня к вам просьба, Эроя. Не могли бы вы познакомить меня со своим знаменитым отцом? Мне хотелось бы побывать в его лабораториях, посмотреть на результаты его последних работ.

— Отец всегда рад тем, кто интересуется экспериментальной энтомологией. Если хотите отправиться к нему, не откладывайте на завтра. Сегодня я обещала быть у него.

Сверхорганизм

— Ну, как ваше самочувствие? — спросил Эрон-старший своего гостя, когда тот вышел из энтомологического аппарата новой конструкции.

— Чудесно провел время, — ответил, улыбаясь, Арид. — Но что скажет жена, когда узнает, что ее муж превратился в муравья?

— Вы уже не муравей. Вы логик Арид, представитель вида дильнеец-разумный.

— Вы твердо в этом уверены? А я нет. Во мне что-то еще осталось муравьиное. Во всяком случае, к событиям моей жизни прибавился еще один не совсем обычный факт. Дома на письменном столе у меня лежит вопрос-

ник, оставленный журналистом, сотрудником видеомузикальной станции. Вечером мне придется отвечать на вопросы его анкеты, перечислять наиболее значительные события своей биографии. Кем я был по окончании факультета математической логики? Чем занимаюсь сейчас? Представляю, как удивится журналист, когда узнает, что в числе всего прочего я успел побывать муравьем, настоящим муравьем, видящим мир, как видят его крошечные собратья. В течение часа я принимал эту комнату чуть ли не за Вселенную. Пропорции изменились. Вот этот стол я принял за равнину. Беспокойство овладело мною. Я чувствовал себя затерянным среди огромных незнакомых предметов. У обыкновенного муравья все же есть кое-какой опыт. Я оказался муравьем без опыта. «Где я?» — спрашивал я себя. Но самое странное случилось со временем. Мгновения непостижимо растянулись. Я смотрел на время словно через увеличительное стекло.

— Ну, а ваша логика? — спросила Эроя.

— Она превратилась в муравьиную логику. Мне хотелось скорее в муравейник. Пространство пугало меня... Но довольно об этом. Все уже позади...

— У вас это позади, — сказал Эрон-старший, — у меня и позади и впереди. Я столько раз пользовался своими аппаратами, чтобы познать иное время и иное пространство, что иногда мне кажется, что я живу одновременно в разных мирах. Хотите попасть в пчелиный улей, дорогой Арид?

— Хочу. Очень хочу. Но, пожалуй, не сегодня. Превратиться в пчелу — это превратиться из целого в часть. Ведь пчелиный рой — это сверхорганизм. Не правда ли?

— Да, это сейчас ни у кого уже не вызывает сомнения. Пчела как индивид не в состоянии жить без других пчел. Она часть не только пчелиного общества, но и пчелиного организма. Для логики это, пожалуй, загадка. Отдельность пчелы как организма, в сущности, фикция. Она связана с пчелиным ульем. Как орган, ну, как ваши рука или нога. Нога или рука часть вашего организма, не правда ли?

— Но моя рука или нога не ходит отдельно от меня и не выдает себя за логика Арида, они с самого начала примирились с тем, что они часть того целого, которое принято называть Аридом.

— А почему вы думаете, что пчела протестует против того, что она часть сверхорганизма?

— Я этого не думаю. Я не настолько дильнеецентричен, чтобы наделять пчелу своей собственной психологией. Действительно, это пример парадоксального единства части и целого. Парадоксальность в том, что часть имеет форму целого, отдельного организма. Явление обманывает. Сущность отдельной пчелы — быть органом, частью сверхорганизма, то есть пчелиного роя. У низших организмов это не редкость, какие-нибудь губки заставляют гадать о различиях части и целого. Но пчелы стоят наверху эволюционной лестницы. Это сложно устроенные живые существа. И поэтому ум профана, а в энтомологии я профан, теряется перед причудливостью этого факта.

— Не поверю, чтобы растерялся ваш ум, Арид, — сказала Эроя. — Но что вас привело в лабораторию моего отца? Не думаю, что только бескорыстный интерес к энтомологии.

— Ну вот, видите. Я так и знал. Вы не верите в мое бескорыстие. Мир насекомых меня интересует как мир существ, чье познание эволюция загнала в тупик... Муравей и пчела заранее знают все, что им нужно знать, чтобы жить в том мире, который открывают им их чувства. Им не дано перейти черту, которую провела сама природа. Дильнеец, делая первый шаг, уже выходит за черту. Он учится. Его детство и юность занимают половину его жизни. И становясь стариком, он все еще продолжает учиться. Но что такое ум гения? Для логика это загадка. Гений умеет учиться, как никто. Его умственный аппарат — это Вселенная в миниатюре. Гений — это тоже сверхорганизм, но не в физическом смысле, а в интеллектуальном. Он сверхорганизм не в пространстве, а во времени. Представьте себе рой пчел. Пчелы разлетелись в разные стороны собирать нектар для меда. Но все равно, каждая из них часть одного целого. Частности гениального ума собирают нектар во времени, одни из них — в прошлом с его опытом, уходящим корнями в далекие поколения, другие — в будущем, которое они стараются предугадать. Корни гения одновременно позади и впереди. У гения есть нечто общее с пчелиным роем...

— Я не совсем понимаю вашу мысль, хотя кое-что уга-

дываю, — сказала Эроя. — Каждый ум — создание истории, общества. Но пытаюсь создать искусственного логика, вы отрицаете историзм. Машина лишена истории, она всегда только здесь, за ее бездушной спиной нет времени, нет истории, нет прошлого. А раз нет прошлого, то нет и будущего. Ее настоящее освобождено от всякого процесса.

— Мы создадим машину, у которой будет биография. Мы придадим ей чужую биографию. У нее будет не только настоящее, но и прошлое. А значит — и будущее. Мы создадим машину, которая будет вспоминать свое детство. Дедушку и бабушку. И первое свидание с девушкой. И объяснение в любви. Мы создадим гениальную машину. И научим ее не только хорошо думать, но и смеяться. А может, даже и плакать.

Павлушин возвращается из экспедиции

Лето было позади. И тайга тоже там осталась. Я лежал на средней полке и смотрел в окно вагона. Внизу сидел какой-то гражданин. Сытенький. Бритенький. Лысенький. Подозреваю, что облысел, сидя в партере Малого оперного театра.

Смотрел косо. Косился не столько на меня, сколько на мою поношенную робу. Личность, ничего не скажешь! Бросит фразу, а потом молчит. Разговаривал, разумеется, не со мной, а со стариком-профессором, ехавшим из Томска.

Помолчит. А потом опять фразу бросит. Изображал из себя божество. Но каждое слово умел как-то произносить по-своему, с оттенком. И голосом играл.

— Товарищ, — сказал он мне, — вы спиной закрываете пейзаж.

Я в это время с полки слез. Не все же валяться на полке. И постоять тоже хочется.

Пейзаж? Насмотрелся я за сезон всяких пейзажей. Однажды медведь в лабаз забрался и пытался разграбить. Пейзаж! Видно, любитель природы, но из тех, что любят ее из окна.

Лысый очень важничал и в разговоре намеками давал понять, что имеет отношение к самым высшим артисти-

ческим и литературным сферам. Плевал я на его сферы! Если уж говорить о сферах, то мои сферы были выше его сфер. С тех пор как опубликовали найденную мною книгу, меня знал весь мир. А эта личность воротила от меня свою чисто выбритую физиономию, не подозревая, что в грязной робе едет далеко не самый последний человек на нашей немолодой, но красивой планете.

Раз как-то просыпаюсь вечером и прислушиваюсь. Разговор идет о той книге. Профессор говорит:

— Интересная книга, если, конечно, не трюк, не фальшивка, подброшенная каким-нибудь авантюристом.

А лысый усмехается:

— Вполне возможно. Не верю, чтобы с другой планеты кто-то доставил ее в сквер. Так себе скверик. Знакомое место. Я напротив живу. Возле Филармонии.

— Вот как? — удивился профессор. — Чего же это вам так не повезло? Могли и вы подобрать эту знаменитую книгу, исходя из теории вероятности.

— Стал бы я подбирать! А если бы уж подобрал, сдал бы в стол находок без всякого шума. Не люблю шумихи.

— Да, шум вокруг этого издания создан неимоверный. С трудом достал экземпляр. В библиотеке очередище. Прочел. Потом еще раз прочел, уже в роман-газете. Конечно, не безынтересно. Но натяжек много. Много сомнительных страниц. И на Землю уж очень похожа эта планетка. А тот, кто нашел эту книгу, в какой-то экспедиции. По-видимому, еще что-то ищет. Непонятная история.

Лысый зевнул. Потом сказал:

— Знаете, я в жизнь на других планетах верю не больше, чем в загробный мир. Хватит нам и того спектакля, что показывает нам Земля. Мне этот фестиваль не нужен. И когда мне говорят, что есть еще полтора миллиарда населенных планет вроде Земли, мне кажется, что я слушаю сказку про белого бычка. А вы как полагаете?

— Мне так думать нельзя, я математик. Привык иметь дело с большими числами. Планет, действительно, многовато. Тут уж ничего не поделаешь. От нас это не зависит. Хочешь или не хочешь, а приходится мириться с загадками природы.

Я слушал молча. Мне доставляло истинное удовольствие не участвовать в споре и думать про себя: «А я имею некоторое отношение к этим загадкам и тайнам природы. Чуточное, но все-таки имею».

Потом от всех этих мыслей мне стало как-то не по себе. «Заносишься ты, Павлушин! Принимаешь себя чуть ли не за Ньютона или Кеплера. А какой ты к черту Кеплер! Подобрал в сквере какую-то книжонку».

Я цыкнул на себя: «Лежи и помалкивай! На свете самая ценная вещь — скромность. Пусть ломается эта личность, задается своим знакомством с крупными режиссерами и писателями. Молчи, ради бога, молчи! И делай вид, что тебя это не касается».

Но молчать просто нет сил, когда эта личность смотрит на тебя с таким видом, словно тебя тут нет. И ты сам начинаешь сомневаться, тут ли ты.

Личность говорит:

— Запах какой-то в купе неприятный. Протухшей рыбой воняет. Не переносу! — И косится в мою сторону.

Профессор принохивается, потом говорит:

— Нег, ничего. Пока терпимо. Можно, конечно, проветрить купе.

Он обращается ко мне:

— Вы как, молодой человек, возражать против свежего воздуха не будете?

Я молчу. Это от моей робы пахнет рыбой. Не тухлой, конечно, но все-таки рыбой. Сам-то я не замечаю этого запаха. Привык.

Проветрили. Потом профессор меня спрашивает:

— Вы все молчите, молодой человек. Отчего бы это? Не принимаете участия в общей беседе. Какого вы мнения вот хотя бы об этом произведении? — И показывает мне роман-газету, где опубликован текст найденной мною книги.

Я говорю:

— Не читал. В тайге был... По радио текст слышал. Интересный научно-фантастический роман.

— Это не роман, молодой человек. Это документ, истинное происшествие. Перевод делала кибернетическая машина Академии наук. Я беседовал с одним из участников работы по переводу. Язык не похож ни на один из человеческих языков нашей планеты.

Лысый перебивает:

— Я слышал, на полинезийские языки похож.

— Чепуха! — возражает профессор. — Я точно знаю.

— Он точно знает! — Я не выдержал и начал смеяться.

Смеюсь. Они недоуменно смотрят на меня. А я смеюсь.

— Над чем вы смеетесь, молодой человек?

— Над собой смеюсь. Впрочем, это не важно.

— А почему?

— Да потому, что я и есть тот, который нашел в сквере эту самую книжонку.

— Вы?

— Я.

— Не может этого быть!

Туаф знакомится с Эроей

И Веяд познакомил Туафа с Эроей, наконец-то познакомил. Уступил ли он настойчивой дерзости своего спутника? Нет. Это была не уступка, а нечто противоположное ей. Пусть этот декоратор и косметик убедится, что эта Эроя не настоящая Эроя, а только искусное отражение той, что осталась в другой части галактики. Может, Веяд это сделал, чтобы взглянуть на то, что называло себя Эроей, чужими глазами, увидеть со стороны, узнать что-то новое об этом странном существе.

Веяд следил за выражением лица Туафа, когда декоратор увидел бесформенный комочек вещества.

— Это не она, — сказал Туаф.

— А кто же?

— Не знаю, кто. Но знаю — другое. Вы говорили с настоящей женщиной, а не с этим жалким кусочком вещества. Не оно же вам сказало: «Я вас люблю»!

— Не она? Но тогда кто? Кто мне это сказал? Может быть, мне сказала это настоящая Эроя с другого конца света?

Туаф не ответил. С недоверчивым выражением лица он разглядывал этот шарик, в котором было спрятано нечто безграничное.

— С кем же я разговаривал? — повторил свой вопрос Веяд.

— Меня интересует, кто с вами разговаривал, а не с кем вы.

— Я разговаривал вот с ней.

— А почему же она сейчас молчит?

— Потому что нужно нажать кнопку. Сейчас я ее нажму.

И Веяд действительно нажал кнопку.

Э р о я. Зачем ты разбудил меня, Веяд?

Веяд. Я хочу познакомить тебя вот с этим дильнейцем. Его зовут Туаф. Я, кажется, тебе рассказывал о нем?

Э р о я. Где? Здесь или еще на Дильнее?

Веяд (*изумленно*). На Дильнее?

Э р о я. Почему это тебя так удивляет?

Веяд. Потому что на Дильнее я разговаривал не с тобой.

Э р о я. А с кем?

Веяд. Стой, чью память и ум ты отражаешь.

Э р о я (*обиженно*). Я не зеркало. (*Обращаясь к Туафу, чуточку игриво*). Ваш спутник не отличается вежливостью.

Туаф. Мне нравится ваш голос. Говорите, умоляю вас, говорите! Все мое существо превратилось в слух. Женский голос, мелодичный, полный таинственной музыки. Говорите. Что же вы замолчали?

Э р о я (*кокетливо*). Ну, как ваши успехи в игре? Кто же кого победил — вы гроссмейстера или гроссмейстер вас?

Туаф. Гроссмейстер подставное лицо. За него играл логик, живший в конце позапрошлого века.

Э р о я. Он разве не умер?

Туаф. Умер, но тем не менее продолжает посмеиваться над своими партнерами. Его искусство было запрограммировано и вложено в этого искусственного гроссмейстера.

Э р о я. Не может быть!

Веяд. Почему не может? Тебя это меньше, чем других, должно удивлять.

Э р о я. Ты хочешь сказать, что мне это знакомо по собственному опыту?

Веяд (*с грустью*). Не знаю. Ничего не знаю. И ничего не хочу знать.

Туаф (*к Эрое*). Мне нравится ваш голос. Я готов слушать вас весь день. Ваш голос полон жизни. Он здесь, ваш голос, со мной.

Э р о я (с интересом). А что такое «здесь»? Я не понимаю смысла этого слова.

Т у а ф. Хотите, я вам сейчас объясню?

Э р о я (с интересом). Веял объяснял много-много раз, но не смог объяснить. Может, вам это удастся?

Т у а ф. Постараюсь. Здесь — это значит нигде в другом месте. Только здесь, рядом. Здесь — это значит, вы вся здесь, ваш голос и ваши желания, ваша мысль и ваше сердце, чье биение можно услышать, если приложить ухо к вашей груди. Здесь — это значит чувствовать ваше дыхание... Здесь... Нигде... Только здесь.

Э р о я. Пока я еще не поняла. Но продолжайте. Мне нравится ваше волнение. Оно передается мне. Мне хочется понять смысл слова «здесь». Никогда еще мне так этого не хотелось. Но думаю, что одной логики недостаточно, нужно чувство. Продолжайте. Мне нравится, как вы говорите.

Т у а ф. Здесь — это когда можно дотронуться, увидеть, убедиться, когда между мною и другим нет пространства с его космическим холодом.

Э р о я. Продолжайте. Почему вы замолчали?

Т у а ф. Я посмотрел на вас. И теперь я не уверен. Я, кажется, сам не знаю, что такое «здесь».

Арид и Эроя

Логику Ариду нравилась Эроя. Но он скрывал это от нее. Ведь она не знала, когда возвратится муж, все-таки ждала его, хотя на возвращение пока не было никаких надежд.

Они часто встречались — Арид и Эроя, может быть, даже чаще, чем следовало. Но Арид нуждался в собеседнике. А никто не умел так скромно и самозабвенно слушать, как она. Она буквально превращалась в слух, впитывая каждую идею логика. Ведь он пытался создать искусственного гения, ум, способный пренебречь узкой специализацией, отчуждавшей дильнейцев друг от друга.

В разговоре они часто возвращались к этой теме.

— Гений! — как-то сказала Ариду Эроя. — Но ведь гении бывают разные. Вы, насколько я понимаю, хотите создать необыкновенно емкий ум, чья логика могла бы

разрешать проблемы, считавшиеся неразрешимыми. Не так ли?

— Да, ответил Арид. — Ум нового типа. Совершенно нового, какого не было раньше.

— Вы панлогист, Арид. Вы хотите оторвать логику от дильнейских чувств, от фантазии.

— Да, я противник дильнеецентризма. Искусственный ум должен взглянуть на все, в том числе и на нас с вами, со стороны. Он должен быть лишен всякого субъективного начала.

— Но вы же говорили недавно, что он будет уметь смеяться и плакать. Разве можно смеяться и плакать, не будучи личностью?

Логик Арид рассмеялся.

— Личностью? — повторил он. — Я знаю существо, для которого личность — это нечто весьма относительное. Хотите, я расскажу вам о нем? Это была первая моя попытка создать искусственный ум, наделенный особой, не во всем похожей на дильнейскую, логикой. Я долго размышлял и еще дольше работал вместе с друзьями, сотрудниками моей лаборатории. Нам хотелось создать объективный ум, ум обыденный, лишенный той поэтической дымки или той красочной призмы, через которую смотрит на мир каждый дильнеец. И вот что случилось. Это создание обладает одним дефектом. Оно мысленно одушевляет мертвые предметы и, наоборот, все живое принимает за мертвое. «Уважаемый стул», — обращается оно к предмету, или: «Милая полка, не откажите мне в любезности выдать эту книгу».

— Этот ваш ум очень вежлив.

— С вещами — да. Но зато невежлив с одушевленными существами: со мной, с моими сотрудниками. Он держится при нас так, словно мы отсутствуем.

— Но почему?

— Это так и не удалось выяснить до конца. По-видимому, при его создании вкралась какая-то неточность. Но посмотрели бы вы, как он нежен с вещами! Слушая его, можно подумать, что мы чего-то не знаем о вещах, чего-то очень существенного, что знает он.

— Любопытно, — перебила логика Эроя. — Эта поэтизация, это одушевление мертвой природы напоминает мне о мышлении древнего дильнейца. Я много лет изучаю первобытное мышление, древние памятники, записи

фольклора. Для мышления древних характерно одушевление мертвого. Под взглядом древних каждая вещь оживала, становилась почти личностью. В ней дикарь умел раскрыть нечто неповторимое, индивидуальное... Может, и созданное вами искусственное существо владеет первобытной анимистической логикой и фантазией?

— Нет, категорично ответил Арид. — Ведь древний дильнеец, мысленно одушевляя мертвое, в то же время не омертвлял живое. Не так ли? Мне кажется иногда, что мой Вещист — мы его так называем — способен создавать контакт с вещами, потому что сам вещь. Его мышление слишком вещественно, предметно... Но эту свою гипотезу я пока не могу подтвердить конкретными фактами. Мой Вещист для меня все еще загадка. Его видение мира — это проблема. Он словно живет в другом измерении, где другие представления о времени и пространстве. Я слишком занят, чтобы изучать сейчас его видение мира или добираться до причин, которые заставляют его так странно видеть мир. Но когда-нибудь я этим займусь.

— Когда?

— Может быть, и скоро. Мне это нужно для того, чтобы создать всеобъемлющий ум... Видение мира? Что может быть интереснее! Старинные книги и фильмы рассказывают нам о том, как видел мир дильнеец в капиталистическую эпоху. Это было обыденное видение. Сейчас так видит дильнеец только натошак в хмурое утро, когда болит голова. Наше видение — поэтическое видение мира. Оно возникло несколько сот лет тому назад, когда дильнеец расстался со всеми пережитками прошлого, в том числе с пережитками индивидуализма, и эгоцентризма, когда он стал любить природу, жизнь и всех себе подобных... Мне удалось однажды смоделировать ум и чувства себялюбца, эгоцентриста, чтобы изучить эти реликтовые особенности. Если хотите, я познакомлю вас с этой моделью.

— Пока не испытываю желания знакомиться с ней. Помню, как мой отец демонстрировал таракана, извлеченного из тьмы веков. Это, поверьте, что-нибудь подобное. Эпоха капитализма была самая страшная эпоха в истории Дильнеи. Нет, меня интересуют более древние времена.

Впервые за долгое пребывание на Уэре Туаф вспомнил, что он косметик. Он превратил себя в юного бога, в обаятельного красавца. Он был мастером своего дела, ничего не скажешь. В зеркале отразилось его лицо — продолговатое лицо баловня судьбы. Бывшего баловня судьбы, но еще не потерявшего надежды.

— Да, красив, — сказал Туаф, — и молод тоже.

На какую-то долю секунды мелькнуло сомнение: может, это только кажется?

«Нет, — успокоил он себя, — все объясняется просто. Я еще не научился работать».

Он еще раз взглянул на свое отражение в зеркале и удовлетворенно усмехнулся. Мог ли сравниться с ним Веад, постаревший, осунувшийся и небритый?

Веад дулся на него. Вероятно, он что-то учуял. Он опасался, что Эроя, кокетливая Эроя, предпочтет молодого бога ему, усталому и такому обыкновенному.

Туаф отошел от зеркала. И в ту же минуту появился Веад с толстой книгой в руке.

— Ну, как по-твоему? — спросил Туаф, не скрывая самодовольства. — Красив?

— Красив.

— И только всего? Ты не хочешь ничего к этому добавить?

— Могу добавить: ты сам сделал самого себя. Впрочем, себя ли? На днях, если не изменяет мне память, ты выглядел не так. Тогда ты был самим собой, сейчас ты кое-кого изображаешь. Кого? Я еще не уяснил.

— Ничего. Уяснишь. Тебе помогут.

— Кто?

— Женщина.

— Какая женщина?

— Та самая, которую ты прячешь.

— А! Вот для чего ты превратил себя в красавца? Понимаю. Но изменив и изрядно приукрасив внешность, произвел ли ты хоть малейшее изменение в своей сущности?

— Для чего?

— Для того, чтобы понравиться ей, той, для которой ты так стараешься.

— Ей нет дела до моей сущности.

— Ты уверен в этом?

— Уверен.

— Напрасно. Она не так глупа, чтобы сквозь твою косметiku не увидеть подлинное лицо.

— Ты недооцениваешь мое искусство и противоречишь сам себе. Ты же признал сам, что я красив.

— Зачем тебе мое признание? Перед тобой зеркало.

— Но зеркало, дорогой, мертвая гладкая вещь. А я хочу отразиться в живом и подвижном сознании. В этом мире всего два живых сознания — твое и мое.

— А сознание Эрой? О нем ты забыл?

— Молчи! Я запрещаю тебе говорить о ней. Ты недостойн!

— А ты достоин?

— Спроси ее, кто из нас достоин.

— Посмотри, от гнева что-то случилось с твоей щекой и с кончиком носа. Ты уже не так красив, как был десять минут тому назад. По-видимому, тебе в эти минуты противопоказано нервничать.

— Да. Моя работа требует от дильнейца благоразумия и выдержки. Красота — это символ гармонии. Волноваться мне нельзя.

— А ты все-таки волнуешься. Смотри, стал шире рот и уже лоб. Еще полчаса, и ты из юного бога снова превратишься в того, кем был вчера.

— Не может быть.

— Взгляни в зеркало. Оно всего в двух шагах от тебя.

— В двух шагах? Здесь, на Уэре, всё в двух шагах от тебя, всё и все, и ты сам в двух шагах от себя. Тебе некуда от себя уйти. Ты каждый день должен видеть одно и то же. В таких условиях грешно не изменить себя, если это в твоих силах. Сегодня утром я взглянул в зеркало и не узнал себя. Вместо меня смотрел из зеркала кто-то другой. Это было настолько внезапно, что я подумал: на нашем острове появился кто-то третий. В двух шагах... Здесь все в двух шагах. И нам не вырваться отсюда. Мне тесно здесь, Веяд, мне не хватает масштабов. Я отдал бы полжизни, чтобы, проснувшись, увидеть вдаль горизонт. Но горизонта нет. И ничего нет, кроме маленького и искусственного островка, да нас с тобой и ее. Но существует ли она? Ты это знаешь лучше меня. Скажи правду. В мире, где все в двух шагах от тебя, не стоит врать.

— Не стоит врать? Вот я тебя и ловлю на слове. Если нельзя врать, зачем же ты изменил свою внешность, кого ты хочешь этим обмануть?

Поет птица

Затейник — солидный дильнеец с седыми усами сказочного волшебника — менял пейзаж. Нет, это было не хитроумное оптическое приспособление, специально созданное для обмана чувств. Передвигалось пространство и время. Домики переносились в другую местность быстро и незаметно для их обитателей, а затем снова возвращались. Затейник был слишком старателен и услужлив. Иногда хотелось задержаться в одной точке трехмерного пространства, а не менять ее на другую. И все же было приятно подойти к окну и увидеть рядом озеро, то озеро, которое вчера было далеко.

Эроя проснулась рано и подошла к окну. Она подняла занавеску и спросила себя: «Что же я увижу сегодня за окном?»

Она взглянула. За окном стоял олень. Он стоял как бы вынутый из пространства. За ним не было никакого фона. Он стоял, словно на облаке, отражаясь вместе с облаком в синей воде горного озера. Огромные детские влажные глаза оленя смотрели вдаль. Затем олень исчез и облако рассеялось. По-видимому, седоусый волшебник перенес домик Эрой на верхушку горы.

Эроя рассмеялась.

— Он забывчив, этот несносный старик, — сказала она. — Третьего дня он тоже проделал со мной эту же штуку. Он начал повторяться.

На днях, вместе с подругой Зарой, Эроя ходила по предписанию врача в отделение биохимической стимуляции. В обыкновенных условиях организм дильнейца химически обновляется за шестьдесят дней. Здесь, в этой камере, молекулы клеток, кроме тех, из которых состоят нуклеиновые кислоты, должны были обновиться за несколько часов.

Эроя и Зара вышли из отделения биохимической стимуляции обновленными и посвежевшими.

— Мы ли это, Зара, — спросила Эроя, — или не мы?

— Духовно — мы, — ответила, смеясь, Зара. — Но химически — не мы. Морфологически — мы, физически — не мы. Как же осуществляется единство между содержанием и формой?

— Спроси об этом врача.

Клетки биохимически обновились. Но было нечто важнее физического самочувствия — это духовное восприятие мира. Этим занималась сестра седоусого «волшебника», специалист в области изучения психического поля.

Эроя хотела отказаться от эксперимента, как это сделали многие отдыхающие, не пожелавшие освежать свое видение мира, но после непродолжительного раздумья решила: «Попробую! Чему быть, того не миновать!»

И она рискнула.

Дверь камеры открылась, и Эроя села в кресло. Вдруг что-то случилось с миром. Планета шатнулась и как бы сдвинулась с места. Уж не превратилась ли снова Эроя в пчелу, как это случилось однажды в детстве?

Она слышала музыку, тихую музыку, которая перешла в шепот. Шепот сменился свистом утренней птицы. Этот свист, это мерцание звуков, этот птичий голос как бы сорвал занавес с бытия. У ног Эрой гремел ручей. И низко-низко над самым холмом висела радуга. С нее падали крупные капли дождя. Эроя кружилась вокруг цветка. Запах хмелил сознание. В нем был целый мир, как в мерцающих звуках птичьего пения. Пространство качалось возле самых глаз — синие, желтые, фиолетовые полосы.

И снова запела птица. Она щелкала, свистела, переливалась то весельем, то тоской, она превращала в звуки весь мир.

— Ну, как вы чувствуете себя, дорогая? — спросил Эрою женский голос.

— Хорошо.

— На этот раз довольно.

Эроя вышла из камеры на лесную поляну. Теперь у нее было другое зрение, другое обоняние, другой слух. Ей словно подменили все чувства. Она смотрела вокруг, словно видела все в первый раз. Ее все поражало, но больше всего удивляли ее самые простые вещи: деревья, лица, слова и их способность облекать в звуки предме-

ты и явления. Казалось, она появилась здесь, на Дильнее, с другой планеты.

В птичьей горле все еще шелкал и звенел свист. Птица пела в посвежевшем сознании Эрой.

— Ну что? Обновила свое психическое поле?

«Обновила... — подумала Эроя. — Какое это, в сущности, пошлое, ничего не говорящее слово!»

— Я стала другой, — сказала Эроя, — и в то же время осталась той же самой.

— Я понимаю, — сказала Зара. — Подвержена обновлению только та часть психического поля, которая не ведает памятью. Вот если бы обновление затронуло и память, тогда бы ты, выйдя из камеры, снова родилась. Ты бы стала другой личностью.

— Зачем же, Зара? Разве ты недовольна моим «я» и вместо меня хотела бы видеть в моей оболочке другую сущность?

— Нет, нет! Зачем мне терять подругу ради неизвестного существа? Я люблю тебя такой, какая ты есть. Но мы сейчас, кажется, живем с тобой в разных мирах. Я в мире обыденного, ты в сказочном мире обновленных и обостренных чувств.

Павлушин снова в Ленинграде

Не надоела ли мне слава? Позавчера спросил меня об этом один будущий кандидат наук. Я ему ответил:

— Малость поднадоела.

Он мне говорит:

— Ну, ну! Слава никогда не может надоесть. — И добавляет ядовито: — Конечно, заслуженная слава.

По его словам, значит, я виноват, что подобрал в сквере необыкновенную книгу. А он что бы сделал на моем месте? Оставил бы ее лежать на песке? Или спрятал бы на этажерке среди собрания сочинений Болеслава Пруса и никому не сказал ни слова об этой находке?

Вчера вечером мне звонят из средней школы. Детский голос.

— Кого вам? — спрашиваю я.

— Нам нужно фантаста Павлушина.

Я им отвечаю:

— Я Павлушин, но я не фантаст. Упаси меня бог!

— А разве не вы написали знаменитую книгу?

— Я! Я написал! — И вешаю трубку.

Снова звонок:

— С вами говорят из Дворца культуры. Не могли бы вы...

— Не мог бы! — и вешаю трубку.

Телефон звонит, надрывается, но я не подхожу.

У себя в научно-исследовательском институте я тоже делаю вид, что не имею отношения ко всей этой шумихе. Но это не помогает. В раздевалке тетя Клаша подает мне пальто, словно я министр. На лицах сотрудников выражение почтительного удивления. Захожу к новой машинистке, красивой девушке, перепечатать отчет. Она вся покрывается краской и ни с того, ни с сего спрашивает:

— А вы так и не встретили его?

— Кого не встретил?

— Ну, его. Я имею в виду существо с другой планеты.

— Нет, не встретил. Пока не довелось.

— А как ему удалось остаться незамеченным, если у него не такая наружность, как у нас?

— А откуда вам известно? Может, точно такая, как у нас с вами. Так когда перепечатаете?

Она взглянула на отчет, еще раз взглянула, потом говорит разочарованно:

— Обычный отчет.

— А вы думали что?

— Я думала, продолжение этой незаконченной книги.

— Так ведь не я же писал.

— Многие думают, что вы. Не один, конечно, а с кем-то. Вообще много разговоров вокруг вас. Я вчера одному знакомому сказала, что работаю вместе с вами в одном учреждении, так он, представьте, не поверил.

«Черт подери, — думаю я. — Красивая девица. Глаза живые, карие. И губки как нарисованные. А насчет ума, хоть бы где заняла!»

На другой день захожу.

— Ну как, — спрашиваю, — перепечатали?

Она мнется. А лицо ее опять покрывается краской.

— Вы очень скромный, — говорит вдруг она и подает мне перепечатанный отчет.

— А почему бы мне быть нескромным? — отвещаю

я. — Я даже не кандидат наук. Я просто младший сотрудник.

— Разве? А мне говорили, что вас выбрали действительным членом Датской академии наук и в Индии вам присудили премию за большие заслуги в развитии научно-популярной и фантастической литературы.

— Преувеличивают,— сказал я. И, взяв отчет, вышел.

Я бы не стал рассказывать о машинистке, если бы это был не характерный случай, хотя и мелкий. Человек смотрит на себя не только своими, но и чужими глазами, чаще чужими, чем своими. Стоило бы мне закрыть глаза и посмотреть на себя глазами этой машинистки, как я бы и в самом деле вообразил себя членом Датской академии наук. Но я-то ведь знаю себе цену, знаю, кто я такой. Разве человек может измениться от того, что он нагнулся и поднял кем-то потерянную книгу?

Детство Арида

Логик Арид, разумеется, не сразу стал логиком. И все же он рос необыкновенным ребенком. Когда ему исполнилось девять лет, он удивил мать и особенно отца. Отец сказал ему:

— Вчера ты совершил нехороший поступок. Ты сломал в саду маленькую яблоньку. И она погибла. И, кроме того, ты был невежлив с ботаником, ухаживающим за садом.

— Вчера? — спросил Арид отца. — А что же такое значит слово «вчера»?

Отец растерялся.

— В своем ли ты уме? Это знают двухлетние дети. Вчера — это вчера, а не сегодня. День, который канул в вечность и никогда не вернется.

— Я и знаю и не знаю. Вчера это то, что было. И все-таки я не понимаю, что такое «вчера». Могу ли я, папа, вернуться во вчерашний день?

— Нет, не можешь.

— А ты в этом уверен?

— Ты задаешь глупые вопросы. Может, ты шутишь?

— Нет, я не шучу, — сказал Арид. — Мне кажется, что я вернусь туда.

— Куда?

— Во вчерашний день, и исправлю свой дурной поступок. Я не трону яблоню и не скажу ничего ботанику.

— Это невозможно, Арид. Нельзя вернуться в прошлое и изменить совершенный тобою поступок.

В эту ночь отец и мать Арида спали тревожно и, просыпаясь, все время говорили о сыне. В своем ли он уме? Не показать ли его невропатологу?

Невропатолог, осмотрев Арида, сказал родителям:

— Великолепный, совершенно здоровый ребенок.

— А его непонимание того, что время течет и оно необратимо?

— Ну, что ж, у него такой склад характера. Он видит все вещи глубже, чем обычные дети, и, по-видимому, хочет проникнуть своим любознательным умом в сущность явления, которое нам не кажется загадочным только потому, что мы смотрим на мир сквозь призму традиций и привычных представлений.

Мать и отец успокоились, но ненадолго. Как-то, зайдя в детскую комнату, отец увидел сына, мастерившего из проволоки и досок какую-то причудливую вещь.

— Что ты мастеришь, Арид? — спросил отец.

— Машину.

— Для чего?

— Для того, чтобы она могла меня доставить в прошлое.

— В прошлое вернуться нельзя. Оно потому и называется прошлым, что оно прошло, его уже нет и оно никогда не вернется.

— А я не уверен в этом, папа.

Отец рассердился.

— Оставь свое упрямство, Арид. Ты же большой мальчик. Все дильнейцы, без исключения — дети и взрослые — знают, что время необратимо. Нельзя вернуться в прошлое наяву, это можно сделать только во сне.

Отец не был настолько чуток, чтобы проникнуть во внутренний мир своего сына. А это был сложный мир. Мысль Арида не хотела примириться с тем, к чему издавна привыкли все дильнейцы. Мальчик спрашивал себя: почему то, что случилось, не может случиться во второй раз? Почему промелькнувшее мгновение неповторимо? Его удивляло также, что все остальные дильнейцы принимали это как должное.

В школе Арид заставлял смущаться самых умных учителей. Все простое, привычное, обыденное казалось ему сложным и непонятным. Он рано стал интересоваться законами эволюции всего живого, биосферой Дильнеи.

Он спрашивал у своих учителей:

— Как и почему на Дильнее возникла жизнь?

Его не удовлетворяли ни те ответы, которые давали учителя, ни те, что были напечатаны в книгах. Он размышлял о том, были ли это отдельные молекулы или системы молекул, но они должны были быть хранителями и передатчиками не только энергии, но и времени. Они должны были повторить утраченное, чтобы сохранить единство вида и течения времени. Он жил среди вопросов, ища сам ответы на них. И все же самым загадочным для него было время. Как растения с помощью фотосинтеза перерабатывали и хранили солнечную энергию, так все живое хранило время в своей химической, физиологической и психической памяти. Процесс физического времени был необратим, но каждый дильнеец был хранителем своей внутренней биографии, всего того, что пережили и видели его предки. Машина, которую Арид пытался изобрести в детстве, была изобретена самой природой и хранилась в молекулах живых клеток.

Однажды в школе выступал дильнеец, попавший из прошлого в будущее. Он совершил длительное космическое путешествие на фотонном корабле со страшной скоростью, близкой к скорости света, и возвратился на Дильнею, не найдя в живых ни одного из своих современников. Для него, для этого все еще молодого человека, путешествие продолжалось всего пять лет, но на Дильнее время текло почти в сорок раз быстрее. Как же чувствовал себя этот представитель далекого прошлого, проскочивший через невыразимое, длившееся для всех, кроме него, двести лет?

Путешественник (у него было звучное имя Ларвеф) по своему внешнему виду ничем не отличался от других дильнейцев. Он отвечал на вопросы школьников и учителей. Это были вопросы обыденного порядка: занимается ли Ларвеф спортом, какие любит произведения искусства, собирается ли еще раз совершить длительное путешествие в космос. Он отвечал со снисходительной улыбкой, отвечал, наверное, в сотый или в тысячный раз.

Поднял руку Арид.

— У меня есть к вам вопрос, — сказал он тихо.

— Какой?

— Что такое время?

Ларвеф смутился. Это был неделикатный вопрос. Арид догадался по выражению лица учителей: у Ларвефа были слишком интимные отношения с временем (впрочем, и с пространством тоже), чтобы его можно было спрашивать в такой прямой форме.

— Вы хотите знать, — ответил Ларвеф, — что такое время? Но о времени надо спрашивать не меня. Ведь время поступило со мной довольно жестоко, оно отобрало от меня всех, кого я знал и любил, и заставило меня оторваться от самого себя. Впрочем, об этом я скажу позже. Вы спрашивали не обо мне, а о времени. Время, — разве вам этого не говорили? — всеобщая форма существования материи.

— Я это знаю, — улыбнулся Арид. — И это знают все. Но я хочу знать о вашей связи с временем. Ведь вы знаете о времени нечто такое, чего не знают другие.

— Ого, ты упрям и настойчив, — сказав Лервеф, переходя на «ты». — Я тоже упрям и настойчив. Чтобы продолжить разговор, интересный для нас с тобой и, возможно, неинтересный для других, заходи ко мне домой. Ты знаешь мой адрес?

Арид, казалось, удивился этому вопросу.

— Любой автомат-справочник мне его назовет.

С этого дня началась странная дружба школьника-подростка с дильнейцем, который мог вычестить из своего возраста без малого сто семьдесят лет, разницу, подаренную ему парадоксом относительности времени. Он, Лервеф, был баловнем физических сил, сил ускорения и замедления времени, он, чьи сверстники давно стали добычей небытия, неумолимой энтропии, чьим псевдонимом была смерть.

Ларвеф был женат. Жена казалась его сверстницей, хотя была моложе его на полтора года. Их связывало сильное чувство. Они всегда были вместе. И только позже Арид узнал то, что их разделяло.

Что же разделяло их, любящих друг друга и таких молодых? Впрочем, молода была только она. Он выглядел молодым. Их разделяли те сто семьдесят лет, которые все же нельзя было скинуть со счета. Парадокс относительности времени ничего не мог поделать с памя-

тью, а значит, и с личностью. Память Ларвефа хранила то, что было сто семьдесят лет назад. Он не мог оторваться от своего времени, как ни старался. Одной частью своего духовного существа он жил по ту сторону этих ста с лишним лет, другой частью пребывал здесь.

Арид с изумлением смотрел на дильнейца, связавшего своим существованием две разные эпохи. Сквозь оболочку юноши он видел старца. А раз это видел он, подросток, то это не могло укрыться от взгляда жены. Ларвеф был слишком опытен и не умел, а, может, и не хотел этого скрывать.

Однажды Ларвеф спросил Арида:

— Ты часто видишь сны?

— Наверное не чаще, чем другие.

— А что тебе снится?

— Школа. Товарищи и сверстники.

— Мне тоже, — сказал задумчиво Ларвеф. — Сны вносят путаницу в мою жизнь. Те, с кем я расстался сто семьдесят лет назад, снятся мне чаще, чем нынешние мои современники. Иногда мне кажется, что я прожил не двести, а тысячу лет. А иногда мне страшно хочется вернуться в прошлое. Помню то тревожное состояние, которое я испытал, когда возвратился домой на Дильнею. Я понимал, что прошло без малого почти два столетия и я никого не застаю в живых из тех, кого я знал и помнил. Так говорил мне разум. Но чувства протестовали. И я им верил больше, чем разуму. Я все же надеялся, что увижу мать, отца, сестру и ту, к которой рвалось все мое существо. Корабль приближался, уже не годы, а считанные часы и минуты отделяли меня от дома. И вот я на Дильнее... Навстречу мне бегут дильнейцы в странных одеждах. Я вглядываюсь в них, ищу знакомые лица. Разум шепчет мне: «Их нет, их давно, давно нет». Но я не верю, не хочу верить. Все чувства напряжены. И я жду...

Но я напрасно верил чувствам, а не разуму. И я зря ждал. Я попал в другой мир. За сто семьдесят лет изменилось все, и лишь я один остался таким, каким был. Ты думаешь, мне легко было найти контакт с теми, кого я встретил на изменившейся планете? Сто семьдесят лет — это не пустяк. Язык изменился сравнительно мало. Но изменились вещи. Изменились представления. Те же самые слова выражали теперь совсем другой смысл. «Прошу прощения», — сказал я незнакомой девушке на ули-

це, желая узнать от нее, где мне следует свернуть, здесь или за следующим кварталом? Не отвечая, она изумленно смотрела на меня. Лицо ее менялось. Не сразу она ответила мне: «За что я должна вас простить? Что вы сделали мне дурного?» В свою очередь начал недоумевать я.

«Я не мог сделать вам ничего дурного. Ведь я вернулся сюда только вчера после стасемидесятилетнего отсутствия». — «Я знаю, — сказала девушка: — Потому и спрашиваю, за что вы просите у меня прощения?» — «Это просто привычное выражение, — начинаю объяснять я, — его употребляли двести лет назад. Закон вежливости обращения». Девушка рассмеялась. «Странная вежливость... Говорить то, что не соответствует действительности. А я приняла это за шутку. Действительно, смешно просить прощения спустя сто семьдесят лет, да еще без всякого основания». Я что-то сказал в свое оправдание и в оправдание своего времени, которое любило веле-речивые фразы, но девушка не поняла меня, хотя мы разговаривали с ней на одном и том же языке. Не подумай, что эта девушка была менее понятлива, чем ее современницы. Просто между нею и мною стояла целая эпоха, эти десятилетия, подстроенные мне парадоксом относительности времени. Мне пришлось искать собеседников среди историков, специализировавшихся на изучении эпохи, из которой я явился. Впрочем, не столько я, сколько они искали общения со мной. Ведь я был первым, кто вернулся из столь продолжительного космического путешествия.

Арид слушал рассказ путешественника с жадным любопытством. Значит, отец и учителя были неправы, понимая время так обыденно и просто. Но что же такое время? Перед ним сидел дильнеец, который знал все оттенки и нюансы этого удивительного явления.

Ларвеф продолжал свой рассказ:

— Но не для того я вернулся на Дильнею из своего продолжительного путешествия, чтобы стать объектом изучения истории. Я был живым дильнейцем, то веселым, то грустным. В моих жилах играла молодая кровь, хотя в моей памяти хранились факты, лежавшие по ту сторону так быстро пробежавшего для меня двухсотлетия. Но историков меньше всего интересовала моя личность. Они обращались не ко мне, а к моей памяти — хранильнице

давно утраченных фактов и событий. Я для них был инструментом, с помощью которого они проверяли то, что нужно в проверке. Беседуя с ними, я все меньше и меньше чувствовал свою реальность. Мне надоело отвечать на их вопросы. Было задето мое самолюбие, ущемлено мое чувство собственного достоинства. Я не вытерпел и высказал все, что думал, историку — молоденькой девушке, слишком усердствовавшей в своем желании познать прошлое. Она ведь до сих пор не может простить мне моей вспышки гнева. Ведь впоследствии она стала моей женой. Не думай, Арид, что она вышла замуж за меня из профессиональных соображений, желая через меня породниться с далекой эпохой и иметь возможность изучать ее через меня, то есть получить преимущество перед своими коллегами. Нет, между нами возникло чувство. И ради этого чувства она взяла на себя трудную роль посредника между мною и новой эпохой, где я ощущал себя чужестранцем.

Посредником быть нелегко! Нелегко было перебросить мост через пропасть, через два столетия, отделявшие мою эпоху, а следовательно, и меня от нового времени. Но сначала нужно было сблизить нас, ее и меня. Нас сблизило чувство, Арид. Ее влек ко мне не только интерес к истории... Но ты, я вижу, устал. И в следующий раз я расскажу тебе о том, как я тосковал по своей эпохе, по своим современникам и как мне удалось победить свою тоску.

Косметик Туаф

Туаф стал красавцем надолго. Ежедневно он обновлял себя, используя свое искусство, профессиональное мастерство и опыт. Та, для кого он старался, вела себя странно. Она разговаривала с ним так, словно не она, а он был искусственным существом, искусной моделью чужой жизни.

Сегодня утром она спросила Туафа:

— Вы любите фрукты?

— Я их любил давно. Но их здесь нет. Здесь нет ни деревьев, ни ветвей и им не на чем расти.

— Я понимаю, — сказала Эроя. — Фрукты любил тот,

кто остался на Дильнее. А вы механизм. Но для механизма у вас очень красивое лицо и обаятельная улыбка. Кто вас сделал?

— Природа.

— Природа не создает механизмы.

— Откуда вы взяли, что я механизм? Я живой дильнеец, такой же, как Веяд.

— Докажите!

— Но как я могу доказать? Я даже не могу обнять вас. Оболочка, в которой спрятан ваш внутренний мир...

— Не говорите пошлостей. Что из того, что у вас красивая оболочка? У вас нет сердца.

— Не говорите мне этого. Не говорите! Я сам думал, что у меня нет сердца, пока не познакомился с вами. Скажите, Веяд считает вас своей?

— А что он сказал вам обо мне?

— Ничего. Почти ничего.

— А все-таки?

— Он сказал, что вы отражение той Эрои, которая осталась на Дильнее. Что-то вроде снимка...

— Значит, он не считает, что я живое существо?

— Зато я считаю.

— Благодарю. Но вы не боитесь его? С минуты на минуту он может прийти. Островок мал, и ему негде задержаться, даже если бы он этого пожелал.

— Мал? Значит, вы имеете представление о малом и большом? А Веяд говорил мне — вам не дано понимать, что такое пространство... Я так и знал. Он хочет умалить ваши достоинства, принизить вас.

— Для чего?

— Разве я знаю, какие у него планы? Он хитер и своеенравен. И, кроме того, он тоскует по той, что осталась на Дильнее. Ее, кажется, зовут так же, как вас: Эроя. Но она далеко, она даже за пределами мечты, а вы здесь. Ее реальность только в воспоминании, а ваша — в наличии. Но он любит не вас, а ту, что далеко, бесконечно далеко отсюда.

— Но я и есть она. Значит, он любит меня. Но довольно говорить о Веяде, расскажите лучше о себе. Чем вы занимались на Дильнее?

— Украшал жизнь и изучал прекрасное. Увлекался логической игрой и плаванием. Я бы отдал десять лет жизни за хорошее озеро, речку или даже простой ку-

пальный бассейн. Мне так хочется поплавать, хоть разок нырнуть в глубину. Вам доводилось плавать?

— Не доводилось. И, кроме того, у меня нет рук и ног.

— Простите, я забыл об этом. Когда я слышу ваш голос, я забываю о ваших телесных недостатках.

— Везд тоже забывает о них. Так почему же вам не устроить здесь купальный бассейн?

— Здесь нет воды. С помощью устаревших аппаратов мы можем приготовить ее только для утоления жажды. Я мечтаю о реке, о море, об озере, о дождях. Иногда я закрываю глаза и начинаю вспоминать, как шумят дожди в лесу, как большие капли падают в воду и образуются пузыри. Неужели я никогда не услышу шума дождя, удара грома, не посижу на траве, глядя в небо и на верхушки деревьев? Сегодня ночью мне снилась лесная тропа. Я шел по ней, чувствуя под ногам живую, влажную, напоенную настоем трав, почву. Потом я проснулся и вспомнил, что от лесной тропы до меня сотни миллионов километров. Как мне хотелось бы хоть один раз услышать птичий свист и шум водопада, поднять с травы упавший лист...

— Для чего вы мне говорите это?

— Для того, чтобы найти сочувствие, услышать слова надежды.

— Вам хотелось бы поскорее вернуться на Дильнею?

— А вам?

— Мне? Но ведь я и создана для того, чтобы напоминать об отсутствующей. Я изображение, портрет, духовный портрет Эрои. Там, на Дильнее, я никому не нужна.

— Вот и пойми нас. То вы отрицаете, что вы отражение, то утверждаете. У вас нет логики. Вы алогичное существо.

— Везд говорил мне это сотни раз. Но я сама хочу выяснить, кто я.

— Разрешите, я вам помогу. Вы чудесное создание. Меня влечет к вам. Как странно, что ваш внутренний мир скрыт в этот комочек вещества. Шар. Шарик! Но в этом шарике скрытана Вселенная. Ум. Чувства. Лукавство. Юмор. Одного не хватает: опыта. И чуточку бы больше логики. Эрон-младший недоглядел...

— А кто такой Эрон-младший?

— Разве вы не знаете? Великий кибернетик и физиолог. Брат Эрон.

— Мой брат?

— Нет, брат Эрои.

— Но ведь я-то и есть Эроя. Если я не Эроя, так кто же я?

Туаф смущенно промолчал.

— Кто же я? Почему вы не отвечаете? Я жду ответа.

— Мне непонятна сущность вашего вопроса. Ни один дильнеец не будет спрашивать у других, кто он. Если он сам не знает, кто он, так как же могут знать другие? Поэтому я и не могу ответить.

— Кто я? Мне это нужно знать. Нельзя жить, не зная ничего о себе. Кто я?

— А что отвечал на ваш вопрос Веяд?

— Он лавировал, занимался софистикой, отвечал то «да», то «нет», то отрицал, то утверждал. Наконец, он признался мне, искренне признался, что он не знает. Но вы-то должны знать. Кто я?

— Вы шар, шарик. Я люблю вас. Неважно, что вы комок вещества. Для меня вы весь мир. Говорите! Я готов вас слушать хоть весь день.

— Тише! Я слышу чьи-то шаги. Но так как здесь никого, кроме вас, меня и Веяда нет, значит, это он.

— Да, это он. Побеседуем в другой раз.

Путешествующий Ларвеф

Где те два столетия, которые подарила Ларвефу судьба? Он был дважды молод, той молодостью, которая осталась в другой, утраченной эпохе, и той, что началась здесь после возвращения на Дильнею, началась и продолжалась. Не мечтал ли он отлучиться еще на пятилетие в космос и выиграть еще сто семьдесят лет?

Арид не смел задать столь бестактный вопрос своему другу. Но он не догадывался, что у Ларвефа не хватило бы на это сил. Значит, снова потерять навсегда новых своих современников, друзей, любимую женщину и снова в новом, уже совершенно новом мире искать общения с другими поколениями и снова тосковать по навсегда утраченному.

Всем знакомы утраты и приобретения, но никто не знал таких утрат, как Ларвеф, оказавшийся впереди себя на сто семьдесят лет.

Арид с ненасытной жадностью впитывал поистине гигантский опыт своего друга и наставника. Он словно беседовал с самой историей, на этот раз принявшей вид не старинных книг и запоминающих устройств, а облик живого, необыкновенно милого и симпатичного собеседника.

— Ну, что ты еще хочешь узнать, ненасытный подросток?

— Почти ничего. Пустяк. А где вам было лучше — там или здесь?

— Не спрашивай об этом, Арид. Я тебе запрещаю. То, что было, то утрачено навсегда. Мне и здесь хорошо среди вас.

— А как вы склеиваете эти два отрезка времени?

— Склеиваю? Ты не мог найти более одухотворенного слова? Ну, раз ты спрашиваешь, я отвечу. К двум разным эпохам я прибавляю свое путешествие. Правда, большую часть его я провел в состоянии анабиоза, полного отсутствия. Но это легко себе представить. Вообрази, что ты уснул вечером, а проснулся не на следующее утро, как все, а спустя несколько лет. Вот и все, дорогой Арид. Спрашивай, спрашивай, мальчик. Я охотно отвечаю на твои вопросы.

— А вы очень изменились за эти сто семьдесят лет?

— Внешне почти не изменился. Ты сам можешь об этом судить — взгляни на фотографическое изображение. Анабиоз задержал явления, связанные со старением, с влиянием энтропии. Да и пять лет — это пустяк. А что касается внутренних, душевных перемен... Внутренне я, разумеется, постарел. Да и могло ли быть иначе, мальчик? Мир, в котором я жил почти двести лет тому назад, не похож на ваш. Ты думаешь, что изменились только техника, наука и экономика? Изменился сам дильнеец, его сознание, его внутренний духовный аппарат. Не говоря о других, даже с женой я долго не мог найти общего языка. Вы не только иначе мыслите, чем мои современники, но и иначе чувствуете. Вы искреннее, прямодушнее, умнее. Ты думаешь, мне легко произносить эти слова? Я любил и люблю своих современников со всеми их недостатками. Они жили в более суровый век. Наука еще не разгадала тайн гравитации, не владела искусственным фотосинтезом. Ты, наверно, никогда не слышал стука топора? А мои тогдашние современники варварски

рубил деревья и уничтожали целые леса, они еще не научились создавать искусственную древесину. Я вижу усмешку на твоём лице. Но я сам рубил деревья. Сейчас это считается преступлением. Живую природу охраняет не только закон, но и сознание дильнейца. С детства вас приучают смотреть на живую природу как на нечто такое, что надо беречь и любить. Вы связаны с природой тысячами нитей. В мою эпоху было не так. Жестокие и неразумные охотники стреляли в беззащитных птиц и зверей. Женщины щеголяли в дорогих шубах, сшитых из шкур самых редких и ценных зверьков. И никому не казалось это чудовищным и ужасным. И еще тогда существовала жадность. Ты не понимаешь этого слова, мальчик. Оно исчезло из разговорного языка. Как тебе объяснить, что это значит? Это не легко, Арид... Дильнеец любил вещь...

— Он и сейчас ее любит, — перебил Арид.

— Это не та любовь, мальчик. Сейчас дильнеец любит вещь за ее красоту и полезность.

— А тогда за что он ее любил?

— За то, что она его собственная, принадлежит ему. Дильнеец любил только свою вещь и был почти равнодушен к чужой.

— Я этого не понимаю.

— Я рад, что ты не понимаешь этого, мальчик. Твое непонимание и делает тебя прекрасным, тебя и твоих современников.

— Но я хочу это понять! Хочу! — сказал Арид. — Что может быть хуже и унижительнее непонимания? Я всегда стремился понять все, что поддается пониманию, и даже то, что не поддается.

— Ну, хорошо, я постараюсь объяснить тебе, что такое собственность. Слушай, мальчик.

Ларвеф говорил пространно, напрягая все свои логические способности. Когда он закончил свой рассказ, на лице Арида быстро сменилось несколько чувств: чувство досады, разочарования, недоумения.

— Какая же радость в том, — спросил он, — чтобы иметь несколько вещей, когда тебе принадлежит весь мир?

— Ну вот видишь, мальчик, есть явления, которые не поддаются объяснению.

Арид почти ежедневно заходил к своему другу. Его по-

любила и жена Ларвефа Иноя. Она никогда не сердилась на своего юного гостя, даже когда он задавал слишком много вопросов.

Арид спрашивал. Ларвеф отвечал. Но однажды подросток не застал своего друга дома.

— Где Ларвеф? — спросил он Иною.

— Далеко, — ответила Иноя тихо.

— А когда он вернется?

— Через сто семьдесят лет.

— Но ведь он не застанет нас?

— Не застанет.

— Почему он это сделал? Почему он не предупредил меня? Ведь позавчера он был здесь.

— Не знаю, — сказал тихо Иноя. — Тот, кто оказался впереди самого себя, не может долго сидеть на одном месте: Его тянуло туда.

— Куда?

— В неизвестность, в будущее, в даль, к тем, кто будет жить через сто семьдесят лет после нас.

Идея Арида

Что чувствовал Ларвеф, снова расставаясь навсегда со знакомым и привычным миром?

На этот вопрос нет ответа. Свой ответ Ларвеф отнес туда, в даль, вперед почти на целых два столетия.

Где он? Впереди! Снова впереди всех, исследователь того, что наступит не скоро.

Арид любил мир, который его окружал. Тысячью невидимых, но крепких нитей он был связан со своей родиной и с каждым дильнейцем. Даже ради познания неизвестного он не решился бы порвать эти нити. Но никогда он так сильно не ощущал привязанности к Дильнее, как в те дни, когда Ларвеф покинул современность для того, чтобы совершить длинный и опасный путь и пристать к другой эпохе.

Идя по улице, Арид вглядывался в лица прохожих. Улыбка на лице незнакомой девушки. Смех играющего в саду ребенка. Кашель старика. Обрывки фраз, брошенных кем-то на ходу. Все вызывало у подростка чувство грусти, словно он, так же как Ларвеф, собирался покинуть Дильнею и взамен своего времени обрести чужое.

Арид понял, что он смотрит на мир не своими глазами, а глазами друга и наставника, поспешившего затеряться в неведомом.

Тысячи вопросов за годы знакомства с Ларвефом задал ему любознательный подросток. Но самого главного не узнал. Он так и не узнал, какая сила тянула Ларвефа в неведомое и почему.

Арид рос быстро физически и еще быстрее духовно. Он проявил необыкновенные способности к математической логике и обратил на себя внимание одного из крупнейших ученых Дильнеи Эрона-младшего. Окончив кибернетический и философский институты, Арид поступил работать в большую экспериментальную лабораторию Эрона-младшего.

Еще в школе у него появился грандиозный замысел создать гениальный мозг, вооруженный опытом не только индивида, отдельной личности, но и опытом историческим. Эта идея возникла в результате общения с Ларвефом. В Ларвефе парадокс времени осуществил неосуществимое, он слил юношу со стариком. Память Ларвефа соединила две эпохи, разделенные двухсотлетием, слила вместе две разные современности. Сын двух эпох, Ларвеф обладал невиданным опытом.

Задумав создать гениальный мозг, Арид поставил перед собой необычайную задачу.

Он рассуждал так:

— Ларвеф — вечный странник. Через сто или двести лет он ненадолго остановится в новой современности, чтобы отдохнуть, познакомиться с дильнейцами новой эпохи и затем снова отправиться в путь. Его влечет неведомое, загадки познания, поиски истины. Я же хочу служить своим современникам. Я создам грандиозный искусственный мозг, чья гигантская ненасытная потребность познания будет слугой коммунистического общества Дильнеи. Ларвеф неправ. Как бы мне хотелось встретиться и доказать ему его неправоту. Но это невозможно. Он впереди всех и в том числе меня на много лет. Ну что ж, мой искусственный мозг, почти не подверженный влиянию энтропии, встретится с ним через двести лет и выскажет все мои сомнения.

Годы шли. Арид положил много сил на то, чтобы реализовать свою дерзкую идею. Но ему пришлось прервать работу над созданием гигантского аппарата познания и

мысли. Совет коммунистического общества поручил ему дело более срочное и важное, ему, Эрону-младшему и всем талантливым ученым планеты.

В эти дни весь мир узнал о том, какую огромную задачу предстоит решить соединенным усилиям многих наук.

В те часы, когда все сидели перед экранами приближателей, там возникло лицо одного из самых уважаемых членов Совета и все услышали его мощный голос. Он говорил:

— Юноши! Вы не скоро расстанетесь с вашей юностью. Ее продлят. Зрелые люди, вы можете не бояться старости. Ее отменят. Больные! Вас излечат от ваших болезней, чем бы вы ни болели. Старики! Вам вернут вашу утраченную молодость! Дети! Запоминайте то, что вас окружает. Скоро изменится мир. Жизнь не будет знать увядания...

Рассказывает Веяд

Мы с Туафом мирно спали, когда это случилось. Бодрствовал только комочек вещества, вместивший в себя внутренний мир отсутствующей женщины и называвший себя Эроей.

Эроя и разбудила нас.

— Тревога! — крикнула она пронзительно громко. — Тревога!

— Что случилось? — спросили мы с Туафом.

— На нашем острове посторонний, — ответила она.

Мы невольно рассмеялись. Уэра была слишком далеко от всех путей и населенных мест, чтобы здесь мог оказаться кто-то. Видно, Эрое, этому комочку вещества, почудилось. Но все же оказался прав комочек вещества, а не мы. Мы увидели летательный аппарат и высокого дильнейца, склонившегося над ним. Да, это было похоже на чудо. Мы отнеслись с недоверием к своим собственным чувствам, пока он не подошел к нам и не назвал своего имени.

— Ларвеф, — сказал он тихо и устало.

Мы молчали. Молчал и комочек вещества, разговорчивый шарик.

— С космолетом, — продолжал пришелец, — на котором я странствовал много лет, случилась беда. Мне одному удалось достичь вашей станции. Признаться, не ожидал здесь кого-нибудь встретить.

Он сделал паузу и снова назвал себя:

— Ларвеф.

— Ларвеф? — переспросил я. — Мне, кажется, знакомо это имя. Так звали одного странника, получившего взамен своих утрат сто семьдесят лет. Я видел ваше лицо на экране приближателя.

— Я тоже, — вмешался Туаф.

— И я видела, — раздался женский голос.

Ларвеф оглянулся, пристально всматриваясь.

— Мне слышался женский голос. Среди вас есть женщина?

— Да, — сказал Туаф и показал взглядом на бесформенный комочек вещества, лежавший на краю стола.

— И вы видели меня? — спросил вежливо Ларвеф, обращаясь к комочку вещества. — Я рад. Как вас зовут?

— Эроя.

— Красивое имя.

— Благодарю.

— Ну что ж, я рад, что встретил здесь живых дильнейцев. Я на это не рассчитывал. И вы давно живете здесь?

— Давно. Слишком давно, — ответил я. — Шесть лет.

— А вы? — обернулся Ларвеф и нежно посмотрел на комочек вещества.

— Я? Я не знаю, что такое «давно» и что такое «недавно». Эти слова имеют смысл только для тех, кто существует временно и чья непрочность подвержена всем нелепым случайностям бытия. Я же жила всегда. Для меня не существует ни времени, ни пространства.

— Она шутит, — прервал Эрою Туаф. — Кроме того, она не в ладу с логикой. Маленький дефект в конструкции. Ошибка. Неисправность.

— Ошибка? — спросил Ларвеф. — Ну, что ж. Я всю жизнь ошибался и далеко не всегда был в ладу с логикой. Мы найдем с ней общий язык.

И он снова посмотрел на край стола, где лежал шарик, комочек вещества, полного жизни, страстей и страстий. Он посмотрел чуть нежно и ласково, словно прозревая сквозь оболочку прекрасную и только ему

одному открывшуюся суть. Он протянул руку, чтобы притронуться к трагическому комочку, к этому парадоксальному шарiku, но раздумал.

— Я понимаю вас, Эроя,— сказал он тихо.— И понимаю потому, что жил в двух разных столетиях и снова отправился в путь в поисках другого времени. «Давно» и «недавно» для меня имеют тоже другой смысл, чем для всех.

Он больше ничего не добавил к тому, что сказал, и стал устраниваться. По-видимому, он собирался здесь жить. Впрочем, что еще ему оставалось?

Теперь нас было трое, если не считать комочка, оболочки, за которой скрывалось нечто загадочное.

— Вы играете в логическую игру? — спросил Туаф, давно мечтавший о живом партнере.

— Нет. Не играю,— сухо ответил Ларвеф.

Он был молчалив. В этом мы убедились вскоре. Слишком молчалив. И это понятно. Ведь он долго, слишком долго отсутствовал. Отсутствовал? Это сказать мало. Отсутствие было его призванием, его профессией. Он был начинен пространством. Но обстоятельства жестоко подшутили над ним. Вместо необъятной Вселенной он получил крошечный островок, крохотную искусственную планетку. Он шагал по ней, как леопард в клетке. Ходил и ходил взад и вперед. Наконец, он спросил нас:

— Долго вы намерены околачиваться в этой дыре?

— Не дольше вас,— ответил Туаф.

— Я не собираюсь здесь засиживаться,— сказал Ларвеф, и на его узком лице отразилась решительная и дерзкая мысль.

— А что вы можете предпринять?

— Отремонтировать летательный аппарат и улететь.

На этот раз задал вопрос я:

— Далеко ли вы улетите на таком аппарате?

— Недалеко. Согласен. Но лучше погибнуть, борясь с пространством, чем годами сидеть и ждать.

— Он нетерпелив,— сказал Туаф.

Ларвеф усмехнулся.

— И это говорите вы мне, обогнавшему почти на двести лет самого себя, дильнейцу, знающему, что такое расстояние и время!

— В самоубийстве нет ничего героического,— ска-

зал я.— Значит, остается только ждать, хотите вы этого или не хотите.

Ларвеф промолчал. Он повернулся и зашагал. Он шел, словно впереди была даль, бесконечность. Но увы! — ее не было. Впереди граница, всего в каких-то двух-трех километрах. А за ней зиял провал, пустота, бездна, бесконечность. Но он шел, шел так, словно хотел перешагнуть через границу. Его не пугали пустота и бездна. Она звала его. Он шел, и мы боялись, что он не вернется. Но он возвращался, каждый раз возвращался и снова уходил.

На берегу Байкала

Вот что поведал однажды Ларвеф Веяду, Туафу и комочку вещества, называвшему себя Эроей и тоже умевшему слушать и понимать:

— Есть события, о которых я еще не рассказывал никому. Вы первые узнаете о них, если не считать моих спутников. Но никто из них не остался в живых и некому подтвердить истинность моих слов. Большой космолёт, на котором я возвращался из странствий, как вам известно, погиб, и я достиг Дильнеи на легком летательном аппарате. Этот аппарат сейчас стоит в Музее истории космонавтики и удивляет всех, кто способен чему-нибудь удивляться. Почему я до сих пор молчал? Я надеялся, что события продолжатся. Сейчас у меня почти нет надежды на продолжение истории, которую я сейчас вам расскажу, и поэтому я буду вынужден ограничиться ее началом. Мне удалось побывать на планете, которую ее жители называют Землей. Космолет не стал приземляться. Он остановился на Луне, откуда легкий аппарат меня одного доставил на Землю. Так было решено после долгих споров и размышлений. Посадка на малоизученной и населенной планете представляет риск, и командир космолета и начальник экспедиции не хотели рисковать. Я был послан на Землю, чтобы заснять и записать с помощью электронной аппаратуры все, что могло представлять интерес для цивилизации Дильнеи. О Земле, несмотря на совершенство нашей оптики, мы знали мало. Мы гадали о высокоразумных

существах, населявших эту планету. Кто они? И по анализам оптических данных и по другим признакам мы решили, что на Земле еще каменный век, а ее жители еще совсем недавно переступили ту черту, которая отделяет мир биологический от мира социального.

Я приземлился в лесу. Впереди сверкали снежными верхушками высокие и крутые синие горы. Затем я увидел прозрачное пространство, висевшее среди гор. Это было огромное озеро. Я смотрел и слушал. Оптические и звуковые впечатления слились. Казалось, я слушал симфонию, которую исполняла сама природа. У моих ног звенел ручей. Вода неслась по камням с необычайной стремительностью и звучание падающей воды, ее грохот и звон наполняли слух однотонной и мелодичной музыкой. И тут я увидел тропу. Ее протоптали разумные существа, по-видимому, подобные нам. В песке я разглядел след ноги... Я ступил на тропу и, доверившись ей, пошел туда, куда она вела меня. Воздух был густ, напоен запахами хвои, цветов, ветвей. Он пьянил меня. Кружилась голова. Сердце усиленно билось от предчувствия неизвестного. Никогда я еще не испытывал такого легкого и острого чувства, даже во сне. Тропа привела меня на холм, но не кончилась там, а вела дальше и дальше в глубины синего леса, то смыкавшегося за моей спиной, то снова расступавшегося, чтобы пропустить меня вперед.

Внезапно я вышел на поляну. Паслось стадо рогатых животных, низко наклонявших морды и щипавших серебристый мох. Вдали были видны конусообразные жилища, над ними вился дымок. Я остановился, пораженный, словно попал в далекое прошлое Дильнеи, в неолитический век. Значит, мы не ошиблись, когда гадали о населении Земли. Здесь еще неолит. Интересно, как ко мне отнесутся неолитические охотники? А что, если они примут меня за бога? Я невольно рассмеялся. Нет, меня вовсе это не привлекало. Могут еще принести мне кровавую жертву. В детстве я любил читать исторические повести о первобытных обычаях и нравах. Разумеется, у них существуют легенды, и в моем появлении они увидят подтверждение своих мифов. А может, меня убьют? И это не исключено. У них должны быть зоркие глаза, обостренные первобытным инстинктом. Коварная стрела, копье или дротик могут попасть

в сердце или в глаз. Они, надо думать, отличные стрелки. Но любопытство всегда сильнее страха. Я долго стоял, всматриваясь в открывшийся мне мир. Кусочек древней эпической песни, которую исполняла сама действительность. Из крайнего чума выбежало двое ребятшек: мальчик и девочка. Она убегала, он догонял. Бежали в мою сторону. Пока еще не видели меня, закрытого кустами. Все ближе и ближе... И вот, добежав до кустов, они остановились. Мальчик первым увидел меня. На его оживленном смехом лице отразился испуг и недоумение. Он что-то сказал девочке, и она тоже остановилась. Они были в пяти шагах от меня. Я рассматривал детей. В их скуластых лицах с узкими глазами, испуганно и недоуменно глядевшими на меня, было нечто дикое и прекрасное. Я еще никогда не видел такой живости и красоты. Незаметно нажал на кнопку видеоинформационного аппарата, чтобы запечатлеть их в этот миг. Они не подозревали, что их запечатлевают. Миг длился. Необыкновенный, страшный и чудесный миг моего первого знакомства с жителями Земли.

Потом мальчик подошел ближе и что-то спросил у меня на своем странно звучащем языке. Я молчал. Он догадался, что я его не понял и, показав на себя пальцем, назвал свое имя:

— Гольгей.

Затем он показал на девочку, по-видимому, сестренку и назвал ее имя:

— Катэма.

Тогда я назвал себя.

— Ларвеф,— сказал я.

Эти три слова, три названия, три имени, произнесенные вслух, начали действовать с поразительной скоростью. Они уничтожили ту пропасть, которая только что была здесь, лежала между мною и детьми Земли. Девочка приветливо рассмеялась. Улыбнулся и мальчик, чуточку, правда, недоверчиво. Они изумленно, но уже без страха рассматривали меня. И я тоже рассматривал себя как бы их глазами, словно впервые видя жителя Дильнеи. Вероятно, их смущал синий цвет моей кожи, мои огромные глаза, мой крошечный рот и, разумеется, мой костюм... Но у меня было имя, так же как у них. А то, что имеет название, все, что произносится вслух и облачено в звук, находится уже по эту

сторону реальности. Черта перейдена. Я переступил ее, назвав себя. Они уже запомнили мое имя и будут помнить всю жизнь.

— Ларвеф,— назвала меня Катэма, затем ее брат Гольгей.

Он взял меня за правую руку, она за левую и провели меня в чум, даже не предупредив родителей о том, какого странного гостя они ведут. Что же произошло затем? То, что я ожидал. Волна ужаса захлестнула родителей Гольгея, когда они увидели своих детей, ведущих злого и коварного духа, решившего нарушить человеческий покой и предпринявшего для этого длительное путешествие из потустороннего мира. Что привело меня к ним? Разумеется, недобрые намерения. Злой дух, несомненно, принес с собой всякие беды и несчастья. Это по его специальности.

Недели две спустя я с помощью универсального логико-лингвистического аппарата (им меня снабдил начальник экспедиции) овладел эвенкийским языком. Однако я не пытался разубедить их в том, что я представитель потустороннего мира, правда, не наивно-мистического, порожденного мифологией, а вполне реального, физико-математического, хотя и не похожего на тот, в котором они пребывали.

Уничтожить стену ужаса и непонимания мне помогли дети, мои юные друзья Гольгей и Катэма. Они быстро прониклись доверием ко мне, а затем помогли подарки, которыми я предусмотрительно запасся.

От родителей Гольгея я узнал, что, кроме их первобытного племени, на берегу большого озера жили цивилизованные люди русской национальности: купцы, чиновники, крестьяне, солдаты.

Меня тянуло встретиться с цивилизованными людьми, да к тому же я должен был торопиться. Начальник экспедиции был не из тех, кто мог простить бездельную медлительность и ротозейство.

Из Баргузина в Санкт-Петербург

Ларвеф продолжал свой рассказ:

— Расставшись с эвенками и запечатлев с помощью электронной памяти и видеоаппаратуры их быт, язык

и нравы, я отправился в городок Баргузин, центр этого малонаселенного и полудикого края.

Я поселился в доме, построенном из толстых деревьев, воспользовавшись гостеприимством крестьянина и его большой семьи. Разумеется, мой хозяин не подозревал о том, кто и откуда послал меня в его дом. Он принимал меня за иноземца, сосланного за какой-нибудь проступок или преступление. Это было место ссылки, где простор и воля были на замке, ключ от которого хранил полицейский чиновник — толстый детина с заспанным лицом и маленькими глазками, смотревшими подозрительно и сердито.

Чтобы моя кожа не очень привлекала к себе внимание, я прибег к косметике. И, кажется, перестарался. Цвет моего лица теперь был ненатурально белым, словно посыпанным мукой. Но мне это сошло с рук. Хуже было со ртом, с которым я ничего не мог поделать. Он был слишком мал с точки зрения землян. Все смотрели на мой рот с изумлением. И бесцеремонная старуха, мать хозяина, спросила однажды, не то сочувствуя мне в моем несчастье, не то меня за него попрекая:

— Как же ты, голубчик, им пользуешься? Еще пить им худо-бедно можно, а есть — не приведи господь!

Действительно, мне было не легко принимать их грубую и твердую пищу вместо тех питательных и вкусных таблеток, которые мы привыкли глотать. Все почему-то смущались и старались не смотреть, как я справляюсь с пищей, кроме, разумеется, ребятишек, не спускавших изумленных глаз с моего рта. Но вскоре все малочисленное население Баргузина примирилось с моей морфологической особенностью, сочтя, что, за исключением этого природного недостатка, я был во всем остальном вполне приличной и почтенной личностью, высланной сюда, по-видимому, за политическую неблагонадежность.

С помощью универсально-лингвистического аппарата и своей врожденной способности к языкам я быстро овладел здешним наречием русского языка, в котором было немало бурятских и эвенкийских слов. Я запечатлел все, что следовало запечатлеть в своей собственной памяти и в памяти электронных устройств: грохот горных рек, крик самца-изюбра, подзывающего самку, таежник эвенков и песни байкальских рыбаков, быт и нравы,

сказки и загадки. Но задерживаться на этой окраине я не собирался, мне необходимо было поскорей попасть в столицу обширного государства — город Санкт-Петербург.

От Баргузина до Петербурга было около восьми тысяч километров. И если бы я решил путешествовать на лошадях, это бы отняло у меня почти около года. Что такое лошади? Это милые домашние животные с усталыми добрыми глазами. Лошадиными шагами измерялся весь земной шар, лошадиными силами — все довольно примитивные механизмы и машины. Мог ли я терять год? Я преодолел это по земным представлениям огромное расстояние за несколько минут, воспользовавшись своим летательным аппаратом.

Аппарат я спрятал в лесу в окрестностях Санкт-Петербурга, в болотной и малопроезжей местности. Остановился я в гостинице на Васильевском острове. Половой, прежде чем вести меня в номер, долго и с сомнением смотрел на мой рот, потом, махнув рукой, спросил:

— А откусать не желаете?

— Зубы болят, — ответил я.

Ответ звучал странно и был вызван желанием скорее отвязаться от всяких вопросов.

Я решился на маленькую хитрость. Придя в номер, я завязал себе рот тряпкой, чтобы никто уже не обращал на меня излишнего внимания.

Санкт-Петербург мне очень понравился. Архитектура некоторых зданий поражала изяществом, легкостью и красотой. Я бродил по улицам, охотно заходил в лавки, где бородастые купцы продавали ткани или снедь. Но самое сильное удовольствие я испытывал, когда смешавшись с толпой, околачивался на самых людных местах, слушая бойкую и острую речь мещан и слуг. Я с удовольствием пил сбитень — горячий пряный напиток, приготовленный на меду. И однажды был так неосторожен, что снял повязку. В рыночной толпе произошло легкое замешательство. Кто-то грузный и бородастый сипло сказал, показывая на меня толстым, вымазанным дегтем, пальцем:

— Смотрите, у господина вместо рта пустое место!

— Не ври! Есть рот, — перебила бородача пожилая женщина, — есть! Да больно мал.

Толпа начала расти и волноваться.

— Ты кто и откеля? — спросил меня румяный парень, лихо подпоясанный красным шелковым кушаком.

— Кто я? Человек.

— А рот где?

Кто-то рассмеялся и ответил за меня:

— Дома забыл.

Смех меня выручил. Все вдруг чуточку подобрели. А пожилая женщина заступилась за меня:

— Чего вы пристали к человеку! Мало ли каких бед не бывает! Мог отморозить или зашибить. Идите, господин, с богом. Никто не тронет.

Я с интересом наблюдал социальные контрасты, знакомые мне только из истории далекого прошлого. Точно такие же контрасты, как и у нас на Дильнее в далекие времена феодализма и капитализма. На окраинах в нищих лачугах ютилась беднота. Там не было ни чванства, ни корыстолюбия, ни ханжества, которые я в избытке находил, посещая дома купцов и особняки аристократов. Чтобы попасть в высший свет, мне пришлось преодолеть внутреннее отращение к мистификации и лжи и выдать себя за последователя Месмера и известного авантюриста графа Калиостро. Наука и техника не интересовали этих чванных и неумных вельмож. Зато лженаука и пошлая метафизика были на уровне их духовных интересов. Я провел несколько месмерических сеансов и сомнительных опытов в особняке графа Юсупова и во дворце князя Гагарина, дурача величественных хозяев и столь же доверчивых их гостей. Для этого не требовалось особой ловкости рук. Электронные приборы и видеоаппараты помогли мне воссоздать перед моими легковверными зрителями иллюзорную обстановку сна наяву. Сеансы имели столь шумный успех, что я начал от них уклоняться, боясь привлечь внимание полиции. В особняках меньше обращали внимания на размер и форму моего рта. Ученик Месмера и соперник графа Калиостро имел право на несколько экстравагантную внешность и на некоторую таинственность. Я не без успеха пользовался этой таинственностью, чтобы держаться в тени. Когда хотел — появлялся, когда этого желал — столь же таинственно исчезал из поля зрения тех, кто мог мною заинтересоваться.

В свободные от сеансов и странствий часы я много

читал, погружаясь в земные знания, в многовековой человеческий опыт, подолгу мысленно беседуя с теми, кого я уже не мог застать в живых. Особенно яркое впечатление произвел на меня старинный французский писатель Франсуа Рабле необычайной предметностью и плотной густотой своего художественного мышления. Его веселая, дерзкая, умная речь вся была пропитана плотью, земной радостью. Самозабвенно перечислял он бесчисленные блюда, которые съедал его бесподобно прожорливый герой Гаргантюа. Меня, привыкшего, как и все дильнейцы, глотать синтетические таблетки, это жирное обилие, этот умопомрачительный аппетит повергал в изумление. На Дильнее художественное мышление не было столь погружено в предмет, в физиологию, не было столь телесным и плотным, да и, впрочем, на Земле Рабле с своей крайней предметностью был мало с кем схож. Его голосом говорила сама земная жизнь, народные массы. Понравился мне и Джонатан Свифт, описывающий мир, играя с относительностью пространства, но не подозревая о том, что пространство и время неразрывны. И раз у описанных им лилипутов других размеров все, начиная от глаз и рук и кончая дорогами, домами, деревьями, то у них должно быть и другое время, соответствующее масштабам их пространства. Свои возражения мне пришлось оставить при себе, Свифт умер до моего появления на Земле.

Прежде чем покинуть Землю (экспедиция заждалась меня на Луне, о чем почти ежедневно меня извещал начальник с помощью квантовой связи), я решил побеседовать с одним из крупнейших ученых и мыслителей того земного столетия, в которое я попал. Его звали Эммануил Кант и жил он в Кенигсберге, сравнительно недалеко от Санкт-Петербурга.

Посланник звездного неба

Господин Яхман, личный секретарь кенигсбергского мудреца, любезно провел меня в кабинет. Профессор с минуты на минуту должен был вернуться с прогулки.

— Как доложить о вас? — спросил Яхман.

Я назвал первую русскую фамилию, которая мне пришла в голову, мысленно три или четыре раза повторив ее про себя, чтобы не забыть. В кабинете было темновато и, кроме того, высокий воротник специально придуманного мною костюма почти скрывал мой рот, так что я мог не беспокоиться.

Яхман был разговорчив. Мы говорили о том, о сем, о погоде, о временах года, о редких и удивительных феноменах природы.

— Господин Кант,— сказал Яхман,— обладает редким даром. Он удивляется тому, что другим вовсе не кажется удивительным.

— Чему, например? — спросил я.

— Больше всего — звездному небу над нами и нравственному закону внутри нас.

— О нравственном законе мы еще поговорим,— сказал я тихо и значительно,— а что касается звездного неба над нами, оно и послало меня сюда.

— Вы астроном? — спросил Яхман.

— Отчасти, да. Но только отчасти.

— Что значит это ваше «отчасти»? Надеюсь, вы, сударь, не маг и не фокусник? Господин Кант очень ценит свое время.

— Время? Я как раз и пришел сюда, чтобы выяснить его сущность.

— Да, здесь вам дадут на этот вопрос точный и исчерпывающий ответ. Здесь знают, что такое пространство тоже.

Он вышел, оставив меня одного среди строгой и скромной обстановки ученого. Я задумался и не заметил, как вошел Кант. Он стоял и смотрел на меня, должно быть, ожидая, когда я назову свое имя. От сильного волнения я забыл имя, разумеется, не свое собственное, а то, которым я назвал себя Яхману. Пауза, как мне показалось, длилась долго, дольше, чем того требовали обстоятельства. Я молчал, ожидая, когда заговорит сам хозяин. Он сказал тихим, но резким голосом.

— Господин Яхман, мой друг и помощник, сообщил мне о том, что привело вас сюда. Вас интересует, что такое время. Не могли бы вы задать вопрос не столь трудный?

— Где и задавать трудные вопросы, как не в этом кабинете?

Кант улыбнулся.

— Самое трудное — это на сложный вопрос ответить просто. И я отвечаю вам, как ответил самому себе, когда впервые задал себе этот вопрос: время — это априорная форма нашего созерцания, так же, как впрочем, и пространство. Вы прибыли сюда издалека?

— Да, мне пришлось познакомиться с изрядным расстоянием, чтобы попасть к вам.

— Земля не так уж велика. Ее делают большей, чем она есть, медленные средства передвижения. Если бы мы могли летать, как птицы, мы бы лучше чувствовали масштабы той небольшой планеты, на которой поселила нас судьба. Сколько километров делали вы в час?

— Без малого триста тысяч в секунду. Я догадываюсь, что вы уже сделали нужные умножения, но не решаетесь назвать цифру.

— Вы шутите. На Земле нет таких расстояний. Да здесь и некуда так спешить.

— Я спешил поневоле. Могло не хватить жизни, чтобы преодолеть расстояние.

— Откуда вы?

— Из звездного неба, что над нами...

— Уж не хотите ли вы сказать, что вы не человек, а посланец потусторонних сил? Это было бы забавно и наивно, совсем в духе некоторых современных романов, пренебрегающих законами природы.

— Вы думаете, я прибыл вас дурачить? Кто бы взял на себя такую смелость! Нет, я имел дело со строгими законами природы. Я имел дело с пространством, с объективным пространством. Я пришел к вам рассказать о нем. Оно существует вне нас. Оно и послало меня к вам... Меня послало сюда будущее.

— Мне легче поверить, что вас послал дьявол, как это ни пошло и тривиально. Будущего нет.

— Но оно будет! Хотите, я расскажу вам о нем? О том, какой будет Земля через двести лет.

— Только не вдавайтесь в излишние подробности. Я все равно не имею возможности их проверить.

Я говорил увлеченно о будущем обществе, обществе справедливом и творческом, где не будет эксплуатации

человека человеком. Я рассказывал о теории относительности, квантовой механике, теории единого поля, генетике, кибернетике, сущности гравитации...

Кант слушал, не перебивая меня.

— Забавная смесь идей английских утопистов, Жан Жака Руссо и причудливой выдумки романиста. Вы писатель? Через двести лет не будет ни меня, ни вас, и никто не сможет вас уличить в неправде.

— Жалею, что я вас уже не застаю. Я постараюсь вернуться сюда через двести лет.

Кант усмехнулся. В эту минуту солнце вынырнуло из-за туч, и в кабинете вдруг стало необычайно светло. Лицо мыслителя уже не усмехалось. Глаза Канта смотрели на мой рот с тем откровенным изумлением, которое я видел только на лицах детей.

Мгновение длилось. Я не видел ничего, кроме этих изумленных глаз. Он, вероятно, не видел ничего, кроме моего странного рта. Длилась пауза. Кант молчал. Молчал и я.

Наконец он спросил тихо, почти шепотом:

— Кто вы? Поведайте, ради бога! Только не молчите. Кто вы?

Я рассмеялся.

— Разве мы так уж точно знаем, кто мы? — ответил я почти так же тихо.

— Во всяком случае, мы знаем, что мы люди. Но вы не человек. Кто же вы? Кто?

— Я житель далекой планеты Дильнеи.

— Докажите.

— Показать вам справку, выданную администрацией? У нас не выдают справок. Разве то, что я вам рассказал, не подтверждает мое происхождение? А мой нечеловеческий рот, который вы рассматривали с таким изумлением? Разве он не свидетельствует?

— Ваш нечеловеческий рот произносит вполне человеческие слова. Ваш разум человечесен...

— Ну, что ж, это только подтверждает диалектическое единство законов природы, мир материален и высоко-разумные существа пребывают не только на Земле...

— Может, я вижу сон?

— Позовите Яхмана. Он вам подтвердит, что вы не спите.

— Не стоит. Не стоит звать Яхмана. Он найдет какое-

нибудь объяснение этому феномену. И это объяснение будет слишком запутанным и сложным, чтобы быть истинным.

— Может, лучше не вдаваться в объяснения, господин Кант?

— Философ не должен бояться истины, как бы она ни была страшна и ужасна. Я жажду узнать причины, чтобы понять следствия.

— Все очень просто. Я прилетел на Землю с Дильнеи. Космический корабль ждет меня на Луне. Моя миссия подходит к концу. Мне пора, господин Кант. Благодарю вас за аудиенцию. Вот уже слышны шаги... Кажется, сюда идет господин Яхман?

— Да, это он. До свидания, господин с русской фамилией, посланец будущего. Я не хотел бы при Яхмане сомневаться в том, что вы человек. До свидания.

— Прощайте! Я вернусь через двести лет.

«Это я! Я! Арид!»

Сто пятьдесят лет тому назад один из крупнейших биологов Дильнеи, великий Ахар писал, не скрывая своей ревности к успехам физиков:

«Если бы наше знание проникло в живую клетку так же глубоко, как в сущность атома, вероятно, мы избавились бы от большинства болезней и смогли бы продлить нашу короткую жизнь вдвое, втрое, а может и в десять раз».

Еще недавно эти слова звучали несбыточно, как неоправдавшееся пророчество, сейчас же они были близки к реализации. Вот уже несколько лет, как вся Дильнея была занята наступлением на тайны клетки. Казалось, все превратилось в цитологов: инженеры, поэты, старушки, доживавшие свой век, диспетчеры на космических вокзалах, садовницы, астрономы, работник связи, литературоведы, косметики.

Арид сказал Эрое:

— Теперь вы можете спокойно ждать Веяда. Вам не суждено состариться. Мы уже накануне победы над энтропией и временем.

В глазах Арида, увеличенных экраном приближателя,

были следы грусти. Нелегко было ему вспоминать о Вееде. Об этом Эроя догадывалась давно.

— Когда мы встретимся? — спросила она. — Я так давно не видела вас.

— Может быть, завтра. Если мне удастся выкроить час, отложив все дела.

Трудно Ариду выкроить час. Его личное время принадлежало не ему, а проблеме, которую нужно было решить.

Клетка была куда сложнее атома. Найти средства, предохраняющие наследственно-информационный аппарат от разрушающего действия энтропии, значит сделать каждый индивид, каждое «я» и каждое «ты» таким же бессмертным, как вид и род. Кому, как не Ариду, могла прийти такая дерзкая идея? И эта идея завладела умами всех дильнейских ученых.

Эроя ждала Арида в тот день, когда он обещал прийти. Но он пришел через неделю. Да и он ли пришел к ней? Перед ней стоял незнакомец, чем-то чуточку похожий на Арида. Может быть, это был его младший брат, решивший пошутить?

— Это я, — сказал он, — я. Арид! Помолодели только те клетки, которые не ведают памятью. Житейский опыт остался прежним. Мое «я» тоже не изменилось. Узнаете вы меня?

Эроя готова была расплакаться. Перед ней стоял юноша. Она искала в чертах его лица прежнего Арида — зрелого и мудрого дильнейца. Но этот дильнеец исчез. Вместо него здесь стоял юноша — жизнерадостный и охмелевший от избытка сил.

— Это я! Я! Арид! — повторял он все менее и менее уверенным голосом, словно сам сомневаясь в том, что это был он. — Я! Я! Неужели вы мне не верите?

— Пока еще не очень!

— Я тоже испытал это, когда взглянул на себя в зеркало. Но я знал себя таким. Это было двадцать лет тому назад. Возвратилось мое прошлое. Его вернула мне наука.

— Но зачем? К чему? Я знала вас, а не ваше прошлое. Я ждала вас. Но вместо вас пришел другой. Ваш брат, ваш тезка, но не вы. Неужели вы не понимаете, какое у меня сейчас чувство? Я не нуждаюсь в иллюзии, в обмане.

— Это не иллюзии, не обман. Это истина. Моим клеткам пришлось вспомнить то, что было записано в них двадцать лет тому назад. Меня вернули в прошлое.

— Но мне нужно ваше настоящее, а не прошлое. Вы, а не воспоминание о том, каким вы были в юности.

— Я не воспоминание. Я — реальный дильнеец. Поймите!

— Но дело же не в том, реальный вы или нереальный. Важно то, что вы уже не тот, а другой. Вы юноша, а я знала зрелого дильнейца. Что осталось от него, кроме имени?

— Но я тот же. Совершенно тот же, каким был, каким вы меня знали. Помолодели только клетки. Сознание осталось то же. Личность не изменилась. Я помню все, что помнил до того, как подверг себя эксперименту. С кого-то надо было начинать. Я решил, что надо начать с самого себя... Разве я поступил неэтично?

— Я не осуждаю вас за это. Я только говорю, что передо мною не тот Арид, которого я знала и ждала. Где мне найти его?

— Его уже нет. Вместо него — я!

— Но между нами время. Разве вы этого не чувствуете? Время! Я осталась такой же, какой была. А вы резко изменились. Вы вернулись в прошлое, в свою юность.

— Но и вы можете это сделать. Достаточно...

— Я этого не хочу. Я не хочу расставаться со своим возрастом. Не хочу. Я стала стареть. На днях, причесываясь, я увидела седой волос. Я не стала его вырывать. Зачем? Он часть меня, результат моих переживаний. Пятнадцать лет тому назад я была юной. На моем лице не было морщин. Но я не требую ни от судьбы, ни от науки. чтобы мне вернули прожитое. Оно стало частью моего опыта. Вы утверждаете, что изменились только внешне. Но возможно ли это? Ведь между внешностью и внутренней жизнью должно быть единство. Хорошо ли, когда за внешностью юноши прячется душа зрелого мужа или старика?

Арид ничего не ответил на ее слова. Он молча вышел.

Рассказывает Веяд

Ларвеф ремонтировал свой летательный аппарат. Мы думали, что он нарочно занимал себя, чтобы убить время и не сидеть без дела. Мы были почти уверены в этом. Какой смысл ремонтировать машину, неспособную преодо-

леть сколько-нибудь значительное расстояние? Но ни я, ни Туаф, ни электронный портрет Эрои, тоже обладавший способностью удивляться и размышлять, — никто из нас не решился спросить Ларвефа о его намерениях. Держался он так, словно не зависел от законов природы. Правда, он имел на это некоторые права. Ведь у него были иные взаимоотношения с временем, чем у других дильнейцев. Но тут дело шло не только о времени, а прежде всего о пространстве. Уэра была слишком далеко от Дильнеи и других населенных мест, чтобы кто-нибудь отважился лететь на легком летательном аппарате, предназначенном для преодоления близких дистанций. Но от Уэры все было далеко, слишком далеко.

Ларвеф работал. Он был занят так, что его не хватало на разговор. Прошло то время, когда он рассказывал о посещении далекой планеты, называвшейся так странно — «Земля». Сейчас ему было не до бесед. Он спешил. Куда? В неизвестность. Он как-то сказал нам, что не намерен сидеть на искусственном острове и ждать. Уж не предпочитал ли он верную гибель длительному ожиданию? Едва ли. Он был смелым, более того, дерзким искателем, но он любил жизнь не меньше, чем неизвестность. Он хотел побывать еще раз на Земле, побывать через двести лет, и срок истекал. Не надеялся ли он, что встретит космолет где-нибудь на близком расстоянии от Уэры? Это было маловероятно. Но мы молчали — я и Туаф. Мы делали вид, что это нас не касалось.

Однажды, вернувшись домой с прогулки, я и Туаф услышали заинтересовавшие нас слова. Ларвеф разговаривал с электронным портретом Эрои. Он так был увлечен беседой, что не слышал, как подошли мы. Я запомнил, а потом записал этот разговор.

Э р о я. Вы собираетесь покинуть нас?

Л а р в е ф. Собираюсь.

Э р о я. Я привыкла к вам. Мне будет грустно. И к тому же я буду беспокоиться о вашей судьбе.. Пространство огромно, а летательный аппарат ненадежен. В нем слишком мал запас энергии.

Л а р в е ф. Октуда вам это известно?

Э р о я. От Веяда.

Л а р в е ф. Разумнее ждать. Но я согласовал свое решение не только с разумом, с чувствами тоже. Меня зовет даль. Я хочу рискнуть, попытаться выбраться из этой

ловушки. Из ста шансов девяносто девять, что меня проглотит пространство. Но раз есть хоть один шанс, я все же рискну. Мне не раз приходилось рисковать, побеждая обстоятельства и собственные недостатки и слабости. Хотите, я возьму вас с собой?

Э р о я. Я боюсь.

Л а р в е ф (*нежно*). Не надо бояться. Я буду возле вас. Я не брошу вас в беде.

Э р о я. Нет, мне страшно. Я боюсь. Я лучше останусь здесь, на Уэре. Здесь есть опора для ног.

Л а р в е ф (*удивленно*). Но у вас нет ни рта, ни ног. Зачем вам опора?

Э р о я. Оставайтесь, не улетайте.

Л а р в е ф. Тише! Они с минуты на минуту могут прийти. Поговорим в другой раз.

Ни мне, ни Туафу не удалось узнать, о чем они говорили в следующий раз.

Это случилось скоро, скорее, чем мы ожидали. Ларвеф исчез. Он улетел на своем легком аппарате. И вместе с ним исчезло изображение Эрои, запись ее внутреннего мира. Добровольно ли она отправилась с ним в рискованный рейс или он ее увез, не считаясь с ее желанием остаться, мы так и не узнали. Да и почему он должен был считаться с тем, кто хоть и считал себя живым существом, но на самом деле был вещью, изображением Эрои, моделью чужого ума и чужих чувств?

Павлушин разыскивает Ларвефа

И все же, видно, не случайно я нашел удивительную книгу в сквере возле памятника Пушкину.

Может, тот, кто ее принес туда, видел меня и захотел сделать посредником между жителями Земли и обитателями далекой планеты Дильнеи?

Эта мысль возникла во мне не сразу. Но возникнув, она уже не давала мне покоя.

Я снова и снова перечитывал историю Веяда, Туафа, Арида, Эрои и ее электронного отражения, историю Ларвефа, который, по всей вероятности, и был главным героем этой книги.

Разумеется, книгу в сквере оставил Ларвеф. Но как он сумел попасть на Землю? Значит, ему удалось встретить космический корабль прежде, чем иссякла энергия на легком аппарате, которому он вручил свою судьбу? На этот вопрос может ответить только он. Нужно только его разыскать. Он где-то здесь, на Земле, среди нас.

Эта мысль не давала мне покоя. Сквозь ее призму я видел все, что меня окружало. Казалось, на мир смотрел не я, скромный геолог, а сам Ларвеф, сумевший победить время и дважды посетить Землю.

Он побывал в нашем городе двести лет назад и видел его теперь.

На каждый дом, на каждое дерево, на каждого человека я смотрел теперь глазами Ларвефа.

Мир был нов и прекрасен, я буквально хмелел от сильного ощущения свежести бытия. В каждом лице, в каждой улыбке, в выражении всех глаз, смотревших вдаль, я замечал то, на что не обращал внимания раньше: любознательность, желание увидеть будущее. Может, они, мои современники, догадывались, что среди нас ходит посланец из другого мира, дильнеец Ларвеф, влюбленный в нашу планету и сумевший победить все неслыханные трудности, чтобы попасть сюда, к нам.

Почему же он еще не заявил о себе, не пришел в редакцию газеты или на студию телевидения? Почему он откладывает знакомство с нами?

Я задал себе этот вопрос, но не сумел на него ответить. Может, он ждет, когда все прочтут книгу, которую он доставил, и мысленно освоят его мир?

Как мне хотелось найти его! Но его адрес не могли мне дать в адресном столе, и ни одна справочная не знала его телефона.

Как-то раз я сказал об этом своим приятелям-геологам, И один из них ответил не то шутя, не то серьезно:

— Ты ищешь его адрес, адрес путешественника, победителя времени и пространства. Я знаю этот адрес. Это внутренний мир каждого из нас. В нашем сердце живет желание победить все препятствия и осуществить мечту,

С. Гансовский

ДЕНЬ ГНЕВА

Р а с с к а з

Председатель комиссии. Вы читаете на нескольких языках, знакомы с высшей математикой и можете выполнять кое-какие работы. Считаете ли вы, что это делает вас Человеком?

Отарк. Да, конечно. А разве люди знают что-нибудь еще?

(Из допроса отарка. Материалы Государственной комиссии).

Двое всадников выехали из поросшей густой травой долины и начали подниматься в гору. Впереди на горбоносом чалом жеребце лесничий, а Дональд Бетли на рыжей кобыле за ним. На каменистой тропе кобыла споткнулась и упала на колени. Задумавшийся Бетли чуть не свалился, потому что седло — английское скаковое седло с одной подпругой — съехало лошади на шею.

Лесничий подождал его наверху.

— Не позволяйте ей опускать голову, она спотыкается.

Бетли, закусив губу, бросил на него досадливый взгляд. Черт возьми, об этом можно было предупредить и раньше! Он злился также и на себя, потому что кобыла обманула его. Когда Бетли ее седлал, она надула брюхо, чтобы потом подпруга была совсем свободной.

Он так натянул повод, что лошадь заплясала и отдала назад.

Тропа опять стала ровной. Они ехали по плоскогорью, и впереди поднимались одетые хвойными лесами вершины холмов.

Лошади шли длинным шагом, иногда сами переходя на рысь и стараясь перегнать друг друга. Когда кобылка выдвигалась вперед, Бетли делались видны загорелые, чисто выбритые худые щеки лесничего и его угрюмые глаза, устремленные на дорогу. Он как будто вообще не замечал своего спутника.

«Я слишком непосредственен, — думал Бетли. — И это мне мешает. Я с ним заговаривал уже раз пять, а он либо отвечает мне односложно, либо вообще молчит. Не ставит меня ни во что. Ему кажется, что если человек разговорчив, значит, он болтун и его не следует уважать. Просто они тут в глуши не знают меры вещей. Думают, что это ничего не значит — быть журналистом. Даже таким журналистом, как... Ладно, тогда я тоже не буду к нему обращаться. Плевать!..»

Но постепенно настроение его улучшилось. Бетли был человек удачливый и считал, что всем другим должно так же нравиться жить, как и ему. Замкнутость лесничего его удивляла, но вражды к нему он не чувствовал.

Погода, с утра дурная, теперь прояснилась. Туман рассеялся. Мутная пелена в небе разошлась на отдельные облака. Огромные тени быстро бежали по темным лесам и ущельям, и это подчеркивало суровый, дикий и какой-то свободный характер местности.

Бетли похлопал кобылку по влажной, пахнущей потом шее.

— Тебе, видно, спутывали передние ноги, когда отпускали в ночное, и от этого ты спотыкаешься. Ладно, мы еще столкнемся.

Он дал лошади повод и нагнал лесничего.

— Послушайте, мистер Меллер, а вы и родились в этих краях?

— Нет, — сказал лесничий не оборачиваясь.

— А где?

— Далеко.

— А здесь давно?

— Давно, — Меллер повернулся к журналисту. — Вы бы лучше потише разговаривали. А то они могут услышать.

— Кто они?

— Отарки, конечно. Один услышит и передаст другим. А то и просто может подстеречь, прыгнуть сзади и разо-

рвать... Да и вообще лучше, если они не будут знать, зачем мы сюда едем.

— Разве они часто нападают? В газетах писали, таких случаев почти не бывает.

Лесничий промолчал.

— А они нападают сами? — Бетли невольно оглянулся. — Или стреляют тоже? Вообще оружие у них есть? Винтовки или автоматы?

— Они стреляют очень редко. У них же руки не так устроены... Тьфу, не руки, а лапы! Им неудобно пользоваться оружием.

— Лапы, — повторил Бетли, — Значит, вы их здесь за людей не считаете?

— Кто? Мы?

— Да, вы. Местные жители.

Лесничий сплюнул.

— Конечно, не считаем. Их здесь ни один человек за людей не считает.

Он говорил отрывисто. Но Бетли уже забыл о своем решении держаться замкнуто.

— Скажите, а вы с ними разговаривали? Правда, что они хорошо говорят?

— Старые хорошо. Те, которые были еще при лаборатории... А молодые хуже. Но все равно, молодые еще опаснее. Умнее, у них и головы в два раза больше. — Лесничий вдруг остановил коня. В голосе его была горечь. — Послушайте, зря мы все это обсуждаем. Все напрасно. Я уже десять раз отвечал на такие вопросы.

— Что напрасно?

— Да вся эта наша поздка. Ничего из нее не получится. Все останется, как прежде.

— Но почему останется? Я приехал от влиятельной газеты. У нас большие полномочия. Материал готовится для сенатской комиссии. Если выяснится, что отарки действительно представляют такую опасность, будут приняты меры. Вы же знаете, что на этот раз собираются послать войска против них.

— Все равно ничего не выйдет, — вздохнул лесничий. — Вы же не первый сюда приезжаете. Тут через год кто-нибудь бывает, и все интересуются только отарками. Но не людьми, которым приходится с отарками жить. Каждый спрашивает: «А правда, что они могут изучить геометрию?.. А верно, что есть отарки, которые понимают те-

орию относительности?» Как будто это имеет какое-нибудь значение! Как будто из-за этого их не нужно уничтожать!

— Но я для того и приехал, — начал Бетли, — чтобы подготовить материал для комиссии. И тогда вся страна узнает, что...

— А другие, вы думаете, не готовили материалов? — перебил его Меллер. — Да и кроме того... Кроме того, как вы поймете здешнюю обстановку? Тут жить нужно, чтобы понять. Одно дело проехаться, а другое — жить все время. Эх!.. Да что говорить! Поедем. — Он тронул коня. — Вот отсюда уже начинаются места, куда они заходят. Вот от этой долины.

Журналист и лесничий были теперь на крутизне. Тропинка, змеясь, уходила из-под копыт коней все вниз и вниз. Далеко под ними лежала заросшая кустарником долина, перерезанная вдоль каменистой узкой речкой. Сразу от нее вверх поднималась стена леса, а за ней — в необозримой дали — забеленные снегами откосы Главного хребта.

Местность просматривалась отсюда на десятки километров, но нигде Бетли не мог заметить и признака жизни — ни дымка из трубы, ни стога сена. Казалось, край вымер.

Солнце скрылось за облаком, сразу стало холодно, и журналист вдруг почувствовал, что ему не хочется спускаться вниз за лесничим. Он зябко передернул плечами. Ему вспомнился теплый, нагретый воздух его городской квартиры, светлые и тоже теплые комнаты редакции. Но потом он взял себя в руки. «Ерунда! Я бывал и не в таких переделках. Чего мне бояться? Я прекрасный стрелок, у меня великолепная реакция. Кого еще они могли бы послать, кроме меня?» Он увидел, что Меллер взял из-за спины ружье и сделал то же самое со своим.

Кобыла осторожно переставляла ноги на узкой тропе.

Когда они спустились, Меллер сказал:

— Будем стараться ехать рядом. Лучше не разговаривать. Часам к восьми нужно добраться до фермы Стеглика. Там переночуем.

Они тронулись и ехали около двух часов молча. Поднялись вверх и обогнули Маунт-Битар так, что справа у них все время была стена леса, а слева обрыв, поросший кустарником, но таким мелким и редким, что там никто не

мог прятаться. Спустились к реке и по каменистому дну выбрались на асфальтированную, заброшенную дорогу, где асфальт потрескался и в трещинах пророс травой.

Когда они были на этом асфальте, Меллер вдруг остановил коня и прислушался. Затем он спешился, стал на колени и приложил ухо к дороге.

— Что-то неладно, — сказал он, поднимаясь. — Кто-то за нами скачет. Уйдем с дороги.

Бетли тоже спешился, и они отвели лошадей за канаву в заросли ольхи.

Минуты через две журналист услышал цокот копыт. Он приближался. Чувствовалось, что всадник гонит всю.

Потом через жухлые листья они увидели серую лошадь, скачущую торопливым галопом. На ней неумело сидел мужчина в желтых верховых брюках и дождевике. Он проехал так близко, что Бетли хорошо рассмотрел его лицо и понял, что видел уже этого мужчину. Он даже вспомнил, где. Вечером, в городке возле бара стояла компания. Человек пять или шесть, плечистых, крикливо одетых. И у всех были одинаковые глаза. Ленивые, полузакрытые, наглые. Журналист знал эти глаза — глаза гангстеров.

Едва всадник проехал, Меллер выскочил на дорогу.

— Эй!

Мужчина стал одерживать лошадь и остановился.

— Эй, подожди!

Всадник взгляделся, узнал, очевидно, лесничего. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом мужчина махнул рукой, повернул лошадь и поскакал дальше.

Лесничий смотрел ему вслед, пока звук копыт не затих вдаль. Потом он вдруг со стоном ударил себя кулаком по голове.

— Вот теперь-то уже ничего не выйдет! Теперь наверняка.

— А что такое? — спросил Бетли. Он тоже вышел из кустов.

— Ничего... Просто теперь конец нашей затее.

— Но почему? — Журналист посмотрел на лесничего и с удивлением увидел в его глазах слезы.

— Теперь все кончено, — сказал Меллер, отвернувшись

и тыльной стороной кисти вытер глаза. — Ах, гады! Ах, гады!

— Послушайте! — Бетли тоже начал терять терпение. — Если вы так будете нервничать, пожалуй, нам действительно не стоит ехать.

— Нервничать! — воскликнул лесничий. — По-вашему, я нервничаю? Вот посмотрите!

Взмахом руки он показал на еловую ветку с красными шишками, свесившуюся над дорогой шагах в тридцати от них.

Бетли еще не понял, зачем он должен на нее смотреть, как грянул выстрел, в лицо ему пахнул пороховой дымок, и самая крайняя отдельно висевшая шишка свалилась на асфальт.

— Вот как я нервничаю. — Меллер пошел в ольшаник за конем.

Они подъехали к ферме как раз, когда начало темнеть.

Из бревенчатого недостроенного дома вышел высокий чернобородый мужчина со всклоченными волосами и стал молча смотреть, как лесничий и Бетли расседлывают лошадей. Потом на крыльце появилась женщина, рыжая, с плоским невыразительным лицом и тоже непричесанная. А за ней — трое детей. Двое мальчишек восьми или девяти лет и девочка лет тринадцати, тоненькая, как нарисованная ломкой линией.

Все эти пятеро не удивились приезду Меллера и журналиста, не обрадовались и не огорчились. Просто стояли и молча смотрели. Бетли это молчание не понравилось.

За ужином он попытался завести разговор.

— Послушайте, как вы тут управляетесь с отарками? Очень они вам досаждают?

— Что? — чернобородый фермер приложил ладонь к уху и переглянулся через стол. — Что? — крикнул он. — Говорите громче. Я плохо слышу.

Так продолжалось несколько минут, и фермер упорно не желал понимать, чего от него хотят. В конце концов он развел руками. Да, отарки здесь бывают. Мешают ли они ему? Нет, лично ему не мешают. А про других он не знает. Не может ничего сказать.

В середине этого разговора тонкая девочка встала, запахнулась в платок и, не сказав никому ни слова, вышла.

Как только все тарелки опустели, жена фермера принесла из другой комнаты два матраса и принялась стелить для приезжих.

Но Меллер ее остановил:

— Пожалуй, мы лучше переночуем в сарае.

Женщина, не отвечая, выпрямилась. Фермер поспешно встал из-за стола.

— Почему? Переночуйте здесь.

Но лесничий уже брал матрасы.

В сарай высокий фермер проводил их с фонарем. С минуту смотрел, как они устраиваются, и один момент на лице у него было такое выражение, будто он собирается что-то сказать. Но он только поднял руку и почесал голову. Потом ушел.

— Зачем все это? — спросил Бетли. — Неужели отарки и в дома забираются?

Меллер поднял с земли толстую доску и припер ею тяжелую крепкую дверь, проверив, чтобы доска не соскользнула.

— Давайте ложиться, — сказал он. — Всякое бывает. В дома они тоже забираются.

Журналист сел на матрас и принялся расшнуровывать ботинки.

— А скажите, настоящие медведи тут остались? Не отарки, а настоящие дикие медведи. Тут ведь вообще-то много медведей водится, в этих лесах?

— Ни одного, — ответил Меллер. — Первое, что отарки сделали, когда они из лаборатории вырвались, с острова, — это они настоящих медведей уничтожили. Волков тоже. Еноты тут были, лисицы — всех в общем. Яду взяли в разбитой лаборатории, мелкоту ядом травили. Здесь по всей округе дохлые волки валялись — волков они почему-то не ели. А медведей сожрали всех. Они ведь и сами своих даже иногда едят.

— Своих?..

— Конечно, они ведь не люди. От них не знаешь, чего ждать.

— Значит, вы их считаете просто зверьми?

— Нет. — Лесничий покачал головой. — Зверьми мы их не считаем. Это только в городах спорят, люди они или звери. Мы-то здесь знаем, что они и ни то и ни другое. Понимаете, раньше было так: были люди, и были звери. И все. А теперь есть что-то третье — отарки. Это

в первый раз такое появилось, за все время, пока мир стоит. Отарки не звери — хорошо, если б они были только зверьми. Но и не люди, конечно.

— Скажите, — Бетли чувствовал, что ему все-таки не удержаться от вопроса, банальность которого он понимал, — а верно, что они запросто овладевают высшей математикой?

Лесничий вдруг резко повернулся к нему.

— Слушайте, заткнитесь насчет математики, наконец! Заткнитесь! Я лично гроша ломаного не дам за того, кто знает высшую математику. Да, математика для отарков хоть бы хны! Ну и что?.. Человеком нужно быть — вот в чем дело.

Он отвернулся и закусил губу.

«У него невроз, — подумал Бетли. — Да еще очень сильный. Он больной человек».

Но лесничий уже успокаивался. Ему было неудобно за свою вспышку. Помолчав, он спросил:

— Извините, а вы его видели?

— Кого?

— Ну, этого гения. Фидлера.

— Фидлера?.. Видел. Я с ним разговаривал перед самым выездом сюда. По поручению газеты.

— Его там, наверное, держат в целлофановой обертке? Чтобы на него капелька дождя не упала.

— Да, его охраняют, — Бетли вспомнил, как у него проверили пропуск и обыскали его в первый раз возле стены, окружающей Научный центр. Потом еще проверка, и снова обыск — перед въездом в институт. И третий обыск — перед тем, как впустить его в сад, где к нему и вышел сам Фидлер. — Его охраняют. Но он действительно гениальный математик. Ему тринадцать лет было, когда он сделал свои «Поправки к общей теории относительности». Конечно, он необыкновенный человек, верно ведь?

— А как он выглядит?

— Как выглядит?

Журналист замялся. Он вспомнил Фидлера, когда тот в белом просторном костюме вышел в сад. Что-то неловкое было в его фигуре. Широкий таз, узкие плечи. Короткая шея... Это было странное интервью, потому что Бетли чувствовал, что проинтервьюировали скорее его самого. То есть Фидлер отвечал на его вопросы. Но как-

то несерьезно. Как будто он посмеивался над журналистом и вообще над всем миром обыкновенных людей там, за стенами Научного центра. И спрашивал сам. Но какие-то дурацкие вопросы. Разную ерунду вроде того, например, любит ли Бетли морковный сок. Как если бы этот разговор был экспериментальным — он, Фидлер, изучает обыкновенного человека.

— Он среднего роста, — сказал Бетли. — Глаза маленькие... А вы разве его не видели? Он же тут бывал, на озере и в лаборатории.

— Он приезжал два раза — ответил Меллер. — Но с ним была такая охрана, что простых смертных и на километр не подпускали. Тогда еще отарков держали за загородкой, и с ними работали Рихард и Клейн. Клейна они потом съели. А когда отарки разбежались, Фидлер здесь уже не показывался... Что же он теперь говорит насчет отарков?

— Насчет отарков?.. Сказал, что то был очень интересный научный эксперимент. Очень перспективный. Но теперь он этим не занимается. У него что-то связанное с космическими лучами... Говорил еще, что сожалеет о жертвах, которые были.

— А зачем это все было сделано? Для чего?

— Ну, как вам сказать?.. — Бетли задумался. — Понимаете, в науке ведь так бывает: «А что, если?» Из этого родилось много открытий.

— В каком смысле — «А что, если?»

— Ну, например: «А что, если в магнитное поле поместить проводник под током?» И получился электродвигатель... Короче говоря, действительно, эксперимент.

— Эксперимент, — Миллер скрипнул зубами. — Сделали эксперимент — выпустили людоедов на людей. А теперь про нас никто и не думает. Управляйтесь сами, как знаете. Фидлер уже плюнул на отарков и на нас тоже. А их тут расплодилось сотни, и никто не знает, что они против людей замышляют. — Он помолчал и вздохнул. — Эх, подумать только, что пришло в голову! Сделать зверей, чтобы они были умнее, чем люди. Совсем уж обалдели там, в городах. Атомные бомбы, а теперь вот это. Наверное, хотят, чтобы род человеческий совсем кончился.

Он встал, взял заряженное ружье и положил рядом с собой на землю.

— Слушайте, мистер Бетли. Если будет какая-нибудь тревога, кто-нибудь станет стучаться к нам или ломиться, вы лежите, как лежали. А то мы друг друга в темноте перестреляем. Вы лежите, а я уж знаю, что делать. Я так натренировался, что, как собака, просыпаюсь от одного предчувствия.

Утром, когда Бетли вышел из сарая, солнце светило так ярко и вымытая дождем зелень была такая свежая, что все ночные разговоры показались ему всего лишь страшными сказками.

Чернобородый фермер был уже на своем поле — его рубаха пятнышком белела на той стороне речки. На миг журналисту подумалось, что, может быть, это и есть счастье — вот так вставать вместе с солнцем, не зная тревог и забот сложной городской жизни, иметь дело только с рукояткой лопаты, с комьями бурой земли.

Но лесничий быстро вернул его к действительности. Он появился из-за сарая с ружьем в руке.

— Идемте, покажу вам одну штуку.

Они обошли сарай и вышли в огород с задней стороны дома. Тут Меллер повел себя странно. Согнувшись, перебежал кусты и присел в канаве возле картофельных гряд. Потом знаком показал журналисту сделать то же самое.

Они стали обходить огород по канаве. Один раз из дома донесся голос женщины, но что она говорила, было не разобрать.

Меллер остановился.

— Вот посмотрите.

— Что?

— Вы же говорили, что вы охотник. Смотрите!

На лысинке между космами травы лежал четкий пятипалый след.

— Медведь? — с надеждой спросил Бетли.

— Какой медведь? Медведей уже давно нет.

— Значит, отарк?

Лесничий кивнул.

— Совсем свежие, — прошептал журналист.

— Ночные следы, — сказал Меллер. — Видите, засырели. Это он еще до дождя был в доме.

— В доме? — Бетли почувствовал холодок в спине, как

прикосновение чего-то металлического. — Прямо в доме?

Лесничий не ответил, кивком показал журналисту в сторону канавы, и они молча проделали обратный путь.

У сарая Меллер подождал, пока Бетли отдышится.

— Я так и подумал вчера. Еще когда мы вечером приехали и Стеглик стал притворяться, что плохо слышит. Просто он старался, чтобы мы громче говорили и чтобы отарку все было слышно. А отарк сидел в соседней комнате.

Журналист почувствовал, что голос у него хрипнет.

— Что вы говорите? Выходит, здесь люди объединяются с отарками? Против людей же!

— Вы тише, — сказал лесничий. — Что значит «объединяются»? Стеглик ничего и не мог поделать. Отарк пришел и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на заправленную постель в спальне. А то и просто выгонит людей из дома и занимает его на сутки или на двое.

— Ну а люди-то что? Так и терпят? Почему они в них не стреляют?

— Как же стрелять, если в лесу другие отарки? А у фермера дети, и скотина, которая на лугу пасется, и дом, который можно поджечь... Но главное — дети. Они же ребенка могут взять. Разве уследишь за малышами? И кроме того, они тут у всех ружья взяли. Еще в самом начале. В первый год.

— И люди отдали?

— А что сделаешь? Кто не отдавал, потом раскаялись...

Он не договорил, и вдруг уставился на заросль ивняка шагах в пятнадцати от них.

Все дальнейшее произошло в течение двух-трех секунд.

Меллер вскинул ружье и взвел курок. Одновременно над кустарником поднялась бурая масса, сверкнули большие глаза, злые и испуганные, раздался голос:

— Эй, не стреляйте! Не стреляйте!

Инстинктивно журналист схватил Меллера за плечо. Грянул выстрел, но пуля только сбила ветку. Бурая масса сложилась вдвое, шаром прокатилась по лесу и исчезла между деревьями. Несколько мгновений слышался треск кустарника, потом все смолкло.

— Какого черта! — Лесничий в бешенстве обернулся. — Почему вы это сделали?

Журналист, побледневший, прошептал:

— Он говорил, как человек... Он просил не стрелять. Секунду лесничий смотрел на него, потом гнев его сменился усталым равнодушием. Он опустил ружье.

— Да, пожалуй... В первый раз это производит впечатление.

Позади них раздался шорох. Они обернулись.

Жена фермера сказала:

— Пойдемте в дом. Я уже накрыла на стол.

Во время еды все делали вид, будто ничего не произошло.

После завтрака фермер помог оседлать лошадей. Попрощались молча.

Когда они поехали, Меллер спросил:

— А какой у вас, собственно, план? Я толком и не понял. Мне сказали, что я должен проводить тут вас по горам, и все.

— Какой план?.. Да вот и проехать по горам. Повидать людей — чем больше, тем лучше. Познакомиться с отарками, если удастся. Одним словом, почувствовать атмосферу.

— На этой ферме вы уже почувствовали?

Бетли пожал плечами.

Лесничий вдруг придержал коня.

— Тише...

Он прислушивался.

— За нами бегут... На ферме что-то случилось.

Бетли еще не успел поразиться слуху лесничего, как сзади раздался крик:

— Эй! Меллер, эй!

Они повернули лошадей, к ним, задыхаясь, бежал фермер. Он почти упал, взявшись за луку седла Меллера.

— Отарк взял Тину. Потащил к Лосиному оврагу.

Он хватал ртом воздух, со лба падали капли пота.

Одним махом лесничий подхватил фермера на седло. Его жеребец рванулся вперед, грязь высоко брызнула из-под копыт.

Никогда прежде Бетли не подумал бы, что он может с такой быстротой мчаться на коне по пересеченной местности. Ямы, стволы поваленных деревьев, кустарники, канавы неслись под ним, сливаясь в каком-то бешеном ритме. Где-то веткой с него сбило фуражку, он даже не заметил.

Впрочем, это и не зависело от него. Его лошадь в яростном соревновании старалась не отстать от жеребца. Бетли обхватил ее за шею. Каждую секунду ему казалось, что он сейчас будет убит.

Они проскакали лесом, большой поляной, косогором, обогнали жену фермера и спустились в большой овраг.

Тут лесничий прыгнул с коня и, сопровождаемый фермером, побежал узкой тропкой в чащу редкого молодого просвечивающего сосняка.

Журналист тоже оставил кобылу, бросив повод ей на шею, и кинулся за Меллером. Он бежал за лесником, и в уме у него автоматически отмечалось, как удивительно переменился тот. От прежней нерешительности и апатии Меллера не осталось ничего. Движения его были легкими и собранными, ни секунды не задумываясь, он менял направление, перескакивал ямы, подлезал под низкие ветви. Он двигался, как будто след отарка был проведен перед ним жирной меловой чертой.

Некоторое время Бетли выдерживал темп бега, потом стал отставать. Сердце у него прыгало в груди, он чувствовал удушье и жжение в горле. Он перешел на шаг, несколько минут брел в чаще один, потом услышал впереди голоса.

В самом узком месте оврага лесничий стоял с ружьем наготове перед густой зарослью орешника. Тут же был отец девушки.

Лесничий сказал раздельно:

— Отпусти ее. Иначе я тебя убью.

Он обращался туда, в заросль.

В ответ раздалось рычанье, перемежаемое детским плачем.

Лесничий повторил:

— Иначе я тебя убью. Я жизнь положу, чтобы тебя выследить и убить. Ты меня знаешь.

Снова раздалось рычанье, потом голос — но не человеческий, а какой-то граммофонный, вяжущий все слова в одно — спросил:

— А так ты меня не убьешь?

— Нет, — сказал Меллер. — Так ты уйдешь живой.

В чаще помолчали. Раздавались только всхлипывания.

Потом послышался треск ветвей, белое мелькнуло в кустарнике. Из заросли вышла тоненькая девушка. Од-

на рука была у нее окровавлена, она придерживала ее другой.

Всхлипывая, она прошла мимо трех мужчин, не поворачивая к ним головы, и побрела, пошатываясь, к дому.

Все трое проводили ее взглядом.

Чернобородый фермер посмотрел на Меллера и Бетли. В его широко раскрытых глазах было что-то такое режущее, что журналист не выдержал и опустил голову.

— Вот, — сказал фермер,

Они остановились переночевать в маленькой пустой сторожке в лесу. До озера с островом, на котором когда-то была лаборатория, оставалось всего несколько часов пути, но Меллер отказался ехать в темноте.

Это был уже четвертый день их путешествия, и журналист чувствовал, что его испытанный оптимизм начинает давать трещины. Раньше на всякую случившуюся с ним неприятность у него наготове была фраза: «А все-таки жизнь чертовски хорошая штука». Но теперь он понимал, что это дежурное изречение, вполне годившееся, когда в комфортабельном вагоне едешь из одного города в другой илиходишь через стеклянную дверь в вестибюль отеля, чтобы встретиться с какой-нибудь знаменитостью, — что это изречение решительно неприменимо для случая со Стегликом, например.

Весь край казался пораженным болезнью. Люди были апатичны, неразговорчивы. Даже дети не смеялись.

Однажды он спросил у Меллера, почему фермеры не уезжают отсюда. Тот объяснил, что все, чем местные жители владеют, — это земля. Но теперь ее невозможно было продать. Она обесценилась из-за отарков.

Бетли спросил:

— А почему вы не уезжаете?

Лесничий подумал. Он закусил губу, помолчал, потом ответил:

— Все же я приношу какую-то пользу. Отарки меня боятся. У меня ничего здесь нет. Ни семьи, ни дома. На меня никак нельзя повлиять. Со мной можно только драться. Но это рискованно.

— Значит, отарки вас уважают?

Меллер недоуменно поднял голову.

— Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут.

Они же не люди. Только боятся. И это правильно. Я же их убиваю.

Однако на известный риск отарки все-таки шли. Лесничий и журналист оба чувствовали это. Было такое впечатление, что вокруг них постепенно замыкается кольцо. Три раза в них стреляли. Один выстрел был сделан из окна заброшенного дома, а два — прямо из леса. Все три раза после неудачного выстрела они находили медвежьи следы. И вообще следы отарков попадались им все чаще и чаще с каждым днем...

В сторожке, в сложенном из камней маленьком очаге, они разожгли огонь и приготовили себе ужин. Лесничий закурил трубку, печально глядя перед собой.

Лошадей они поставили напротив раскрытой двери сторожки.

Журналист смотрел на лесничего. За то время, пока они были вместе, с каждым днем все повышалось его уважение к этому человеку. Меллер был необразован, вся его жизнь прошла в лесах, он почти ничего не читал, с ним и двух минут нельзя было поддерживать разговора об искусстве. И тем не менее журналист чувствовал, что он не хотел бы себе лучшего друга. Суждения лесничего всегда были здравы и самостоятельны, если ему нечего было говорить, он молчал. Сначала он показался журналисту каким-то издерганным и раздражительно слабым, но теперь Бетли понимал, что это была давняя горечь за жителей большого заброшенного края, который по милости ученых постигла беда.

Последние два дня Меллер чувствовал себя больным. Его мучила болотная лихорадка. От высокой температуры лицо его покрылось красными пятнами.

Огонь прогорел в очаге, и лесничий неожиданно спросил:

— Скажите, а он молодой?

— Кто?

— Этот ученый. Фидлер.

— Молодой, — ответил журналист. — Ему лет тридцать. Не больше. А что?

— То-то и плохо, что он молодой, — сказал лесничий.

— Почему?

Меллер помолчал.

— Вот они, способные, их сразу берут и помещают в закрытую среду. И нянчатся с ними. А они жизни совсем

не знают. И поэтому не сочувствуют людям. — Он вздохнул. — Человеком сначала надо быть. А потом уже ученым.

Он встал.

— Пора ложиться. По очереди придется спать. А то отарки у нас лошадей зарежут.

Журналисту вышло бодрствовать первому.

Лошади похрупывали сеном возле небольшого прошлогодного стожка.

Он уселся у порога хижины, положив ружье на колени.

Темнота спустилась быстро, как накрыла. Потом глаза его постепенно привыкли к мраку. Взошла луна. Небо было чистое, звездное. Перекликаясь, где-то наверху пролетела стайка маленьких птичек, которые в отличие от крупных птиц, боясь хищников, совершают свои осенние кочевья по ночам.

Бетли встал и прошелся вокруг сторожки. Лес плотно окружал поляну, где стоял домик, и в этом была опасность. Журналист проверил, взведены ли курки у ружья.

Он стал перебирать в памяти события последних дней, разговоры, лица и подумал о том, как будет рассказывать об отарках, вернувшись в редакцию. Потом ему пришло в голову, что, собственно, эта мысль о возвращении постоянно присутствовала в его сознании и окрашивала в совсем особый цвет все, с чем ему приходилось встречаться. Даже когда они гнались за отарком, схватившим девочку, он, Бетли, не забывал, что как ни жутко здесь, но он сможет вернуться, уйти от этого.

«Я-то вернусь,— сказал он себе. — А Меллер? А другие?..»

Но эта мысль была слишком сурова, чтобы он решился сейчас додумывать ее до конца.

Он сел в тень от сторожки и стал размышлять об отарках. Ему вспомнилось название статьи в какой-то газете: «Разум без доброты». Это было похоже на то, что говорил лесничий. Для него отарки не были людьми, потому что не имели «сочувствия». Разум без доброты. Но возможно ли это? Может ли вообще существовать разум без доброты? Что начальнее? Не есть ли эта самая доброта следствие разума? Или наоборот?.. Действительно, уже установлено, что отарки, способнее людей к логическому мышлению, что они лучше понимают абстракцию и отвлеченность и лучше запоминают. Уже ходили слухи,

что несколько отарков из первой партии содержатся в Военном министерстве и посажены там за решение каких-то особых задач. Но ведь и «думающие машины» тоже используются для решения всяких особых задач. И какая тут разница?

Он вспомнил, как один из фермеров сказал им с Меллером, что недавно видел почти совсем голого отарка, и лесничий ответил на это, что отарки в последнее время все больше делаются похожими на людей. Неужели они и в самом деле завоюют мир? Неужели Разум без Доброты сильнее человеческого разума?

«Но это будет не скоро,— сказал он себе. — Даже если и будет. Во всяком случае, я-то успею прожить и умереть».

Но затем его тотчас ударило: дети! В каком мире они будут жить — в мире отарков или в мире кибернетических роботов, которые тоже не гуманны и тоже, как утверждают некоторые, умнее человека?

Его сынишка внезапно появился перед ним и заговорил:

— Папа, слушай. Вот мы — это мы, да? А они — это они. Но ведь они тоже думают про себя, что они — мы?

«Что-то вы слишком рано созреваете,— подумал Бетли. — В семь лет я не задавал таких вопросов».

Где-то сзади хрустнула ветка. Мальчик исчез.

Журналист тревожно огляделся и прислушался. Нет, все в порядке.

Летучая мышь косым трепещущим полетом пересекла поляну.

Бетли выпрямился. Ему пришло в голову, что лесничий что-то скрывает от него. Например, он еще не сказал, что это был за всадник, который в первый день обогнал их на заброшенной дороге.

Он опять оперся спиной о стену домика. Еще раз сын появился перед ним и снова с вопросом:

— Папа, а откуда все? Деревья, дома, воздух, люди? Откуда все это взялось?

Он стал рассказывать мальчику об эволюции мироздания, потом что-то остро кольнуло его в сердце, и Бетли проснулся.

Луна зашла. Но небо уже немного посветлело.

Лошадей на поляне не было. Вернее, одной не было, а вторая лежала на траве, и над ней копошились три се-

рые тени. Одна выпрямилась, и журналист увидел огромного отарка с крупной тяжелой головой, оскаленной пастью и большими, блещущими в полумраке глазами.

Потом где-то близко раздался шепот:

— Он спит.

— Нет, он уже проснулся.

— Подойди к нему.

— Он выстрелит.

— Он выстрелил бы раньше, если бы мог. Он либо спит, либо оцепенел от страха. Подойди к нему.

— Подойди сам.

А журналист действительно оцепенел. Это было как во сне. Он понимал, что случилось непоправимое, надвинулась беда, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Шепот продолжался:

— Но тот, другой. Он выстрелит.

— Он болен. Он не проснется... Ну, иди, слышишь!

С огромным трудом Бетли скосил глаза. Из-за угла сторожки показался отарк. Но этот был маленький, похожий на свинью.

Преодолевая оцепенение, журналист нажал на курки ружья. Два выстрела прогремели один за другим, две картечины унеслись в небо.

Бетли вскочил, ружье выпало у него из рук. Он бросился в сторожку, дрожа захлопнул за собой дверь и накинул щеколду.

Лесничий стоял с ружьем наготове. Его губы пошевелились, журналист скорее почувствовал, чем услышал вопрос:

— Лошади?

Он кивнул.

За дверью послышался шорох. Отарки чем-то подпирали ее снаружи.

Раздался голос:

— Эй, Меллер! Эй!

Лесничий метнулся к окошку, высунул было ружье. Тотчас черная лапа мелькнула на фоне светлеющего неба; он едва успел убрать двустволку.

Снаружи удовлетворенно засмеялись.

Грамофонный, растягивающий голос сказал:

— Вот ты и кончился, Меллер.

И, перебивая его, заговорили другие голоса:

— Меллер, Меллер, поговори с нами...

— Эй, лесник, скажи что-нибудь содержательное. Ты же человек, должен быть умным...

— Меллер, выскажись, и я тебя опровергну...

— Поговори со мной, Меллер. Называй меня по имени. Я Филипп...

Лесничий молчал.

Журналист неверными шагами подошел к окошку. Голоса были совсем рядом, за бревенчатой стеной. Несло звериным запахом — кровью, пометом, еще чем-то.

Тот отарк, который назвал себя Филиппом, сказал под самым окошком:

— Ты журналист, да? Ты, кто подошел?..

Журналист откашлялся. В горле у него было сухо.

Тот же голос спросил:

— Зачем ты приехал сюда?

Стало тихо.

— Ты приехал, чтобы нас уничтожили?

Миг опять была тишина, затем возбужденные голоса заговорили:

— Конечно, конечно, они хотят истребить нас... Сначала они сделали нас, а теперь хотят уничтожить...

Раздалось рычание, потом шум. У журналиста было такое впечатление, что отарки подрались.

Перебивая всех, заговорил тот, который называл себя Филиппом:

— Эй, лесник, что же ты не стреляешь? Ты же всегда стреляешь. Поговори со мной теперь.

Где-то сверху вдруг неожиданно ударил выстрел.

Бетли обернулся.

Лесничий взобрался на очаг, раздвинул жерди, из которых была сложена крыша, крытая сверху соломой, и стрелял.

Он выстрелил дважды, моментально перезарядил и снова выстрелил.

Отарки разбежались.

Меллер прыгнул с очага.

— Теперь нужно достать лошадей. А то нам туго придется.

Они осмотрели трех убитых отарков.

Один, молодой, действительно был почти голый, шерсть росла у него только на загривке.

Бетли чуть не стошнило, когда Меллер перевернул отарка на траве. Он сдержался, схватившись за рот.

Лесничий сказал:

— Вы помните, что они не люди. Хотя они и разговаривают. Они людей едят. И своих тоже.

Журналист осмотрелся. Уже рассвело. Поляна, лес, убитые отарки — все на миг показалось ему нереальным.

Может ли это быть?.. Он ли это, Дональд Бетли, стоит здесь?..

— Вот здесь отарк съел Клейна,— сказал Меллер. — Это один из наших рассказывал, из местных. Его тут наняли уборщиком, когда была лаборатория. И в тот вечер он случайно оказался в соседней комнате. И все слышал...

Журналист и лесничий были теперь на острове, в главном корпусе Научного центра. Утром они сняли седла с зарезанных лошадей и по дамбе перебрались на остров. У них осталось теперь только одно ружье, потому что двустолку Бетли отарки, убегая, унесли с собой. План Меллера состоял в том, чтобы засветло дойти до ближайшей фермы, взять там лошадей. Но журналист выговорил у него полчаса на осмотр заброшенной лаборатории.

— Он все слышал,— рассказывал лесничий. — Это было вечером, часов в десять. У Клейна была какая-то установка, которую он разбирал, возясь с электрическими проводами, а отарк сидел на полу, и они разговаривали. Обсуждали что-то из физики. Это был один из первых отарков, которых тут вывели, и он считался самым умным. Он мог говорить даже на иностранных языках... Наш парень мыл пол рядом и слышал их разговор. Потом наступило молчание, что-то грохнуло. И вдруг уборщик услышал: «О господи!..» Это говорил Клейн, и у него в голосе был такой ужас, что у парня ноги подкосились. Затем раздался истошный крик: «Помогите!» Уборщик заглянул в эту комнату и увидел, что Клейн лежит, извиваясь, на полу, а отарк гложет его. Парень от испуга ничего не мог делать и просто стоял. И только когда отарк пошел на него, он захлопнул дверь.

— А потом?

— Потом они убили еще двоих лаборантов и разбежались. А пять или шесть остались, как ни в чем не быва-

ло. И когда приехала комиссия из столицы, они с ней разговаривали. Этих увезли. Но позже выяснилось, что они в поезде съели еще одного человека...

В большой комнате лаборатории все оставалось, как было. На длинных столах стояла посуда, покрытая слоем пыли, в проводах рентгеновской установки пауки сплели свои сети. Только стекла в окнах были выбиты, и в проломы лезли ветви разросшейся одичавшей акации.

Меллер и журналист вышли из главного корпуса.

Бетли очень хотелось посмотреть установку для облущения, и он попросил у лесничего еще пять минут.

Асфальт на главной улочке брошенного поселка пророс травой и молодым, сильным уже кустарником. Посеннему было далеко видно и ясно. Пахло прелыми листьями и мокрым деревом.

На площади Меллер внезапно остановился.

— Вы ничего не слышали?

— Нет,— ответил Бетли.

— Я все думаю, как они все вместе стали осаждать нас в сторожке,— сказал лесничий. — Раньше такого никогда не было. Они всегда по одиночке действовали.

Он опять прислушался.

— Как бы они нам не устроили сюрприза. Лучше убираться отсюда поскорее.

Они дошли до приземистого круглого здания с узкими, забранными решеткой окнами. Массивная дверь была приоткрыта, бетонный пол у порога задернулся тонким ковриком лесного мусора — рыжими елочными иглами, пылью, крылышками мошкары.

Осторожно они вошли в первое помещение с нависающим потолком. Еще одна массивная дверь вела в низкий зал.

Они заглянули туда. Белка с пушистым хвостом, как огонек, мелькнула по деревянному столу и выпрыгнула в окно сквозь прутья решетки.

Миг лесничий смотрел ей вслед. Он прислушался, напряженно сжимая ружье, потом сказал:

— Нет, так не пойдет.

И поспешно двинулся обратно.

Но было поздно.

Снаружи донесся шорох, входная дверь, чавкнув, затворилась. Раздался шум, как если бы ее заваливали чем-нибудь тяжелым.

Секунду Меллер и журналист смотрели друг на друга, потом кинулись к окну.

Бетли выглянул наружу и отшатнулся.

Площадь и широкий высохший бассейн, неизвестно зачем когда-то построенный тут, заполнялись отарками. Их были десятки и десятки, и новые вырастали, как из-под земли. Гомон уже стоял над этой толпой не людей и не зверей, раздавались крики, рычание.

Ошеломленные, лесничий и Бетли молчали.

Молодой отарк недалеко от них стал на задние лапы. В передних у него было что-то круглое.

— Камень,— прошептал журналист, все еще не веря случившемуся. — Он хочет бросить камень.

Но это был не камень.

Круглый предмет пролетел, возле решетки ослепительно блеснуло, горький дым пахнул в стороны.

Лесничий шагнул от окна. На лице его было недоумение. Ружье выпало из рук, он схватился за грудь.

— Ух ты, черт! — сказал он и поднял руку, глядя на окровавленные пальцы. — Ух ты, дьявол! Они меня прикончили.

Бледнея, он сделал два неверных шага, опустился на корточки, потом сел к стене.

— Они меня прикончили.

— Нет! — закричал Бетли. — Нет! — Он дрожал, как в лихорадке.

Меллер, закусив губы, поднял к нему белое лицо.

— Дверь!

Журналист побежал к выходу. Там, снаружи, уже опять передвигали что-то тяжелое.

Бетли задвинул один засов, потом второй. К счастью, тут все было устроено так, чтобы накрепко запираться изнутри.

Он вернулся к лесничему.

Меллер уже лежал у стены, прижав руки к груди. По рубахе у него расползлось мокрое пятно. Он не позволил перевязать себя.

— Все равно,— сказал он. — Я же чувствую, что конец. Неохота мучиться. Не трогайте.

— Но ведь к нам придут на помощь! — воскликнул Бетли.

— Кто?

Вопрос прозвучал так голо, так открыто и безнадежно, что журналист похолодел.

Они молчали некоторое время, потом лесничий спросил:

— Помните, мы всадника видели еще в первый день?

— Да.

— Скорее всего, это он торопился предупредить отарков, что вы приехали. Тут у них связь есть: бандиты в городе и отарки. Поэтому отарки объединились. Вы этому не удивляйтесь. Я-то знаю, что если бы с Марса к нам прилетели какие-нибудь осьминоги, и то нашлись бы люди, которые с ними стали бы договариваться.

— Да,— прошептал журналист.

Время до вечера протянулось для них без изменений. Меллер быстро слабел. Кровотечение у него остановилось. Он так и не позволил трогать себя. Журналист сидел с ним рядом на каменном полу.

Отарки оставили их. Не было попыток ни ворваться через дверь, ни кинуть еще гранату. Гомон голосов за окнами то стихал, то возникал вновь.

Когда спустилось солнце и стало прохладнее, лесничий попросил напиток. Журналист напоил его из фляжки и вытер ему лицо водой.

Лесничий сказал:

— Может быть, это и хорошо, что появились отарки. Теперь станет яснее, что же такое Человек. Теперь-то мы будем знать, что Человек — это не такое существо, которое может считать и выучить геометрию. А что-то другое. Уж очень ученые загордились своей наукой. А она еще не всё.

Меллер умер ночью, а журналист жил еще три дня.

Первый день он думал только о спасении, переходил от отчаяния к надежде, несколько раз стрелял через окна, рассчитывая, что кто-нибудь услышит выстрелы и придет к нему на помощь.

К ночи он понял, что эти надежды иллюзорны. Его жизнь показалась ему разделенной на две никак не связанные между собой части. Больше всего его и терзало именно то, что они не были связаны никакой логикой и преемственностью. Одна жизнь была благопо-

лучной разумной жизнью преуспевающего журналиста, и она кончилась, когда он вместе с Меллером выехал из города к покрытым лесами горам Маунт-Беар. Эта первая жизнь никак не предопределяла, что ему придется погибнуть здесь на острове, в здании заброшенной лаборатории.

Во второй жизни все могло и быть и не быть. Она вся составила из случайностей. И вообще ее целиком могло не быть. Он волен был и не поехать сюда, отказавшись от этого задания редактора и выбрав другое. Вместо того, чтобы заниматься отарками, ему можно было вылететь в Нубию на работы по спасению древних памятников египетского искусства.

Нелепый случай привел его сюда. И это было самое жуткое.

Несколько раз он как бы переставал верить в то, что с ним произошло, принимался ходить по залу, трогать стены, освещенные солнцем, и покрытые пылью столы.

Отарки почему-то совсем потеряли интерес к нему. Их осталось мало на площади и в бассейне. Иногда они затевали драки между собой, а один раз Бетли с замиранием сердца увидел, как они набросились на одного из своих, разорвали его и принялись поедать.

Ночью он вдруг решил, что в его гибели будет виноват Меллер. Он почувствовал отвращение к мертвому лесничему и вытащил его тело в первое помещение к самой двери.

Час или два он просидел на полу, безнадежно повторяя:

— Господи, но почему же я?.. Почему именно я?..

На второй день у него кончилась вода, его стала мучить жажда. Но он уже окончательно понял, что спастись не может, успокоился, снова стал думать о своей жизни — теперь уже иначе. Ему вспомнилось, как еще в самом начале этого путешествия у него был спор с лесничим. Меллер сказал ему, что фермеры не станут с ним разговаривать. «Почему?», — спросил Бетли. «Потому что вы живете в тепле, в уюте, — ответил Меллер. — Потому что вы из верхних. Из тех, которые предавали их», — «Но почему я из верхних? — не согласился Бетли. — Денег я зарабатываю не на много больше, чем они?» — «Ну и что? — возразил лесничий. — У вас легкая, всегда праздничная работа. Все эти годы они тут

гибли, а вы писали свои статейки, ходили по ресторанам, вели остроумные разговоры...»

Он понял, что все это была правда. Его оптимизм, которым он так гордился, был, в конце концов, оптимизмом страуса. Он просто прятал голову от плохого. Читал в газетах о казнях в Алжире, о голоде в Индии, а сам думал, как собрать денег и обновить мебель в своей большой пятикомнатной квартире, каким способом еще на одно деление повысить хорошее мнение о себе у того или другого влиятельного лица. Отарки — отарки-люди — расстреливали протестующие толпы, спекулировали хлебом, втайне готовили новые войны, а он отворачивался, притворялся, будто ничего такого нет.

С этой точки зрения вся его прошлая жизнь вдруг оказалась, наоборот, накрепко связанной с тем, что случилось теперь. Никогда не выступал он против зла, и вот настало возмездие...

На второй день отарки под окном несколько раз заговаривали с ним. Он не отвечал.

Один отарк сказал:

— Эй, выходи, журналист. Мы тебе ничего не сделаем.

А другой, рядом, засмеялся.

Бетли снова думал о лесничем. Но теперь это были уже другие мысли. Ему пришло в голову, что лесничий был герой. И, собственно говоря, единственный настоящий герой, с которым ему, Бетли, пришлось встречаться. Один, без всякой поддержки, он выступил против отарков, боролся с ними и умер непобежденный.

На третий день у журналиста начался бред. Ему представилось, что он вернулся в редакцию своей газеты и диктует стенографистке статью.

Статья называлась: «Что же такое человек?»

Он громко диктовал:

— В наш век удивительного развития науки может показаться, что она в самом деле всесильна. Но попробуем представить себе, что создан искусственный мозг, вдвое превосходящий человеческий, и работоспособный. Будет ли существо, наделенное таким мозгом, с полным правом считаться Человеком? Что, действительно, делает нас тем, что мы есть? Способность считать, анализировать, делать логические выкладки, или нечто такое, что воспитано обществом, имеет связь с отношением

одного лица к другому и с отношением индивидуума к коллективу? Если взять пример отарков...

Но мысли его путались...

На третий день утром раздался взрыв. Бетли проснулся. Ему показалось, что он вскочил и держит ружье наготове. Но в действительности он лежал, обессиленный, у стены.

Морда зверя возникла перед ним. Мучительно напрягаясь, он вдруг вспомнил, на кого был похож Фидлер. На отарка!

Потом эта мысль сразу же смялась. Уже не чувствуя, как его терзают, в течение десятых долей секунды Бетли успел подумать, что отарки, в сущности, не так уж страшны, что их всего сотня или две в этом заброшенном краю. Что с ними справятся. Но люди!.. Люди!..

Он не знал, что весть о том, что пропал Меллер, уже разнеслась по всей округе, и доведенные до отчаяния фермеры выкапывали спрятанные ружья.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ

Р а с с к а з

1.

Жуткое настроение у меня, и весь последний год я сам не знаю, что со мной делается.

Кто я такой? Посмотрим трезво.

Меня зовут Миша Лебедев, мне пятнадцать лет, я перешел в восьмой класс и еще ничего в жизни не сделал. А другие в это время! Гагарин, например. Или Шампильон... То есть, Шампольон... Одним словом, который прочел египетские иероглифы. Ему десять лет было, когда он напечатал свою первую книгу — «Жизнеописание знаменитых собак».

В то же время сила воли у меня есть. Вот, например, терпилки. В прошлом году у нас в классе все стали увлекаться этими терпилками. Мальчишки, конечно. Возьмешь спичку, отломишь кусочек и воткнешь себе в руку. Возле большого пальца, где место такое мясистое. Потом зажжешь и терпишь, пока спичка вся не сгорит. Так вот этих терпилок я ставил штуки по три, и ничего. Терпел не хуже, чем другие ребята. Мать даже спрашивала, отчего у меня все руки в прыщах... Короче говоря, терпилки я могу. А вот заставить себя за геометрию сесть или гимнастику по утрам — не выходит.

Интересно, как же великие люди закаляли свою волю? Спартак, например, или Ломоносов?

Между прочим, я как раз хочу стать великим человеком. Вернее, я просто уверен, что буду. Хотя даже не знаю, в чем. Ничего меня особенно не привлекает, и талантов у меня никаких нету. Другие хоть там поют, рисуют, а я ничего. Просто самый обыкновенный. Даже хуже обыкновенного, потому что я слабо развит физически, и от этого у меня застенчивость. У нас, когда на физкультуре в спортивные игры играют, каждая команда старается от меня отделаться и спихнуть в другую. Поэтому я и сам ловчу, чтобы заболеть как-нибудь и не ходить на физкультуру...

Стоп! Калитка стукнула — мама идет с работы. (Она на работу здесь устроилась на два летних месяца, потому что у нас с деньгами туго). Эх, мама-мама! Каждый день ссоримся...

...Да, с завтрашнего дня начинаю делать зарядку. Каждое утро, не пропуская.

Мать ходила с соседкой прогуляться на пляж, а теперь легла спать.

Пока тут, вообще говоря, довольно скучно. Подобрал на берегу три красивые ракушки и нашел зеленый камешек. Думал, минерал, но потом оказалось, что просто осколок бутылочного стекла так отшлифовался об гальку...

Говорят, что тут совсем недалеко граница. Турция.

Начал делать зарядку. В саду на лесенке подтягиваюсь на руках. Сегодня три с половиной раза. Как и предвидела наша толстая соседка, сюда начинают съезжаться. Сегодня от нечего делать вертелся возле автобусной станции и видел много молодежи. На автомобиле приехала целая семья, и там парень лет шестнадцати. Потом на автобусе из Батуми еще две девочки с родными. Одна очень хорошенькая. В зеленом беретике...

Вообще, если честно говорить, я довольно влюбчивый. В прошлом году, например, влюбился в Тамару Конькову из 7-го «А». На переменках старался на глаза ей попасться. Она красивая. Глаза голубые, волосы такие рыжеватые. Как картинка. И я все представлял, как я ее из-под трамвая, например, спасаю, или как на историческом кружке читаю замечательный доклад, а она удивляется. А потом стою однажды в коридоре с одним парнем из их класса, с Ляховским. И эта Конькова навстречу идет. В учительскую, что ли. Вот Ляховский вдруг мне и говорит: «Хочешь, я сейчас пощупаю, из чего у нее кофточка сделана?» (Он даже грубее сказал. Мне в дневнике неохота писать). Я почему-то ответил, что хочу. Растерялся, наверно. На самом-то деле я, конечно, не хотел. Мне это и в голову не приходило. Ляховский подождал, пока она совсем

близко подошла и сделал вид, будто хочет что-то с пола поднять, а ее оттолкнуть, чтобы она не наступила. Он нагнулся, одной рукой по полу шарит, а другой прямо ей в грудь. А она не возмутилась и не отталкивает его. А только смотрит. И с такой усмешкой противной. Показывает, что все поняла, но что это ей не так уж и неприятно. Хотел я этому Ляховскому по роже дать, но потом раздумал. Потому что он все равно бы не понял, за что. Он такой тупарь-тупарь...

Все это время делаю зарядку и подтягиваюсь четыре раза свободно.

Ту девчонку каждый день на пляже вижу. На море она ходит в полосатом купальнике.

Молодежи уже много. И у них компания. Главный заводи́ла тот, который приехал с отцом и матерью на автомобиле. Зовут его Игорь. Он такой развитый, плечи широкие. В волейбол играет здорово, но уж очень воображает. И вообще неприятно. Станут все в кружок, а он пассивки дает только Але — той, которая была в беретике. Попадет ему мяч, он его в руках держит и все: «Аля!.. Алка!..» Чтобы она на него смотрела. А остальные стоят и ждут. Он себя так ведет, будто кроме него и Али на пляже никого нету.

Меня удивляет, как это другие не замечают, какой он задавала.

Познакомился я с этими ребятами. Лучше бы не знакомился... Эх, черт, все паршиво так получилось! Даже думать об этом не хочется.

Во-первых, они сегодня играли уже не в кружок, а через сетку. За вчерашний день кто-то столбы на пляже вырыл и натянул сетку.

Пришел я на пляж, вижу — столбы. Сел себе на всегдашнее свое место возле лодок. Раскрыл книгу.

Потом является вся их компания. Принесли мяч, стали команды составлять. Разделились пополам, а одного игрока у них не хватает. Тогда один парень — белобрысый такой, худощавый, его зовут Борис — кричит мне:

— Эй, играешь в волейбол?

Я ему говорю, что играю. Но негромко так сказал.

Он опять;

— Эй, будешь играть?

Ну, я встал, подошел к ним.

Начали играть, и сразу я на подачу попал. А подавать-то я как раз совсем не умею. И вообще играю довольно слабо. То есть, если мне хорошие пассовки давать, то я отвечаю неплохо. Но резать, например, совсем не могу.

Стал я подавать и не добил даже до сетки. Ладно, проиграли мы подачу. Потом несколько раз передвинулись, я уже у сетки стою, и мне надо Борису на резку подавать. Один раз я ему подал почти что хорошо, но немножко в сторону. Потому что и мне мяч как-то сбоку достался. В общем, он не срезал. Потом я опять ему подал, но тут уж вышло сразу через сетку.

Тогда мне одна девчонка говорит:

— Слушай, как тебя зовут?

Я отвечаю, что Миша.

— Ты стань вот сюда, на шестерку. А я буду Боре подавать.

Ну, пожалуйста. Стал на шестерку. А потом смотрю, они начинают без меня играть. Забирают все мои мячи. Мяч прямо на меня летит, а эта девчонка выскакивает и берет. Лена ее зовут, рыжая такая, высокая. И все другие тоже так, как будто меня на площадке совсем нет.

А это хуже всего, когда твои мячи начинают забирать. Потому что уже не знаешь, что тебе делать — бежать на свой мяч или не бежать.

Конечно, оно так и вышло. С той стороны стали подавать, и прямо на меня. А я стою. Жду, что эта Лена сейчас возьмет. А она тоже стоит. И мяч мне прямо в грудь ударил.

Тогда все начали орать, что я марала. А чего орать, если я из-за них самих не стал брать?

Мяч далеко откатился. Побежал я за ним, поднял, иду обратно. И вдруг вижу, что Лена мне улыбается. Радостно так. И все другие тоже. И Аля. Все стоят и улыбаются.

Ну, я сразу раскис и тоже улыбаюсь.

А потом чувствую, кто-то сзади меня стоит. Обернулся, — Игорь. Тот, широкоплечий. Раньше его не было, а теперь явился.

Оказывается, это они все ему улыбались.

А потом обе команды заорали:

— В нашу! Нет, в нашу!

В общем, заспорили. Лена, длинная, кричит:

— Давай к нам. Мы слабее. Наша проигрывает!

И сама как будто не знает, что в нашей команде все шесть человек.

Игорь тогда спрашивает:

— А сколько у вас народу?

Тут Лена поворачивается ко мне и начинает на меня смотреть. И все другие тоже на меня смотрят.

Лена говорит:

— Слушай, как тебя зовут?

(Один раз она уже спрашивала).

Я отвечаю, что Миша.

— Слушай, Миша, ты не хочешь отдохнуть? А мы сыграем.

Я молчу. Из принципа молчу. Потому что они сами виноваты, что я столько мячей пропустил. Если бы мне давали как следует, я бы тоже почти как они играл.

— Не отдохнешь?

Я опять молчу. И все другие тоже молчат.

Потом Борис говорит:

— Ладно. Доиграем так. После составим новую команду. Игорь, ты суди. Начали!

Все стали расходиться по местам. А Лена на меня так посмотрела, как будто я у нее украл что-нибудь. Презрительно-презрительно. И присвистнула. Я ее возненавидел сразу — жуть.

Кончилась эта игра,— мне почти ни разу и не дали мяча,— наша команда перешла на то поле. А про меня никто не вспомнил. Слова даже не сказали. И никто в мою сторону не посмотрел.

Я постоял-постоял — стыдно как-то было уходить. Потом все-таки пошел, сел возле лодок...

Зря я, конечно, с ними начал играть. Одному гораздо лучше.

Эх, кошки у меня на душе скребут! А тут еще соседка наша по даче бубнит под окном. Опять уговаривает маму гулять идти,

Вот она у нас противная — эта соседка. Ужас! Марья Иосифовна. Вся жирная такая, все у нее трясется, как желе. Бр-р-р! И еще нарочно выставляется. С утра халат снимет, и в одном купальнике ложится в саду. Причем на самом видном месте. В кусты не лезет, а на лужайку. Кто бы мимо забора ни шел, ей до всех дело. Приподнимется, вытянет шею, как гусыня, и провожает от одного угла до другого.

Отдыхать приехала. Муж в Ленинграде остался, а она прикатила. А чего ей отдыхать, когда она и так не работает?

И еще у нее привычка все время меня обсуждать. Причем при мне же. Как будто я глухой или собака. Когда мы втроем в саду — она, мама и я, только и слышишь: «Что это у вас Миша так сутулится? Что это у вас Миша такой бледненький?»

Теперь еще новую моду завела — без лифчика загорать. Чуть выйдешь в сад, сразу раздастся: «Миша, не смотри!» А кто на нее смотрит-то? Я нарочно вокруг дома обхожу, чтобы с ней не встречаться.

«Дует легкий ветер с SW, ночью дождь. Утром ветер переменный. Генеральный курс NNW. Прошли 81 милю. В час дня видели вдалеке несколько фрегатов и еще каких-то птиц. В два часа вахтенный матрос видел на севере землю. Я приказал идти к ней в крутой бейдевинд...»

Эх, счастливый он был — капитан Кук! «Я приказал идти к ней в крутой бейдевинд». Почему я не родился двести лет назад?..

Настроение у меня никуда. На пляж уже давно не хожу, чтобы не встречаться с теми. После обеда от нечего делать таскался по улицам, потом пришел на автобусную станцию и сидел там часа полтора. Просто смотрел на приезжающих и вообще на людей.

Вот теперь я думаю: хочу стать великим человеком и сделать что-нибудь такое большое, замечательное. Или, в крайнем случае, буду путешественником. Исследовать тайгу или какие-нибудь острова. Но я ни в коем случае не хочу быть бухгалтером, диспетчером на автобусной станции или кондуктором.

А другие?

Вот тут на станции весь день вертелся милиционер. Белобрысый такой. Толстенный. Я за ним долго следил.

Сначала он стоял и смотрел, как пришел автобус и как оттуда с чемоданами и корзинами выходили пассажиры. Потом почти все пассажиры разошлись, шофер с кондукторшей ушли в диспетчерскую. На площади стало совсем пусто.

Милиционер вздохнул, одернул гимнастерку. Подошел к чистильщику сапог и долго смотрел, как тот резиновым клеем приклеивает заплатку на калошу. Опять вздохнул, спросил что-то у чистильщика. Тот кивнул. Милиционер взял щетку и обмахнул сапоги. Но они и так были чистые.

Потом вдали послышалось, как идет новый автобус. Милиционер приободрился, опять одернул гимнастерку, расправил плечи и пошел к тому месту, где автобус останавливается. И снова все сначала.

Так неужели же он, когда был молодой, так и мечтал сделаться милиционером здесь, в Асабине? Неужели ему не хотелось стать Гагариным?

А другие?

Продавщица газированной воды! Ведь не может же быть, чтобы она так и собиралась с самого начала: «Вам с сиропом или без сиропа?» А портной в пошивочном ателье, а кондукторша автобуса? Разве они не мечтали быть, как Гагарин или как Тур Хейердал?

Значит, выходит, что почти все люди — это те, кто сдался и примирился.

Неужели это и есть жизнь?

2.

Из письма Н. Г. Коростылева своему другу

«...Теперь относительно того, о ком ты знаешь. (Я нарочно не упоминаю имени, так как запретил дома называть его и даже для себя самого в письме не хочу нарушать этот запрет.). Несмотря на то, что внешне на людях я спокоен, в действительности, о чем бы я ни думал, он постоянно внизу под этими мыслями. Поэтому, если

тебе напишут, что вся история не произвела на меня никакого впечатления, знай, что это неправда. Впрочем, ты и сам так подумал бы.

Прав ли я? Может быть, и не прав, но не мог поступить иначе. Мне есть в чем себя винить. Я отлично знаю, что во многом. Но обстоятельства сложились так, отношения его со мной и с другими вылились в такую форму, что у меня уже не было выбора, который, очевидно, мог быть еще год или два назад.

Андрей Васильевич, я постоянно думаю, что у него есть в голове. Какая руководящая страсть, какая главная мысль? По-моему, это тщеславие. Чтобы угодить ему, он способен, если приведет случай, на подвиг, если приведет другой — на преступление. По-видимому, получилось так, что в какой-то момент ему стало очень важно каждый день, хотя бы даже самыми маленькими подачками, но утолять свою страсть. Позже эта необходимость стала возрастать, он уже не мог жить без нее и начал жертвовать для своего тщеславия всеми другими ценностями характера. Понимаешь, это похоже на человека, который, сделав какое-нибудь маленькое хорошее дело, выпрашивает похвалы, отлично понимая при этом, что самое выпрашивание больше роняет его в глазах собеседника, чем он был возвышен своим делом. Но ему важно слышать, как его хвалят.

Не знаю, до чего он может дойти, оставшись один. Боюсь, до всего. Поэтому у меня такая просьба: если он к тебе придет, не принимай его. Не впускай в дом. Я со-знаю, что это тяжело, но просто не впускай. Что бы он ни говорил. Не впускай, если он заявит, что приехал от меня. Не впускай, если он скажет, что болен и умирает. Как это ни трудно, но сделай это для меня...

Ты, наверно, хочешь знать, как моя работа?

Пока плохо. Больше того, сама лаборатория закрыта по распоряжению Алексея Ивановича. Именно закрыта. Было заседание Ученого совета. Выступали Алексей Иванович, Ратнер и Брюшков. И все говорили в духе статьи, которая ими же была и написана. Конечно, это лишь желание обезопасить себя на тот случай, если в Академии решат, что время и большие деньги были истрачены напрасно. Причем формально они правы, так как работа шла уже много лет, и видимых, бросающихся в глаза успехов нет. Но только формально. А на самом деле Алек-

сей Иванович не может не понимать, что нам теперь недостает всего лишь одного звена, одного усилия, и все покатится под гору, понесется лавиной. Я молчал во время обсуждения, а когда мне дали слово, ограничился только одним вопросом: представляют ли они себе, что будет, если мы действительно найдем способ? Алексей Иванович облегченно вздохнул, — он был рад, что я не стал спорить, потому что и в самом деле любит меня и всех нас, и примиренно зажурчал, что все мы имеем право на мечту и ошибки...

Но так или иначе лаборатория закрыта, лаборантку Зоечку у меня взяли, а сам я вновь переведен на искусственное сердце, где и без меня полный штат и где отлично справляется с делом известный тебе Петров.

Знаешь, Андрей Васильевич, ты был действительно прав, когда три года назад после того семинара сказал, что у Алексея Ивановича эрудиция полностью заменила необходимость мыслить. Это верно: он все знает и ничего не понимает. Он занял большое место в науке еще в эпоху робких шагов биологии, и теперь ему кажется, что всякое посягательство на концепции его учителей подвергает сомнению даже не то, чтобы его собственный научный авторитет, а просто его право на занимаемую должность. Ему и в самом деле мнится, будто наука может функционировать лишь до той поры, пока он является нашим руководителем... Хотя, с другой стороны, в истории с этим же самым Петровым он вел себя хорошо...

Вообще, не знаю. Возможно, что во мне сейчас говорят естественное раздражение и как бы неостылость после заседания Совета. Одним словом, забудь, пожалуй, то, что сказано выше. Я написал это и сразу почувствовал неловкость и неуверенность...

Ты спросишь, а как же я. Представь себе, ничего. В первых, большинство в институте стоит все-таки на нашей стороне. Скромно и молчаливо пока, но на нашей. А во-вторых, я и сам теперь ощущаю, что нужен был какой-то перерыв. Это совпадение, но сейчас важнее не опыты, а работа интуиции. Я спокойно пошел в группу сердца, переместил все эти вопросы куда-то на задние дворы сознания и жду, что там будет совершаться.

Сейчас самое главное — какая-то новая точка зрения, какое-то новое понятие, которое зрело еще у нас с тобой и теперь во-вот готовится прорваться у меня. Даже не

знаю, как тебе лучше объяснить. Ну, что-нибудь вроде понятия осмоса, например. Но, конечно, не осмос, а что-то, что позволит нам привести в движение данные опытов, оперировать ими. Единица мышления... То есть, конечно, не единица мышления, а новая связь, которая есть у природы, но нами еще не познана. Но как только она сформируется, так сразу и оборвется та самая лавина.

Поэтому ты не впадай в ярость, не срывайся со всех дверей и не хватайся за телефонную трубку, чтобы заказывать билет в Москву. Лаборатория закрыта временно, способ, о котором мы с тобой мечтали, как бы существует в природе и просто еще не прорвался к нам. Но он уже стучится оттуда, из глубины Непознанного, и мы с тобой обязательно переживем счастье этого открытия.

Ты знаешь, мы всегда совестились произносить высокие слова, но если это будет сделано, то оно будет действительно для нашего народа и для всего Человечества...

Да, вот еще — знаешь, очень меня удивил мой Миша Мельников. На обсуждении он высказался против продолжения опытов. Честно говоря, для меня это был удар. Ты ведь помнишь, как вообще я к нему относился и какие надежды возлагал на его прекрасный ум. Но он не только высказался против, а позже отказался помочь в последнем опыте, который я хотел поставить. Все это было самое неожиданное и непонятное.

И, наконец, последнее. Не беспокойся лично обо мне. Болезнь как будто бы отступает. Неделью назад я советовался с врачами, и получается, что все это может еще тянуться неопределенно долго. Пока что я взял отпуск и еду отдыхать. То есть, собственно, я бы не брал отпуска, но Алексей Иванович меня насильно заставил. Требуется, чтобы я лечился.

3.

Ходил по берегу налево — исследовал обрывы. Нашел два замечательных места. Во-первых, заброшенную дачу. А во-вторых, такой залив, где вода кипит и вся в водоворотах.

Этот залив километрах в семи от нашего поселка. Я шел по берегу, и сначала все цивилизация попадалась:

обрывки газет на гальке, консервные банки и всякое такое. А потом цивилизация кончилась. Просто море. Вот здорово было. И море-то совсем другое. Галька гораздо крупнее, и много камней больших. Гнилью пахнет от водорослей. Но все равно ветер свежий, крепкий; бодрящий. Чаек много. Как идешь, они все время по камням бегают.

А возле залива галечный пляж совсем исчезает, и волны бьют прямо в скалы. Я вижу такое дело, стал тогда подниматься наверх, чтобы это место обойти. Тропинку нашел. Влез на скалы, смотрю, подо мной вроде фиорда норвежского. Вода внизу черная, глубокая, дна не видно. И волны так здорово стучат, что весь воздух дрожит...

Наша хозяйка сказала, что в этом заливе два спортсмена утонули. Заплыли туда, а обратно никак из-за волн. И наверх не влезть на скалы.

Это место «Вероникин обрыв» называется. А тот дальний берег, который оттуда видно, синий, это уже Турция. Так что если от Вероникина обрыва идти еще километров пять, там уже пограничные заставы, и не пускают.

Каждый день теперь вижу того милиционера. Он через дом живет. Утром зарядку делает, бегает по участку в одних брюках. Смешной такой, толстенький. Хозяйка говорит, он весной двух бандитов задержал. Вооруженных. Даже не верится.

Сегодня я почему-то думал про своего отца. Я его и не видел ни разу, потому что он погиб в 45-м году при штурме Берлина. Я родился, а он через месяц после этого погиб, 28 апреля на улице Франкфуртерштрассе.

Так что от отца остались только фотографии, письма, стихи, которые он маме сочинял. И еще из части прислали маме его три ордена и обгорелый красный флажок с танка.

На фотографиях он совсем молодой. Одна есть такая, где он в курточке с молнией сидит возле приемника, который сам собрал. Лицо у него смешливое, а на затылке жохолок. Я так и чувствую, что он этот хохолок слюнил-слюнил, а перед тем, как фотографироваться, он опять встал. Тут ему, кажется, семнадцать лет... Потом уже

идут военные карточки. Последняя, которую он прислал из немецкого города Кюстрина. Тогда ему двадцать два было. Но выглядит он куда моложе.

Раза два в год или три мама смотрит на эти фотографии и плачет. Подождет, пока я лягу, сядет у стола, разложит на скатерти карточки, письма, ордена, и в глазах у нее слезы. Долго сидит.

А мне так странно-странно, что у меня отец совсем мальчишка...

Кончилось мое счастье с этой дачей. Приехали туда. А я уж так привык — просто ее за свою считал. С утра книжки возьму, бутерброд в карман суну — и туда. Даже купаться там приучился в этом бассейне. Потому что он почти полный набрался от дождя.

И сегодня вот пришел. Жарища была ужасная, поэтому я прямо в бассейн залез. Купаюсь и вдруг замечаю, что дверь-то в доме открыта. У меня даже сердце как-то сжалось сразу. Не пойму, как это я раньше не увидел. Наверное, потому что о другом думал.

Одним словом, я и сообразить не успел, что к чему, вдруг из дома выходит мужчина с собакой. Лицо не старое, но злое такое, и весь седой. И смотрит на меня. А собака рвется ко мне, но он ее держит. Говорит: «Тубо, Линда. Тубо».

Потом слышу еще голос.

— Что там, папа?

И девчонка тоже выходит на крыльцо. Лет шестнадцати. В синем халате. В руках у нее тряпка. Наверное, убирала там внутри.

Я, правда, этой собаки совсем не испугался. Она была породы «боксер». Рыжая такая, большая, курносая, и щеки висят, как у Черчилля. Я эту породу знаю, они совсем добрые. У нас в Москве в квартире у одной есть, Шелька ее зовут. Так она не то, чтобы охранять имущество, она, наоборот, все вынесет и раздаст. И эта собака, пожалуй, ко мне рвалась не чтобы укусить, а скорее всего хотела подпрыгнуть и лизнуть и вообще поиграть со мной.

Короче говоря, они все на меня смотрят, а я — на них. Растерялся.

Довольно долго — с минутой. И не знаю, что мне де-

лать. Вылезать или не вылезать? Сказать «здравствуйте» или не надо?

Потом все-таки вылез и начал одеваться. Молча прыгаю, в брючину ногой никак не могу попасть. Всегда у меня так — тороплюсь, обязательно затрет.

Девчонка смотрела-смотрела и ушла. А мужчина с собакой так и стояли, пока я одевался. Он ее все удерживал. Хотел, наверное сделать такой вид, будто она очень опасная и злая.

Эта девочка с дачи красивая удивительно. Куда там до нее Тамарке Коньковой и даже Але. Никакого сравнения. У нее глаза большие-большие — я еще и не видал таких — и какого-то почти фиолетового цвета. Лицо как мраморное, брови резкие, суровые. И держится она замечательно. Другие красивые девчонки задаются — спасу нет. А она ничуть. Пришла сегодня на пляж, разделась на самом берегу, выкупалась. Потом подошла к тем ребятам — они сегодня в кружок играли — и просто так говорит:

— Здравствуйте, можно с вами?

И меня увидела вдалеке и тоже кивнула:

— Здравствуй.

Как будто мы с ней хорошо знакомые.

Я даже растерялся. Не кивнул ей, а только откашлялся. Не сумел поздороваться.

И другие тоже растерялись. Даже Игорь этот нахальный. У них как-то тихо стало в кружке. То все орали, хохмили, а тут все сразу умолкли.

Это потому, что она такая красивая. Мне даже как-то вдруг грустно стало. И всем другим, по-моему, тоже. На некоторое время.

Опять у меня несчастье. Только что такую гадость сваял, что сам себя ненавижу.

Скучно одному, пошел я гулять по берегу по направлению к обрыву. Шел-шел, настроение такое хорошее было. И вдруг вижу, внизу под скалами эта девочка сидит. В синем халате. И собака рядом лежит, морду на лапы положила.

Они, наверное, прямо с дачи спустились. Тут их дача как раз наверху.

Я даже испугался, хотел повернуть обратно. Потому что я все эти дни о ней думал, но она ни разу больше на пляж не приходила.

А тут сидит, такая грустная. Коленки руками обняла и на море смотрит.

И там слева скалы, справа море, и только узенькая полоска гальки.

Хотел я назад повернуть, собака меня увидела. Вскрикивает, и ко мне. И Таня, конечно, сразу обернулась — ее Таня зовут.

Собака мчится, галька брызгает из-под задних ног. Но я-то ничуть не испугался. Только сделал шаг в сторону, чтобы она меня с ног не сбила. Она проскочила, развернулась — и на меня. Сама скачет, хвостом виляет — у них обрубленные такие хвосты, коротышечки. Хочет в лицо меня лизнуть. Один раз, правда, достала. Носом здорово стукнула, даже губу ушибла.

Тут Таня подбежала, оттащила ее за ошейник. Поздоровались мы и как-то разговорились. Познакомились. Я ей сказал, как меня зовут. Она сказала, как ее. Она тоже из Москвы. Учится в десятом классе.

И вдруг я ей стал рассказывать про московские рестораны. Даже сам не знаю, почему. Стал вдруг врать, что я в «Национале» был, и в «Праге», и в «Гранд-Отеле».

Прямо убить себя хочется... Причем вру и чувствую, что она понимает, что я вру. И даже хуже: она понимает, что я понимаю, что она понимает, что я вру.

Не знаю, до чего бы я дошел, если бы ее сверху отец не крикнул. Тот, седой.

Она, когда уходила, так странно посмотрела на меня. По-моему, даже жалостливо...

Эх, совсем не так надо жить, как я живу! Гордым надо быть, ни с кем не разговаривать. Гимнастикой нужно заниматься по утрам. А то я опять забросил.

Танин отец утопил собаку.

Как вспомню, даже жутко делается. Я там над морем гулял возле их дачи. Смотрю, он выходит из дома, и на руках у него что-то большое, желтое. Над забором хорошо видно было — у них заборчик низкий. И визг раздается такой, как будто ребенок плачет. Вижу, собаку. Линда.

Он кладет ее на землю. Она бьется, но лапы у нее связаны. Он над ней склонился — у меня даже внутри все похолодело. Показалось, что он ей шею чем-то перепиливает. Но потом смотрю — это он ей затянул голову тряпкой. Затянул, поднял, подошел к бассейну, и туда. Брызги полетели. Постоял-постоял, пока она билась там на дне. Потом руки обтряхнул и пошел в дом.

А Таня вовсе и не показывалась.

Я так испугался — минут пять с места не мог сойти.

Неужели он ее утопил за то, что она добрая и не может охранять дачу?

Сегодня опять поссорились с матерью. И все из-за Марьи Иосифовны.

Сидели в саду, пили чай. И снова она начала: почему я локти на стол кладу, почему сижу, ссутулившись. Я не выдержал и сказал, чтобы она своими делами занималась.

Мать сразу вскакивает.

— Миша, сейчас же извинись.

Я говорю:

— Была охота.

И пошло. В конце концов я встал, ушел в нашу комнату и завалился на койку. Не поел даже, хотя есть здорово хотелось.

Полчаса полежал, — они там в саду все разговаривали, но о чем, не слышно было. Потом мать входит.

— Миша, ты извинишься или нет? Только трус боится признать, что он неправ.

Я разозлился и говорю:

— Да иди ты...

Чуть к черту ее не послал. Но сдержался. Она побледнела, губы у нее запрыгали, и вышла из комнаты. Теперь дня три не будем разговаривать.

Вообще последний год мы ссоримся чуть ли не через день. По-моему, она меня не понимает. Ей все кажется, что человек должен постоянно что-нибудь делать. Кончил уроки, хватай сразу фотоаппарат и начинай снимать. Сделал несколько снимков, не задумывайся ни секунды и берись за чтение художественной литературы. И в таком духе.

А мне, наоборот, последнее время ничего не хочется.

То есть хочется, но сам не знаю, чего. А все прежнее надоело. На аппарат смотреть неохота, лобзик я уже год, как на буфет забросил.

Вот и получается. Лежишь на диване дома и думаешь. А она приходит с работы и сразу:

— Миша, ты ведро вынес?

А ведро-то на кухне наполовину пустое. Только что наша очередь выносить. И кроме того, может быть, я думаю о чем-нибудь важном. Об интересном.

Я отвечаю, что сейчас вынесу.

Она говорит:

— Ну, так выноси.

И сама стоит.

— Сейчас, — говорю.

— Ну так что же ты не встаешь?

А я теперь уже со зла не встаю. Потому что какая же разница: сию минуту я вынесу или через полчаса? Это же непринципиально.

Короче говоря, она бежит на кухню, хватается ведро. Я за ней, и поехали. Скандал...

Хотя, с другой стороны, мы, пожалуй, потому ругаемся, что у меня переходной возраст. А вообще-то она у меня ничего. С ней даже дружить можно — в кино пойти вместе. Раньше мы часто ходили. И с виду она на девчонку похожа. От того ли, что она лечебную физкультуру все время больным показывает, но у нее фигура совсем тоненькая. Когда мы в Москве в метро ехали на вокзал, — и с нами еще доктор тот знакомый был, чемоданы помогал тащить — один дядька даже маму со спины спросил: «Девочка, у Комсомольской сходишь?»

...Сейчас я сижу, думаю, а рядом в саду Марья Иосифовна уговаривает маму пойти на Морскую улицу прогуляться. Мимо военного дома отдыха. Сама Иосифовна каждый вечер ходит. Вырядится, губы накрастит, надушится так, что за версту слышно, и поплыла. А чего ей краситься, когда она уже почти старуха — ей лет тридцать пять, не меньше.

Опять ходил к Таниной даче и сидел, смотрел на море. Море сверху огромное — гораздо больше, чем внизу. До самого горизонта стеной стоит. И всеми волнами сразу стремится на берег.

Когда я там сидел, так глупо мне показалось, что я на тех ребят обиделся с волейболом. Все равно я буду каким-нибудь замечательным и выдающимся человеком. Полечу, например, на Луну. Вернусь, а они будут в толпе встречать. Пусть тогда посмотрят — особенно эта рыжая Ленка.

Ну, кончилось мое одиночество!

Если мы с Володей подружимся, ребята на пляже с ума сойдут от зависти. И даже ничего, что у нас такая разница в годах, потому что я чувствую, что мы с ним здорово сойдемся.

Я его сегодня увидел, когда он с автобуса сошел. Прямой-прямой, как стрела. И я сразу понял, на кого бы хотел быть похожим — на него.

И с милиционером он когда разговаривал, тоже стоял такой подтянутый. А тот пентюх-пентюхом. Чуть ли не в носу ковыряет. (Это который за дом от нас живет.) Поговорили, и Володя пошел. И вдруг милиционер его останавливает. Потому что он во время разговора вынул папиросу из портсигара, увидел, что она высыпалась, бросил в урну и промахнулся. Так милиционер его остановил, чтобы он поднял.

Он остановился, вернулся, ловко так подхватил папиросу с асфальта — и в урну. И смотрит на милиционера: так, мол, или не так. А тот уже отвернулся.

Потом он ко мне подошел — я на скамейке сидел один — и говорит:

— Интересно, как это люди в милиционеры попадают? Рождаются уже готовыми, что ли?

Мне очень хотелось остроумно ответить, но ничего в голову не пришло. И все равно мы разговорились. Он меня спросил, не знаю ли я, где комната сдается. И я его повел на нашу улицу. Кооперативную.

Стали разговаривать, и оказалось, что мы прямо обо всем-всем думаем одинаково. Мне очень понравилась книга «И один в поле воин», и ему тоже. Я люблю картину «Подвиг разведчика», и он любит.

Договорились завтра встретиться.

Вот так и выходит: как только познакомишься с настоящим человеком, так обязательно матери не нравится.

Сегодня за обедом она меня вдруг спрашивает.

— С кем ты ходишь?

Это она нас видела с Володей, когда вчера с работы шла. Ну, я ей рассказал про него все. Что у него родителей нету, что он учится и так далее. Она слушала-слушала и говорит:

— Пижон твой Володя. Что-то я плохо верю в этот медицинский.

Я спрашиваю:

— Почему пижон? — Возмутился даже.

А она мне:

— Ты к нему приглядишься получше. И посмотри, как другие на него смотрят.

Когда она ушла, я стал вспоминать. И верно, одет, он, конечно, не как я. У него все модное и ловкое, так что другие даже внимание обращают на улице... И верно, что на него все девчонки смотрят, когда мы идем. Я даже сам заметил. Но что ему делать, если он такой? Глаза у него большие, синие, и вообще все... Ловкий он очень, развитый. Но в то же время он сам на девчонок никакого внимания. Уж как на него Ленка рыжая заглядывается. И даже Аля. Мы когда были вчера на пляже, так просто чувствовалось. Лежим, а они шагах в двадцати играют с мячом. И все время глазами зырк-зырк в нашу сторону. Смеялись даже громче, чем всегда...

Вот и сейчас сообразил, что ребята тоже бывают красивые и некрасивые. Так же, как девчонки, делятся. Как-то я раньше об этом не думал.

Сегодня Володя прыгнул с Вероникина обрыва.

Так было.

Мы пришли туда, поднялись над самым фиордом. Я ему рассказал, что здесь два спортсмена потонули. Потом мы вниз некоторое время смотрели. Там вода черная и вся в бурунах. Потом он стал раздеваться так неторопливо — я даже не понял, зачем. Подумал, он просто позагорать хочет. А он подошел на самый край обрыва — там вниз метров двенадцать. Вдруг присел, руки развел и прыгнул. Красиво так полетел, ласточкой. Я и сообразить не успел, что к чему, а его голова уже далеко внизу вынырнула, среди бурунов. И перед тем как прыгнуть, он меня даже не спросил, глубоко здесь, или сразу под водой камни.

Но самое-то главное потом началось.

Он вынырнул и поплыл к морю, потому что в самом фиорде на берег не выбраться, там скалы отвесные. Поплыл, а его назад относит и крутит. Раз затянуло в водоворот, он ушел под воду и только через минуту показался совсем в другом месте. Еще раз затянуло, и тут он скрылся минуты на полторы. У меня в висках прямо как кувалдой застучало: я подумал, что все. Но он вынырнул у самой скалы и поплыл левой стороной фиорда. Сначала быстрым брассом, а потом, когда уже приблизился к морю, перешел на кроль. Он двигался хорошо, но дальше течение усилилось, и он как бы остановился на месте. Минут пять он боролся изо всех сил, и я уже подумал, что выплывает. Но потом он начал сдавать, и его понесло обратно в фиорд. Но и тут он не растерялся, а стал отдыхать. Сверху было видно, как он руки раскинул и ногами еле шевелит, чтобы только держаться на поверхности. Опять его притянуло к водоворотам, опять затягивало раза три под воду, но теперь он стал пробиваться к правому берегу.

И, одним словом, он выплыл. Минут сорок все это продолжалось. Он выплыл, вышел на берег, лег и пролежал неподвижно с полчаса. А потом сказал, чтобы я принес его одежду. Я, конечно, сбегал. Он лежал и смотрел в небо, а погода я его спросил, зачем он прыгнул.

Он на меня остро так взглянул своими синими глазами и сказал:

— Жить надо опасно.

Удивительный человек!

Я сейчас вспоминаю, что у него каждое слово такое отточенное-отточенное. И даже каждое движение. Как будто он загодя знал, что именно в этой обстановке ему придется делать именно это движение и заранее к нему готовился. Когда мы еще на второй день шли вместе мимо дачи, где Аля живет, там ребята играли в волейбол, и у них мяч за забор перелетел. Они сразу нам заорали, пока мяч еще в воздухе был. Володя не стал топиться, а наоборот, подождал, пока мяч чуть травы не коснулся, а потом прыгнул и отбил его точно-точно и таким образом, что почти что попал в кольцо для баскетбола. Короче говоря, все так красиво получилось, что они там за забором даже захлопали ему. Но он на них и не посмотрел, и мы дальше пошли.

Вот Володя-то, наверно, действительно будет великим человеком. Он мне рассказал, что специально в медицинский поступил, чтобы потом в Африку поехать, в джунгли, и там лечить и охотиться. Потому что у нас ведь теперь многих врачей в разные страны отправляют...

Вчера здорово умучился. Мы с Володей с утра до ночи окрестности исследовали. Я рассказал ему про дачу, где Таня живет, про утопленную собаку, и он очень-очень заинтересовался. Но близко к даче не захотел подходить. Зато мы почти до самой погранзаставы добрались. Он такой сильный — совсем не устает. Ну и я, конечно, старался. Сейчас даже все тело гудит. Все мускулы...

И еще он меня сегодня очень удивил. Возвращались мы с гор, идем возле военного санатория. И попадаетесь нам наша Марья Иосифовна. В своем красном платье, где у нее вся грудь, можно сказать, наружу. Вертит бедрами. Увидела меня, и ко мне. Спрашивает, где мама. А чего спрашивать, когда она сама знает, что на работе. В общем, я ей ответил, а она не уходит. Стоит и смотрит на Володю. И он на нее смотрит. Потом она ему улыбается. И он улыбается. Она что-то сказала, он что-то ответил. И начали болтать — так просто, ни о чем. Разговаривают, про меня никто не вспомнит, как будто они только вдвоем. Я Володю подталкиваю: пошли, мол. А он стоит. Довольно долго все это было.

Потом эта Иосифовна отпустила нас наконец. Я Володю спрашиваю, как он может с ней разговаривать, с такой противной. Он оглянулся — она уже в санаторий вошла через ворота — и говорит:

— Да она ничего.

И засмеялся так неприятно...

...Да, вот еще какая штука. Оказалось, что у Тани с отцом две собаки было на даче. Потому что одна почти такая же, тоже породы боксер, бегаёт теперь по саду.

Володя познакомился с Таней, и они друг друга полюбили.

Мне так грустно-грустно. Но, с другой стороны, это правильно. Потому что, как говорится в старинных романах, «они были созданы друг для друга». И они даже

чем-то похожи. У Тани глаза большие-пребольшие. И у него тоже. Мне кажется, если бы я для Тани выбирал жениха, я бы и сам выбрал Володю. Он такой смелый, ловкий, самостоятельный... Не в этого же оболтуса Иго-ря ей влюбляться.

А узнал я об этом так.

Вчера и сегодня Володя на пляже не показывался. После обеда я пошел прогуляться по верхней дороге к Таниной даче. Иду и вдруг вижу, что они в кустах стоят и разговаривают. Далеко довольно я их увидел.

Мне почему-то больно вдруг стало на сердце. Хотя я ведь все время понимал, что она старше меня и всякое такое... Одним словом, сел я на камень и сижу. Даже идти никуда больше не захотелось.

Они разговаривали долго. Таня неожиданно обняла его, поцеловала и побежала вниз на свою дачу. А Володя некоторое время стоял и смотрел ей вслед. Потом пошел по дороге в поселок.

Я испугался, что он подумает, будто я за ним подглядывал, и ушел глубже в заросли.

Потому что на самом-то деле я за ним с Таней не подглядывал, а просто смотрел.

Странная и жуткая вещь произошла. Я видел, как утонул, вернее, сам утопился человек. А потом этого человека не стало.

Недалеко от Таниной дачи, но правее, там, где совсем крутые обрывы, в воду вошел человек. Я все ясно видел, сидел наверху. Он вошел в море раздетый, проплыл немного и нырнул. Полминуты прошло, минута... Я удивился, что он так долго под водой и стал считать про себя секунды. Еще минута прошла, две, три, четыре. Я тогда побежал к этому месту и сверху увидел, что человек неподвижно лежит на дне. Утонул.

В голове у меня как-то все помешалось, я не сообразил, что лучше бы прямо на Танину дачу бежать за помощью. Вместо этого кинулся по дороге в поселок. То бегом, то шагом, когда уставал. Добрался до военного санатория и увидел Володю. Они с каким-то мужчиной сидели на скамье. Я подбежал, рассказываю: так и так. Они сразу встали, переглянулись. Володя говорит:

— Бежим.

И тот мужчина ему кивнул. А сам остался на скамейке. Побежали мы обратно. Почти что три километра бегом пронеслись. Прибегаем на то место, где сверху утопленника видно было, а там никого нет. Он исчез.

Но вся штука в том, что я сам видел, как он входил в воду, как нырнул и целых пятнадцать минут был под водой. Он уже не мог оставаться живым.

Когда возвращались, Володя сказал, чтобы никому не рассказывать. А кто и поверил бы, если даже и рассказать?..

И еще одно: не понравился мне тот мужчина, который с Володей был. Он широкоплечий такой, крепкий, лицо жестокое и злое. Я заметил в нем одну особенность. Он был гладко выбрит, но только лицо было чистое, а вся шея заросла волосами. И я понял, что он, наверное, весь волосатый, но бреет только лицо, а шею оставляет, потому что ему тогда приходилось бы чуть ли не до плеч бриться. Одним словом, получалось, будто у него лицо выглядывает из волос...

А Володя от меня почему-то отдалается. Вот уже два дня, как мы с ним не разговаривали.

Опять странная вещь! Вечером вернулся домой и вдруг слышу, из комнаты Марьи Иосифовны Володин голос раздается. Я сперва даже не поверил. Уже поздно было, начало темнеть. У нее в комнате света не было. И я ясно слышал его голос. Марья Иосифовна много смеялась.

Неужели он?..

Так оно и есть: Володя ночевал у Марьи Иосифовны. Я видел утром, как он вылез из ее окна.

Но ведь он же целовался с Таней, подлец! Я теперь непрерывно думаю, как я должен себя вести: рассказать Тане про эту Иосифовну или нет? Если я ей расскажу, это может быть вроде как сплетня. Кроме того, она может подумать, что я вру. Что это я потому, что она мне самому нравится. Она же понимает, что она всем нравится...

Но с другой стороны, ведь он обманывает ее.

Что же мне делать?

...Мама наконец поняла, что за птица эта Марья Иосифовна. Кажется, у них было объяснение после обеда.

А вечером к нам на дачу открыто пришел Володя. Я чинил хозяйкин велосипед возле колодца. Он на меня даже не глянул, как будто мы незнакомые, и пошагал прямо к Иосифовне. Вдвоем они пили чай на веранде, где раньше всегда мама с Марьей Иосифовной вместе сидели. Причем Марья Иосифовна разговаривала с Володей нарочно громко-громко, на весь сад.

Какие, оказывается, бывают люди!

Пожалуй, завтра все-таки пойду к Тане на дачу. Потому что если она еще больше Володю полюбит, ей потом тяжелее будет все узнать. А что она про меня подумает — мне уже все равно.

Пять дней прошло.

Завтра уезжаем. Чемоданы уже почти уложены. Билеты на поезд у мамы в сумочке.

Володи уже нет. Он погиб.

И Танин отец, Георгий Николаевич, умер.

Оказалось, что он был великий человек. Позже о нем книги будут писать, и то, что он сделал, останется навсегда для людей. Он был настоящий великий ученый. Жил он поблизости от нашего поселка, и никто не догадывался, кто он такой.

Вообще, так много надо обдумать, что даже не знаю, с чего начинать. У меня такое чувство, будто все мы кругом очень изменились за последнее время и год прошел уже с тех пор, как я последний раз Володю видел.

Тогда, 11 августа, я решил все-таки Тане рассказать про Володю и Марью Иосифовну.

С утра мама послала меня на базар, днем я как-то завожился с велосипедом и пошел к ним на дачу только к вечеру. Солнце уже начало садиться, но жара стояла жуткая. Для сокращения пути я полез наверх от моря не по тропинке, которая сильно кружит, а прямо через заросли лавров и орешника. Вся эта растительность за лето покрылась пылью, высохла и здорово кололась. Пробирался я, как кабан, умучился, и, когда выбрался уже ближе к даче, остановился в кустах перевести дыхание.

Стою и вдруг слышу разговор. Володин голос и еще какой-то чужой. Смотрю, совсем рядом со мной выходят

из кустов Володя и тот мужчина, волосатый с широкими плечами. А про него я у хозяйки нашей случайно узнал, что он местный житель. В Батуми часовщиком работает, а здесь, в Асабине, у него огромная двухэтажная дача с мандариновым садом. (И еще хозяйка рассказала, что три года назад его вроде судили за что-то, но он выкрутился.)

Одним словом, выходят они шагах в пяти от меня. И тоже остановились. Я весь замер, даже сердце перестало биться.

Они остановились. Володя говорит убежденно так:

— Я ручаюсь.

Часовщик в ответ что-то пробормотал. Но сквозь зубы.

Володя опять:

— А я ручаюсь. Потому что иначе он не стал бы рисковать. Ни своим здоровьем, ни тем более ее. Короче говоря, я ручаюсь и не боюсь.

Тот мужчина закурил. Они так близко были, что до меня дымок донесло еще плотным клубом.

Помолчали. Потом Володя сказал:

— Ну, идем к дубу. Еще раз посмотрим. Он сейчас будет делать.

И они пошли влево в обход Таниной дачи.

Я постоял еще некоторое время неподвижно, потом побрел в поселок. Дома мы с матерью поужинали, прогулялись по берегу. Вынес я в сад к забору свою раскладушку, лег и никак не могу заснуть. Ночь сперва звездная была, потом с моря туча стала подниматься. Звезды начали гаснуть постепенно. А я все пялю глаза и спрашиваю себя: что же Володе с часовщиком возле Таниной дачи надо было? А между прочим, Володя в этот вечер опять к Марье Иосифовне явился.

Наконец, часов в двенадцать я задремал. Дремлю и чувствую в дреме, что кто-то мимо меня к калитке прошел. Сообразил это, открыл глаза, приподнялся. И верно, кто-то вышел из нашего сада и калитку не затворил... Опять я задремал. Проспал часа два, и вдруг меня во сне как колом по голове ударило: ведь это же Володя куда-то пошел ночью! Тут я сел на раскладушке и спрашиваю себя: чего же я сплю-то? Ведь Володя с часовщиком что-то насчет Таниной дачи замышляют. Встал я, натянул брюки, велосипед схватил за рога — и на дорогу. Странно было ехать. Темно, тихо. Только велосипедные шины

на песке пошипывают. И весь мир ночной такой неузнаваемый, страшный, совсем не как днем.

Подъехал к даче, велосипед прислонил к дереву, и сам осторожно в сад. Калитка отворена была. Я вхожу на носочках, и мне кажется почему-то, как будто это все не на самом деле, а в кино. И такое чувство, что я — это не я, а кто-то другой. А настоящий «я» со стороны смотрит.

В одном окне в даче свет горит. И дверь в дом тоже открыта.

Я осторожно стал обходить их маленький бассейн, заглянул случайно туда... и остолбенел.

Под водой лежит в бассейне на дне Таня. Утопленная. Руки раскинуты, волосы разметались по дну.

Секунду я смотрел на нее, и тут сам не знаю, что со мной сделалось. Испугался, закричал что-то, повернулся и бежать. Выскочил из сада, метров сто, наверное, пробежал, потом вспомнил про велосипед. Вернулся, схватил его, в седло вскочил и думаю: куда, кого звать на помощь? Конечно, милиционера.

Даже не помню, как я до него доехал. Просто сразу очутился возле его дома и стучу в дверь что есть силы.

Раз постучал, два. Там задвигались, открывается дверь и выглядывает милиционер. «Что случилось?» Я сбивчиво объясняю: так, мол, и так. Утопили человека и ограбили дачу. А сам чуть не плачу от нетерпенья и от волнения. Он меня выслушал и говорит: «Стой. Я сейчас». Ушел в дом, — он в трусиках только одних был, — и минутой три не возвращался. Слышу, что он там разговаривает с кем-то, по телефону звонит. Я прямо исстрадался, ожидая. И уже начало мне в голову приходить, что ведь Таню-то мне нужно было вытащить из воды, искусственное дыхание ей делать. Спасать, одним словом, а не ехать сюда.

Наконец милиционер поспешно выходит уже весь одетый и с наганом в кобуре. Бежит к сараю, выкатывает оттуда мотоцикл. «Садись!» Жена его тоже выбежала, открывает нам сразу калитку. Я и усестся не успел как следует, мотор зарычал, голова у меня назад дернулась, калитку проскочили и едем.

Минутой за три мы до дачи домчались. Въехали прямо в сад, мотоцикл поставили — и к бассейну.

Глядим туда, а там никого.

Меня оторопь взяла. Федор Степанович (милиционер) взглянул на меня — и в дом. Я за ним.

Входим и видим такую картину. Профессор, Георгий Николаевич, лежит в постели, белый-белый. Возле него Таня, живая, и делает ему укол.

Я рот раскрыл и стою.

Таня на нас посмотрела, спокойно положила шприц на стул и начинает рассказывать. Спокойно так говорит, что только что здесь были два человека, — один незнакомый, а второй ее брат, — связали отца и похитили его записи об одном очень важном открытии. И что с этими записями они теперь пытаются перейти под водой границу и бежать в Турцию.

Милиционер, Федор Степанович, спрашивает:

— Как это — под водой?

Таня объясняет, что ее отец занимается проблемой дыхания под водой и создал такой состав, который, если его впрыснуть в кровь, исключает необходимость дышать легкими. Володя, то есть ее брат, знал об этом, и сейчас он и тот незнакомый мужчина впрыснули себе состав и ушли в море.

А профессор, Георгий Николаевич, в это время так и лежит без сознания.

Милиционер тогда подходит к профессору, берет его за руку, шупает пульс. Потом говорит Тане, что он у себя из дома уже вызвал «скорую помощь» из поселка и что они с минуты на минуту будут. Потом спрашивает, когда те люди ушли.

Таня отвечает, что часа два назад. Она лежала в воде, проснулась, потому что рядом кто-то крикнул, вошла в дом и увидела, что отец лежит связанный. Она его развязала. Отец ей только успел сказать, что был Володя с незнакомым человеком, и потерял сознание.

Федор Степанович подумал один миг, Тане сказал, чтобы она «скорую» ждала, и кивает мне:

— Пошли.

Выходим. Он говорит:

— Что это она насчет «под водой»? Бредит?

Я объясняю, что нет. Что она и сама под водой лежала и что неделю назад я видел, как мужчина тоже надолго-надолго нырял.

Милиционер покачал головой.

— Под водой, — говорит, — или над водой, но границу

они не перейдут. Течение в эту сторону очень сильное. Тут двое рецидивистов в прошлом году тоже пробовали с аквалангами перейти.

Потом прищурился остро.

— Они здесь где-нибудь поблизости должны выбрать-ся обратно на берег. Идем!

Стали мы спускаться. Милиционер впереди. Спина у него широкая, и он ловко-ловко идет по тропинке, будто видит в темноте. И вдруг у меня полная уверенность в сердце сделалась, что раз он здесь, то все-все будет в порядке: и Володю с часовщиком мы поймаем, и Танин отец поправится. Вспомнил и свои прежние мысли о нем, когда мы на автобусной станции на него смотрели, и так мне стыдно стало. И при этом же я все время думаю, что вот Володя-то, оказывается, Танин брат, и поэтому она, значит, его целовала...

Спустились к морю. Он говорит:

— Здесь останешься. Вот сюда спрячься. Увидишь кого, ни слова не говори, пропусти и беги за мной. А я там дальше буду встречать.

Положил меня за большой камень, а сам пошел по берегу.

Я лежу. Минут пять проходит. Еще сколько-то... Море дышит впереди и чуть-чуть светится. Но темно. Почти ничего не видно. Потом слышу какой-то новый звук. Вроде как галька стукнула где-то слева.

Глаза вытаращил, шею вытянул. И вижу: действительно, две темные фигуры идут по берегу. Я прямо в камни вдавился и думаю: вот сейчас надо за милиционером бежать.

Вдруг за спиной шепот:

— Тихо... Лежи.

Оборачиваюсь, милиционер сзади.

Те двое скрылись за грудой больших камней. Милиционер за ними. Я тоже встал и тихонечко за милиционером. Он оглянулся, жестом показывает мне лечь. Злобно так. Сам сделал еще два шага и вдруг громко командует:

— Стой! Руки вверх!

Там камни зашумели. И — бац! — оттуда выстрел. Вспышка блеснула, и пуля вжикнула над нами. Милиционер ко мне обернулся и как бросил меня на камни!

А оттуда голос. Володин голос:

— Не надо! Мы не будем стрелять. Мы сдаемся!..

Голос жалобный, испуганный. Не такой, как всегда у Володи был. Потом возня какая-то. Опять Володин голос:

— Не надо!..

И еще выстрел. Кто-то охнул.

Милиционер как прыгнет вперед. Там еще выстрел. Потом тишина.

Я тогда вскочил и — туда же, за милиционером. Перелез через камни, смотрю, кто-то лежит, и милиционер стоит на коленях. Поднял голову, потом опять склонился над тем, кто лежит.

И говорит:

— Ему уже не поможешь... Будь здесь.

Вскакивает и исчезает в темноте.

А я вижу, что это Володя лежит. И не понимаю, что с ним. Взял его руку, рука тяжелая.

Невдалеке опять выстрел раздался. Еще один, еще...

Я Володину руку опустил, и все не могу догадаться, что же случилось. Я ведь никогда не видел, чтобы люди умирали. Минут пятнадцать так прошло. Все сижу и думаю: в обмороке Володя, что ли, ушибся? Глупо ужасно.

Потом опять шаги в темноте. Все ближе, ближе. Появляется тот мужчина, часовщик. Идет, опустив голову.

А сзади Федор Степанович, милиционер. Подошли, остановились. Федор Степанович говорит:

— Ну, что? Чьих рук дело, сволочь?

И тут же слышим, наверху мотоциклы рычат. Это пограничники приехали на выстрелы...

Короче-то говоря, оказалось, что Володя в последний момент передумал все, хотел сдаться и повиниться, а тот часовщик убил его наповал выстрелом в сердце. Часовщик был крупным жуликом, спекулировал драгоценными камнями, выстроил себе дачу, автомобиль купил, и всякое такое. Но потом его начали прижимать, интересоваться, откуда у него все: он почувствовал, что его могут разоблачить и задумался, куда убежать.

Но самое главное во всей этой истории было, конечно, не это. Самое главное то, что Танин отец — не один, а вместе со своей лабораторией — создал способ дышать под водой. Они занимались этим несколько лет, но все что-то не удавалось. А в последний месяц, когда Николай Григорьевич приехал сюда, ему в голову пришло решение.

Он поставил несколько опытов на мышах, потом на собаке. Проверил, затем испытал уже сам на себе и, наконец, на Тане.

Володя же — сын Николая Григорьевича и родной брат Тани. Про медицинский институт и про то, что у него никого родных нет, он мне врал. Мать у них действительно давно умерла, но не это имело главное значение. А просто Володя был очень гордый, самолюбивый, считал, что он умнее и выше всех. С отцом они часто ссорились. Потом у Володи в школе, в десятом классе, произошла какая-то некрасивая история, — я не знаю, какая — и, в общем, отец его прогнал и даже запретил дома называть его имя. Володя жил неизвестно где, но не работал. Постепенно он пришел к выводу, что ему с его талантами не развернуться в нашей стране, решил сделать предательство и перейти границу. На этом он как-то познакомился и стакнулся с заросшим часовщиком, который держался тех же мыслей.

А я-то верил Володе и восхищался им. Каким же оказался дураком!..

Домой в ту ночь я попал только под утро. Пришел, а на даче скандал. Мать уже весь поселок обегала, искала меня. Ну, я, конечно, ей рассказал, как все было.

Николай Григорьевич умер на следующий день. Перед смертью он пришел в себя и был в ясном сознании. Дневники и записи о его открытии ему принесли обратно. Про Володю скрыли, что он убит, а выставили дело так, будто Володя в какой-то миг понял, что он делает, перерешил, сам вышел на заставу и привел того часовщика. И будто бы Володя сейчас находится под следствием.

Умер Николай Григорьевич в десять часов вечера, Таня, как мне рассказывали, не отходила от него ни на секунду, была очень спокойна и ничем не выдала настоящую правду про своего брата.

И еще до того, как Николай Григорьевич скончался, к нему стали приезжать со всего Советского Союза. Просто каждый час из Батуми с аэродрома автомобили шли. И все академики, знаменитые ученые. Из Киева, из Москвы, из Ленинграда. Из ЦК партии Украины тоже приехали, а телеграммы посыпались просто отовсюду.

Вечером прилетел директор того научного института, где работал Николай Григорьевич, и успел застать его в живых. А еще через день приехал Михаил Алексеевич

Мельников — любимый ученик Николая Григорьевича, с которым он вместе сотрудничал.

По всем этим приездам мы и поняли, что за человек был Танин отец Николай Григорьевич Коростылев. А потом я уже подружился с Михаилом Алексеевичем, и он мне многое рассказал.

Оказывается, профессор Коростылев последние годы был тяжело, смертельно болен, и врачи полностью запретили ему умственный труд. Поэтому хотя его открытие — дышать под водой — уже близилось к завершению, в институте решили пойти на отсрочку в год или два и тем спасти Николая Григорьевича. Они даже закрыли лабораторию, которую возглавлял Танин отец. Поэтому же и Михаил Алексеевич отказался тогда ему помочь. Но он все равно продолжал работать и уже здесь, в Асабине, сделал решающий шаг. Заболел Николай Григорьевич во время войны в фашистском концлагере в Польше. Он был героем, спас много поляков, и в Варшаве есть больница, названная его именем.

А суть его открытия состоит вот в чем. Когда он был еще совсем молодой, он заинтересовался вопросом: как удастся китам в течение часа и даже больше оставаться под водой. Чтобы изучить это дело, Николай Григорьевич ездил во Владивосток, ходил там вместе с моряками на китобойном судне и делал наблюдения. И увидел, что у некоторых видов китов мышцы не красные, а почти черные. Он стал исследовать эту проблему и понял, что кит запасает воздух не только в легких, но и во всех мышцах. То есть даже не воздух, а просто кислород.

Оказалось, что так оно и есть. Что у кита в теле есть большое количество дыхательного пигмента — миоглобина. Кислород связывается в молекулах миоглобина и по мере надобности поступает в работающие ткани. А углекислоту, которая выделяется при дыхании, кит умеет надолго задерживать в крови и не допускать в мозговые центры.

Но это все касалось китов. А как же быть человеку? И Николай Григорьевич сказал себе, что должен быть создан такой состав, который, если его впрыснуть в кровь, будет постепенно выделять в кровь кислород и постепенно связывать выделяющуюся углекислоту. Тогда отпадет необходимость в легочном дыхании. Над этой проблемой Танин отец трудился всю жизнь и, в конечном счете, ре-

шил ее. Но это легко сказать «решил». Для решения надо было быть крупнейшим специалистом и по химии, и по биологии, и по кибернетике, и даже по математике. И Николай Григорьевич стал одним из самых образованных людей нашего времени. После войны он приучил себя спать не более четырех часов в сутки, пятнадцать лет работал, как одержимый, и так же заставлял работать других. У него были труды и по теории вероятности, и по коллоидам, насчет полимеров и всякое такое. Вся его жизнь была подвигом, и его в качестве специалиста приглашали на свои съезды математики, биологи и химики.

Михаил Алексеевич — он молодой ученый, ему лет тридцать — рассказывал мне обо всем этом на третий день после смерти Таниного отца. Мы с ним были на берегу возле Таниной дачи, и Михаил Алексеевич сказал, что здесь у самого моря Николаю Григорьевичу будет поставлен памятник, потому что он один из тех первых людей, которые по-настоящему завоюют океан для человечества.

Там у дачи есть скала, которая вдаётся в море. Тогда был вечер, солнце спускалось, и в то время, когда мы ходили по гальке и разговаривали, на скале стоял какой-то парень и смотрел вдаль. Этот парень был живой, конечно, но одновременно почему-то казался статуей, воздвигнутой в честь начинающегося штурма великой морской стихии. Мы это оба заметили — и дядя Миша, и я.

Здорово было...

Вообще, эти пять дней оказались у меня такими заполненными, что и минуты свободной не было. Три раза я давал показания: в милиции, потом какой-то комиссии, потом еще пограничникам о том, как я первый раз увидел часовщика, как встретил их возле дачи и как Володя говорил: «Я ручаюсь».

Ребята — волейболисты эти — тоже вдруг меня зауважали. Я им все подробно рассказывал, и сейчас я вижу, что они совсем не такие, какими мне раньше показались. Мы подружились за последние два дня, адресами обменялись и в Москве будем, наверное, встречаться...

...А сейчас вечер. Мама уснула, а я сижу у окна.

Кончается это лето. Я очень вырос. Куртка, которую весной покупали, на меня почти не лезет: руки из рукавов торчат сантиметров на двадцать. Голос у меня переменялся, густой стал. И плечи расширились.

Но это все не так уже важно. У меня чувство, будто я

что-то серьезное понял. И не могу выразить это словами. Милиционер-то, Федор Степанович, оказался настоящим человеком, нужным для жизни. Он ведь один здесь в Асабине, и без него нельзя.

А Володя теперь мне представляется маленьким-маленьким. Хотя он был смелый. Когда, например, прыгал с обрыва. Но то была какая-то трусливая смелость...

4.

Вчера мы все были у Тани Коростылевой. Праздновали день рождения, ей исполнилось двадцать. Она на третьем курсе университета. На биофаке. Много народу собралось — ее студенты и наша старая компания из Асабина.

Я уже тоже кончил десятилетку, работаю теперь на «Калибре» и учусь на подготовительном в университет. Особо я занимаюсь биологией и иногда бываю у Михаила Алексеевича Мельникова, который обещал взять меня к себе, когда я университет окончу. Впрочем, он сам-то в Москве появляется редко, потому что руководит Институтом подводного дыхания на Черном море. Прошлым летом я там работал лаборантом...

Времени у меня теперь всегда не хватает. С завода придешь, поесть надо, отдохнуть и браться за занятия. Даже посидеть, поразмышлять некогда. А сегодня взялся разбирать завал в ящиках письменного стола и наткнулся на ракушки, которые привез с моря в то давнее лето.

Гляжу на них, и так странно мне сделалось: и смешно и чуточку грустно. Вспомнил Володю, себя в это время. Каким я наивным был. Считал, что обязательно должен стать великим человеком.

И не понимал, что сначала-то нужно просто человеком сделаться, работником,

ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

Артур Кларк

ДО ЭДЕМА

Р а с с к а з

— Похоже, — сказал Джерри Гарфилд, выключая моторы, — что здесь дорога кончается.

Тихо вздохнув, насосы смолкли, и разведочный вездеход «Бродячий драндулет», лишившись воздушной подушки, лег на острые камни Гесперийского плато.

Дальше пути не было. Ни насосы, ни гусеницы не помогли бы Р-5 (как официально назывался «Драндулет») одолеть выросший впереди эскарп. До Южного полюса Венеры оставалось всего тридцать миль, но с таким же успехом он мог находиться на другой планете. Хочешь не хочешь, надо возвращаться, снова идти эти четыреста миль среди кошмарного ландшафта.

День был на редкость ясный, видимость почти тысяча-ярдов. Не требовалось никакого радара, чтобы следить за утесами, вырастающими на пути вездехода; сегодня, в виде исключения, их было видно невооруженным глазом. Сквозь пелену туч, которая ни разу не разрывалась уже много миллионов лет, просачивалось зеленое сияние, создавая впечатление подводного царства; это впечатление усугублялось тем, что все удаленные предметы рас-

плывались во мгле. Так и казалось порой, что вездеход скользит над морским дном, и Джерри не раз чудились вверх, над головой, плывущие рыбыны.

— Связаться с кораблем и сообщить, что возвращаемся? — спросил он.

— Погодите, — сказал доктор Хатчинс. — Надо подумать.

Джерри взглянул на третьего члена экипажа, надеясь на поддержку. Напрасно. Коулмен такой же одержимый, как Хатчинс. Как бы неистово они ни спорили между собой, оба оставались учеными, то есть, с точки зрения рассудительного инженера-штурмана, людьми, которые не всегда способны отвечать за свои поступки. И однако, если Коулу и Хатчу втемяшится в голову продолжать путь, ему останется только выполнять приказ, записав свой протест...

Хатчинс прошелся по тесной кабине, изучая карты и приборы. Потом направил прожектор вездехода на скальную стенку и стал внимательно разглядывать ее в бинокль.

«Не может быть, — подумал Джерри, — чтобы он потребовал от меня штурмовать эту скалу. Р-5, как-никак, всего лишь вездеход, а не горный козел...»

Внезапно Хатчинс что-то обнаружил. На миг задержав дыхание, он затем шумно выдохнул и повернулся к Коулмену.

— Посмотрите! — Его голос дрожал от волнения. — Чуть левее черного пятна! Скажите мне, что вы там видите?

Он передал Коулмену бинокль; теперь тот замер, всматриваясь.

— Черт возьми! — произнес он наконец. — Вы были правы. На Венере есть реки. Это след высохшего водопада.

— Итак, за вами обед в «Бель Гурмете», как только вернемся в Кембридж. С шампанским!

— Запомню, не бойтесь. Да за такое открытие не только что обед!.. И все-таки ваши теории остаются на уровне сумасбродных предположений.

— Стоп, стоп, — вмешался Джерри. — Какие еще тут реки-водопады? Каждый знает, что их на Венере нет и не может быть. В здешней бане такая жарница, пары никогда не сгущаются.

— Вы давно смотрели на термометр? — спросил Хатчинс вкрадчивым голосом.

— Тут только успевай вездеходом управлять!

— Тогда позвольте сообщить вам одну новость: сейчас около двухсот тридцати, и температура продолжает падать. Не забывайте, мы почти у полюса, сейчас зима, и мы на высоте шестидесяти тысяч футов над равниной. Все, вместе взятое, дает такой скачок, что если похолодает еще на несколько градусов — польет дождь. Кипящий, но все-таки дождь, вода, а не пар. А это, сколько бы Джордж ни упирался, совершенно меняет наше представление о Венере.

— Почему? — спросил Джерри, хотя и сам уже догадался.

— Где есть вода, может быть жизнь. Мы излишне поторопились, назвав Венеру стерильной только потому, что средняя температура на поверхности превышает пятьсот градусов. Уже тут значительно холоднее — вот почему я так упорно стремлюсь к полюсу. Здесь, в горах, есть озера, и я желаю взглянуть на них!

— Но ведь *кипящая* вода! — возразил Коулмен. — В ней ничто не может жить.

— На Земле есть водоросли, живут. И разве исследование планет не научило нас: везде, где представляется хоть малейшая возможность для зарождения жизни, она есть. Пожалуйста — возможность, пусть единственная, налицо.

— Хотелось бы проверить вашу теорию. Но вы сами видите: по этой скале не подняться.

— На вездеходе — пожалуй. Но влезть самим по стенке вполне можно, даже в термокостюмах. Нам нужно пройти несколько миль по направлению к полюсу. Радарные карты показывают, что дальше местность ровная, главное эту стенку одолеть. Думаю, уложимся в... ну, самое большее, в двенадцать часов. Нам пришлось и дольше ходить и в куда более сложных условиях.

Совершенно верно... Защитная одежда, рассчитанная на полное предохранение человека на равнинах Венеры, тем более надежна здесь, где температура всего на сотню градусов выше, чем летом в Долине смерти на Земле.

— Хорошо, — сказал Коулмен, — вы знаете правила. Одному выходить нельзя, и кто-то должен оставаться в

вездеходе, держать связь с кораблем. Как решим вопрос на этот раз: шахматы или карты?

— Шахматы слишком долго, — ответил Хатчинс, — особенно, когда играете вы двое.

Он протянул руку к столику и достал из ящика потрепанную колоду.

— Тяните, Джерри.

— Десятка пик. Надеюсь, ваша будет старше, Джордж.

— Я тоже надеюсь... Черт! Всего лишь пятерка треф, Что ж, передайте привет от меня венерианцам.

Вопреки заверениям Хатчинса, стенка оказалась трудной. Не то чтобы очень крутой, но вес кислородного прибора, охлаждаемого термостояма и научных приборов превосходил сто фунтов. Меньшая гравитация — на тринадцать процентов ниже земной — выручала, да не очень. Они карабкались по осыпям, отдыхали на уступах и снова карабкались в подводных сумерках. Зеленое сияние, в котором они купались, было ярче света полной Луны на Земле. «Венере Луна ни к чему, — подумал Джерри. — Ее не увидишь сквозь тучи, и нет никаких океанов, чтобы управлять приливом-отливом, к тому же немеркнувшее полярное сияние гораздо более надежный источник света».

Они уже поднялись более чем на две тысячи футов, наконец стенка сменилась отлогим склоном. Тут и там его пересекали канавы, явно промытые текущей водой. Поискав немного, они вышли к ложине, достаточно широкой и глубокой, чтобы ее можно было назвать руслом реки, и стали подниматься вдоль нее.

— Знаете, я о чем подумал, — сказал Джерри, пройдя несколько сот ярдов. — Что, если нас впереди подстерегает буря? Не хотелось бы встретиться лицом к лицу с валом кипящей воды.

— Если будет буря, — слегка нетерпеливо ответил Хатчинс, — мы услышим ее заблаговременно. Успеем подняться повыше.

Он был несомненно прав, но Джерри, продолжая подъем, ничуть не приободрился. С того самого мига, как они перевалили через гребень и потеряли радиосвязь с вездеходом, в его душе росла тревога. Оказаться в такой момент, в таком месте оторванным от всех людей — непривычно и неприятно... Джерри еще никогда не испы-

тывал ничего подобного. Даже на борту «Утренней звезды», отделенный сотней миллионов миль от Земли, он всегда мог отправить послание своим близким и почти сразу получить ответ. Теперь же несколько ярдов скалы отрезали его от всего человечества; случись с ними что-нибудь, никто об этом не узнает, разве что другая экспедиция набредет на их тела. Джордж будет ждать, сколько условлено, затем возвратится к кораблю — один. «Нет, — сказал себе Джерри, — плохой из меня пионер космоса. Только любовь к замысловатым машинам травмила меня в космические полеты... И некогда было даже задуматься, к чему это может привести. А теперь поздно».

Следуя извивам русла, они продвинулись мили на три по направлению к полюсу, когда Хатчинс остановился, чтобы провести наблюдения и собрать образцы.

— Похолодание продолжается! — воскликнул он. — Сейчас уже сто девяносто девять градусов. На много ниже самой низкой температуры, какую до сих пор отмечали на Венере. Вот бы связаться с Джорджем и рассказать ему!

Джерри проверил все волны, попробовал даже вызвать корабль — прихотливые колебания ионосферы иногда допускали такую дальнюю связь, — но никак не мог уловить шороха несущей частоты сквозь треск и рокот гроз Венеры.

— А это будет даже еще поважнее! — В голосе Хатчинса звучало неподдельное волнение. — Концентрация кислорода возрастает: уже пятнадцать миллионов. У вездехода было всего пять, на равнине вообще почти ничего.

— Но ведь это пятнадцать миллионов! — возразил Джерри. — Все равно нечем дышать!

— Вы ухватили палку не за тот конец, — отозвался Хатчинс. — Никто им не дышит. Но что-то его *производит*. Откуда, по-вашему, кислород на Земле? Он — продукт жизни, деятельности растений. Пока на Земле не появились растения, у нас была атмосфера вроде этой, смесь углекислоты с аммиаком и метаном. Затем возникла растительность и постепенно изменила атмосферу, так что животным стало чем дышать.

— Понятно, — сказал Джерри. — И вы думаете, как раз этот процесс теперь начался здесь?

— Похоже, что так. *Нечто* неподалеку отсюда производит кислород. Проще всего объяснить это присутствием растительной жизни.

— А где есть растения, — задумчиво произнес Джерри, — там, очевидно, рано или поздно появляются животные.

— Совершенно верно, — ответил Хатчинс, собирая свои приборы и продолжая путь вверх по ложине. — Правда, на это требуется несколько миллионов лет. Возможно, мы явились слишком рано. Жаль, если так.

— Все это здорово, — сказал Джерри, — но вдруг мы встретим что-нибудь такое, что нас не взлюбит? У нас нет оружия.

Хатчинс неодобрительно фыркнул.

— Оно нам не нужно! Вы не задумывались над тем, как мы выглядим? Да любой зверь при виде нас пустится наутек.

Действительно, покрывающий их с ног до головы металлизированный костюм-рефлектор напоминал блестящие гибкие доспехи. Ни одно насекомое не могло похвастаться такими замысловатыми усиками, как торчащие из их шлемов и ранцев антенны. А широкие линзы, через которые космонавты глядели на мир, напоминали чудовищные бездумные глаза. Мало земных животных пожела-ли бы связываться с такими тварями; но ведь у венерианцев могут быть свои представления...

Так думал Джерри, когда они неожиданно вышли из озера. С первого взгляда оно навело на него мысли не о жизни, которую они искали, а о смерти. Оно простерлось черным зеркалом в складке между холмами, и дальний берег терялся в вечном тумане, а над поверхностью извивались и плясали призрачные вихри пара. «Не хватает только Харона, — сказал себе Джерри, — готового перевезти вас на ту сторону. Или Туонельского лебедя, который величественно плавал бы взад-вперед, охраняя врата преисподней...»

Но как ни взгляни, это чудо: впервые человек нашел на Венере воду в свободном состоянии! Хатчинс уже стоял на коленях, будто молясь. Впрочем, он всего-навсего собирал капли драгоценной влаги, чтобы рассмотреть их через карманный микроскоп.

— Что-нибудь есть? — нетерпеливо спросил Джерри, Хатчинс покачал головой.

— Если что и есть, то слишком мелкое для этого прибора. Когда вернемся на корабль, я расскажу больше.

Он запечатал пробирку и положил ее в контейнер любуно, как геолог, нашедший золотой самородок. Быть может (и скорее всего), это лишь самая обыкновенная вода. Но возможно также, что это целый мир, населенный неведомыми живыми созданиями, только-только ступившими на долгий, длинной в миллиарды лет, путь к разумной жизни.

Пройдя с дюжину ярдов вдоль озера, Хатчинс остановился так внезапно, что Гарфилд едва не столкнулся с ним.

— В чем дело? — спросил Джерри. — Что-нибудь увидели?

— Вон то черное пятно, словно камень... Я его приметил еще прежде, чем мы вышли к озеру.

— Ну, и что с ним? По-моему, ничего необычного.

— *Мне кажется, оно растет.*

Впоследствии Джерри всю жизнь вспоминал этот миг. Слова Хатчинса не вызвали у него никакого сомнения, он был готов поверить во что угодно, даже в то, что камни растут. Уединенность и таинственность, угрюмое черное озеро, непрерывный рокот далеких гроз, зеленый свет полярного сияния — все это повлияло на его сознание, подготовило к приятию даже самого невероятного. Но страха он — пока — не ощущал.

Джерри взглянул на камень. Футов пятьсот до него, примерно... В этом тусклом изумрудном свете трудно судить о расстояниях и размерах. Камень... А может, еще что-то? Почти совершенно черная плита, лежит горизонтально у самого гребня невысокой гряды. Рядом такое же пятно, только намного меньше. Джерри попытался прикинуть и запомнить разделяющее их расстояние, чтобы можно было установить, происходит ли какое-нибудь изменение.

И даже когда он заметил, что просвет между пятнами сокращается, это не вызвало у него тревоги, только волнение и любопытство. Лишь после того, как просвет совершенно исчез и Джерри понял, что глаза подвели его, душу объяло чувство ужаса и обреченности.

Нет, это не движущийся и не растущий камень! Это черная волна, подвижный ковер, который медленно, но неотвратимо ползет через гребень прямо на них.

Паника, леденящая, парализующая, владела им, к счастью, всего несколько секунд. Страх стал отступать, как только Гарфилд понял, что его вызвало. Надвигающаяся волна слишком живо напомнила ему прочитанный много лет назад рассказ о муравьиных полчищах в Амазонских лесах, как они истребляют все на своем пути...

Но чем бы ни была эта волна, она перемещалась слишком медленно, чтобы представлять действительную опасность — лишь бы ей не удалось отрезать их от вездехода. Хатчинс, не отрываясь, разглядывал ее в бинокль. «Если он, биолог, не тревожится, — подумал Джерри, — то незачем мне делать из себя посмешище, без нужды улепетывать, словно ошпаренный кот».

— Ради бога, — произнес он наконец; до ползущего ковра оставалось всего около сотни ярдов, а Хатчинс все еще не вымолвил ни слова, не шевельнул ни одним мускулом. — *Что это?*

Хатчинс медленно ожил, сбрасывая с себя оцепенение.

— Простите, — сказал он. — Я совершенно забыл о вас. Это — растение, разумеется. Во всяком случае, по моему, вернее всего называть его так.

— Но оно движется!

— Что же тут удивительного? И земные растения движутся. Вы никогда не видели замедленных съемок плюща?

— Но плющ стоит на месте и никуда не ползет!

— Хорошо, а что вы скажете о растительном планктоне в океанах? Он плавает, перемещается, когда надо.

Джерри сдался; впрочем, наступающее на них чудо все равно лишило его дара речи.

Мысленно он продолжал называть его ковром. Ворсистый ковер с бахромой по краям, толщина которого менялась в движении: тут не толще пленки, там — около фута, а то и больше. Вблизи, когда стало возможно различить структуру, он показался Джерри похожим на черный бархат. Интересно, какой он на ощупь? Но тут же Гарфилд смекнул, что «ковер», во всяком случае, обожжет ему пальцы. Внезапный шок часто влечет за собой приступ нервного веселья, и он поймал себя на дурацкой мысли: «Если венерианцы существуют, мы никогда не сможем пожать им руки. Они нас ошпарят, мы их обморозим...»

До сих пор ползущее нечто ничем не обнаружило, что

заметило их присутствие. Оно просто-напросто скользило вперед подобно неодушевленной морской волне. Если бы оно не карабкалось через мелкие препятствия, его вполне можно было бы сравнить с потоком воды.

Вдруг, когда их разделяло всего десять футов, бархатная волна изменила свое движение. Правое и левое крыло продолжали скользить вперед, но середина медленно остановилась.

— Окружает нас, — тревожно произнес Джерри. — Лучше отступить, пока мы не уверены, что оно безобидно.

К его облегчению, Хатчинс тотчас сделал шаг назад. После короткой заминки странное существо снова двинулось с места, и изгиб в его передней части сгладился.

Тогда Хатчинс шагнул вперед — существо медленно отступило. Несколько раз биолог повторял свой маневр, и живой поток неизменно то наступал, то отступал в такт его движениям. «Никогда не думал, — сказал себе Джерри, — что мне доведется видеть, как человек вальсирует с растением..»

— Термофобия, — произнес Хатчинс. — Чисто автоматическая реакция. Ему не нравится наше тепло.

— Наше тепло! — воскликнул Джерри. — Да ведь мы по сравнению с ним живые сосульки!

— Разумеется. А наши костюмы? Оно их воспринимает, не нас.

«Кажется, — мысленно вздохнул Джерри, — я сглупил. Наслаждаюсь прохладой внутри термокостюма, и забыл о том, что охлаждающая установка у меня за спиной выделяет в окружающий воздух струю жара. Не удивительно, что это растение отпрянуло».

— Проверим, как оно будет реагировать на свет, — продолжал Хатчинс.

Он включил фонарь на груди, и тотчас ослепительно белый свет оттеснил изумрудное сияние. До появления на Венере людей здесь даже днем не бывало белого света. Как в глубинах земных морей, здесь царили зеленые сумерки, которые медленно сгущались в кромешный мрак.

Превращение было настолько ошеломляющим, что оба невольно вскрикнули. Глубокая, мягкая чернота толстого бархатного ковра мгновенно исчезла. Вместо нее там, куда падал свет фонаря, простерся, поражая

глаз, великолепный, яркий красный покров, обрамленный золотистыми бликами. Ни один персидский шах не получал от своих ткачей столь изумительного гобелена, а ведь космонавты видели случайное произведение биологических сил. Впрочем, пока они не включали своих фонарей, этих потрясающих красок вообще не существовало — и они снова исчезнут, едва прекратится волшебное действие чужеродного света с Земли.

— Тихов был прав, — пробормотал Хатчинс. — Жаль, не довелось ему убедиться.

— В чем прав? — спросил Джерри, хотя ему казалось святотатством говорить вслух перед лицом такой красоты.

— Пятьдесят лет назад, в Советском Союзе, он пришел к выводу, что растения, живущие в очень холодном климате, чаще всего бывают голубыми и фиолетовыми, а в очень жарких поясах — красными или оранжевыми. Он предсказал, что растения Марса окажутся фиолетовыми, а Венеры — если они там есть — красными. И в обоих случаях оказался прав. Но мы не можем стоять так весь день, надо работать!

— Вы уверены, что оно безопасно? — спросил Джерри на всякий случай.

— Совершенно. Оно не может коснуться наших костюмов, даже если бы захотело. Смотрите сами, уже обошло нас.

В самом деле! Теперь они видели его — если считать, что это растение, а не колония, — целиком. Оно образовало неправильный круг диаметром около ста ярдов и скользило прочь, как скользит по земле тень гонимого ветром облака. А там, где оно прошло, скала была испещрена несчетным множеством крохотных отверстий, словно выеденных кислотой.

— Да-да, — подтвердил Хатчинс, когда Джерри сказал об этом, — так питаются некоторые лишайники. Выделяют кислоты, растворяющие камень. А теперь прошу — никаких вопросов больше, пока не вернемся на корабль. Тут работы на десятки лет, а у меня всего час-другой.

Ботаника в движении!.. Чувствительная бахрома огромного растениеподобного двигалась неожиданно быстро, спасаясь от них. Этаким оживший блин площадью в целый акр! Но если не считать боязни излучаемого тер-

моkostюмами жара, растениеподобное никак не реагировало, когда Хатчинс брал образцы. Влекомое неведомым растительным инстинктом, оно настойчиво скользило вперед через бугры и лощины. Возможно, следовало за какой-нибудь минеральной жилой; на это ответят геологи, изучив образцы пород, которые Хатчинс собрал до и после прохождения живого гобелена.

Сейчас некогда было обдумывать виденное, даже осмыслить все те вопросы, которые вытекали из их открытия. Судя по тому, что они почти сразу набрали на это создание, оно здесь далеко не редкость. Как оно размножается? Побегам, спорами, делением или еще каким-нибудь способом? Откуда извлекает энергию? Какие у него есть родичи, враги, паразиты? Оно не может быть единственной формой жизни на Венере: где есть один вид, должны быть тысячи...

Голод и усталость вынудили их прекратить преследование. Творение, которое они изучали, явно было способно проесть себе дорогу через всю Венеру. (Правда, Хатчинс полагал, что оно не уходит далеко от озера, так как растениеподобное то и дело спускалось к воде и погружалось в нее длинное щупальце-хобот). Но люди с Земли нуждались в отдыхе.

Как приятно надуть герметичную палатку, забраться через воздушный шлюз внутрь и сбросить термокостюмы... Лишь теперь, отдыхая внутри маленького пластикового полушария, они по-настоящему осознали все значение удивительного открытия. Окружающий их мир был уже не тот, что прежде; Венера не мертва, она стала в ряд с Землей и Марсом.

Ибо живое взывает к живому — даже через космические бездны. Все растущее, движущееся на поверхности других планет было предвестьем, залогом того, что человек не одинок в мире пламенеющих солнц и яростно вращающихся туманностей. Если он до сих пор не нашел товарищей, с которыми мог бы разговаривать, это лишь естественно: впереди, ожидая исследователей, простерлись еще световые годы и века. Пока же долг человека охранять и лелеять те проявления жизни, которые ему известны, будь то на Земле, на Марсе или на Венере...

Так говорил себе Грем Хатчинс, самый счастливый биолог во всей солнечной системе, помогая Гарфилду собрать мусор и уложить его в пластиковый мешочек. Ког-

да они, сняв палатку, двинулись в обратный путь, нигде не было видно никаких следов поразительного создания. И слава богу, не то бы они, наверно, не удержались, продолжали бы свои эксперименты, а ведь их срок уже истекал.

Ничего: через несколько месяцев посланники нетерпеливо ждущей Земли вернутся с целым отрядом научных сотрудников, оснащенные куда более совершенным снаряжением. Миллиард лет трудилась эволюция, чтобы сделать возможной эту встречу; она может подождать еще немного.

Некоторое время все было неподвижно в отливающем зеленым мглистом краю. Ушли люди, скрылся алый ковер... И вдруг существо показалось снова, перевалив через выветренную гряду. А может быть, то была другая особь удивительного вида? Этого никто никогда не узнает.

Оно скатилось к груде камней, под которыми Хатчинс и Гарфилд погребли мусор. Остановилось.

Это не было любопытство, ведь существо не могло мыслить. Но химическая жажда, что неотступно гнала его вперед и вперед через полярное плато, кричала: «Здесь, здесь!» Где-то рядом — самое дорогое, нужное ему питательное существо, фосфор, элемент, без которого никогда бы не вспыхнула искра жизни. И оно стало тыкаться в камни, просачиваться в щели и трещины, скрести и царапать пытливыми щупальцами. Любое из этих движений было доступно любому растению или дереву на Земле, с той разницей, что это существо двигалось в тысячу раз быстрее, и всего лишь несколько минут понадобилось ему, чтобы достичь цели и проникнуть сквозь пластиковую пленку.

И оно устроило пир, поглощая самую концентрированную пищу, какую когда-либо находило. Оно поглотило углеводороды, и белки, и фосфаты, никотин из окурков, целлюлозу из бумажных стаканов и ложек. Все это растворило и ассимилировало без труда и без вреда для себя.

Одновременно оно поглотило целый микрокосм живых существ: бактерии и вирусы, обитателей более старой планеты, где развились тысячи смертоносных разновид-

ностей... Правда, лишь некоторые из них смогли выжить в таком пекле и в такой атмосфере, но этого было достаточно. Отползая назад, к озеру, живой ковер нес в себе гибель всему своему миру.

И когда «Утренняя звезда» вышла в обратный путь к далекому дому, Венера уже умирала. Пленки, негативы и образцы, которые так радовали Хатчинса, были драгоценнее, чем он подозревал. Им было предназначено остаться единственными свидетельствами третьей попытки жизни утвердиться в солнечной системе.

Закончилась история творения под пеленой облаков Венеры.

*Перевод с английского
Л. Жданова*

Абэ Кобо

ТОТАЛОСКОП

Р а с с к а з

Есть пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но я, вероятно, жаден от природы, я не мог примириться с тем, что нельзя поймать сразу двух зайцев, а потому придумал способ слить двух зайцев в одного. Уж одного-то зайца поймать не так трудно. Но поскольку этот мой заяц состоит все-таки из двух, тело его как бы сшито из двух частей, причем шов сам бросается в глаза. На вид мой заяц неказист, да с этим уж ничего не поделаешь. Впрочем, если разрезать его по шву, то каждая половина в качестве отдельного зайца могла бы с успехом иметь самостоятельное хождение. Таким образом, моего сборного зайца можно использовать дважды. Например, при переписке двух корреспондентов. Один пошлет другому первую половину, другой в ответ пошлет вторую. Все равно хуже, чем при погоне за двумя зайцами, не будет.

Итак, намереваясь, по пословице, сбить одним камнем двух птиц, я презентую переднюю часть своего составного зайца любителям научной фантастики, а заднюю часть — любителям детектива.

Прошу вас, Кимура-сан, мы ждем вашего рассказа... Да, одну минуту! Пока вы будете излагать первую, научно-фантастическую половину рассказа, вам, пожалуй, лучше не говорить, кто вы такой... До второй половины будьте простым, незаинтересованным рассказчиком.

Понятно. Итак, господа, по желанию автора я не стану представляться вам, пока не подойду ко второй, декативной части рассказа. Заметьте, однако, что рассказ этот странен и удивителен, какова бы ни была моя профессия. Мало того, соль первой половины рассказа никакого отношения к моему существованию... Вернее, мое существование можно совершенно игнорировать... Впрочем, довольно предисловий. Э-э... Коротко говоря, вся эта история... Если рассказывать все по порядку... Э-э... Скажите, приходилось ли вам слышать когда-либо о «Плане Т»? Нет? Ну, тогда о плане «Тотаско»? Тоже не слышали? Ну, а если я скажу, что «Тотаско» — это сокращение от слова «Тоталоскоп»? Уж теперь-то вы должны вспомнить... Что? Объемное кино? Нет, нет, ничего подобного. Сказать так — это все равно, что вообще ничего не сказать... Идея тоталоскопа на сто голов выше первобытной идеи объемного кино.

Начнем с того, что изображение в объемном кино, как бы реалистично оно ни выглядело, проецируется на экран, который всегда находится вне зрителя. Это всего лишь развитие идеи старинного плоского кино. Другое дело — тоталоскоп. Тут экран создается внутри зрителя. Понимаете? Внутри! Тоталоскоп коренным образом отличен от кино, воздействующего на элементарные органы чувств: на зрение, слух, обоняние. И если уж говорить о кино, то слово «объемное» следует заменить словом «совершенное» или «абсолютное».

Дело в том, что тоталоскоп одновременно и всесторонне воздействует на всю сенсорную систему человека, на все его нервы, ведающие ощущениями и восприятиями. В тоталоскопе зритель не просто слушает и смотрит то, что ему демонстрируют, он воспринимает действие как участник его. В тоталоскопе изображение передается не светом и не звуком, а электрической стимуляцией непосредственно клеток головного мозга и нервов. А кинопленку в нем заменяет род магнитной записи, которая переводит изображение на язык напряжений, частот и интенсивностей.

«План Т» можно было бы назвать квинтэссенцией последних достижений науки. Он предусматривал использование всех новейших открытий в области нейрофизио-

логии и электроники. Компания «Тоё-эйга» вложила в него деньги, и вот за три года до описываемых событий начала его осуществлять. Работы велись в строжайшем секрете. Но полностью тайну соблюсти не удалось. Да это и понятно. Разве можно сохранить в тайне создание чудодейственного средства, воскрешающего кинопромышленность, которая погибает в конкурентной борьбе с телевидением? И не удивительно, что «План Т» вскоре подвергся всевозможным давлениям извне. Особенно тяжело было с капиталовложениями. Чтобы выйти из тупика, президент компании «Тоё-эйга» господин Куяма решил основать отдельное акционерное общество «Т», во главе которого он поставил некоего господина Уэду, одного из преданных ему директоров-распорядителей.

Ну вот, такова в общих чертах подоплека... А теперь я расскажу о необычайных происшествиях, имевших место во время первого пробного просмотра первых тоталоскопических фильмов после того, как «План Т» был осуществлен. Впрочем, сначала, пожалуй, следовало бы вкратце изложить историю создания этих фильмов.

Если конструирование аппаратуры оказалось невероятно трудным делом, то и проблема сценария не была пустячком. Ведь для тоталоскопического фильма обычная история, где кто-то входит, а кто-то выходит, не имела никакого смысла. И вот группа специально подобранных писателей дни и ночи напролет обсуждала вопрос, как лучше использовать в сценарии все возможности тоталоскопа.

В чем главная особенность тоталоскопического сценария? Само собой, зритель тоталоскопического фильма — не стороннее, третье лицо по отношению к действию, он — непосредственный участник действия, причём не наблюдатель, а главный персонаж.

Из этого и старались исходить, работая над сценарием. Сценарная комиссия пришла к выводу, что тоталоскопические ленты могут быть трех типов:

А. Запись осуществленных желаний.

Б. Запись необычайных приключений в пространстве.

В. Запись необычайных приключений во времени.

Попробую вкратце объяснить, что здесь имелось в виду.

А—это, например, счастливая любовь. Жизнь в качестве императора. Перевоплощение в красавца или кра-

савицу, в полновластного диктатора и осуществление всех желаний. Перевоплощение в миллионера... и тому подобное.

Что касается *Б*, то здесь речь идет, например, о том, чтобы летать по воздуху, стать невидимкой. Совершить путешествие на Марс. Испытать ужас при встрече с чудовищем. Совершить убийство, ограбление, другое какое-нибудь преступление... и прочее.

Относительно *В* мнения членов комиссии разделились. Одни считали, что передать сжатый опыт долгой жизни невозможно. Другие возражали. Соображения первых сводились к следующему. В обычном кино сжатие времени не более чем внешний прием, когда временные интервалы минуются посредством психологического скачка. В тоталоскопе, где зритель все должен пережить на личном опыте, такой скачок совершенно невозможен. Но возражавшие опровергали эти доводы, указывая на относительность времени. Действительно, если магнитофонную запись игры оркестра, продолжавшейся час, прокрутить за десять минут, обыкновенный человек не услышит ее. Но если этот человек будет двигаться во времени со скоростью, соответствующей темпу воспроизведения, он воспримет игру оркестра так же, как если бы она продолжалась час.

Рассмотрев доклад комиссии, правление решило:

1. Записи типов *А* и *Б* можно, по-видимому, сочетать в одном сценарии.

2. Принимая во внимание, что председатель правления господин Уэда проявил к записи типа *В* особый интерес, следует попытаться в виде эксперимента создать сценарий на основе такой записи.

Что ж, это было разумно. Ведь если бы эксперимент удался и оказалось возможно передавать опыт пятичасового бытия за пять минут, это дало бы колоссальный выигрыш даже с точки зрения коммерческой...

И вот, руководствуясь указаниями правления, сценарная комиссия быстро состряпала два проекта экспериментальных сценариев: один на основе сочетания записей *А* и *Б*, другой — на основе *В*.

Сценарий на основе *А* и *Б* сочетал приключения при встрече с чудовищем и счастье разделенной любви. Но первоначальный вариант сюжета имел несколько иной вид.

Некий юноша заполучает карту острова сокровищ. Какого-то островка в Южных морях. Прибыв на остров, он обнаруживает, что там живет доисторическое чудовище Дзогаба. Юноша несколько раз попадает в опасные ситуации, однако с честью выходит из них, находит в конце концов сокровища и становится мультимиллиардером.

— Не хватает женщины! — тут же заявил один из членов комиссии.

— И потом нужно, чтобы герой защищался от чудовища каким-нибудь остроумным способом, — добавил другой.

Проект сценария передали на доработку второму писателю. В измененном виде сюжет выглядел так.

Некий юноша заполучает карту острова сокровищ. Это островок в Южных морях, и юноша попадает на него после долгого путешествия на корабле. Вместе с ним на берег высаживается влюбленная в него девушка, плывшая на корабле зайцем. Вдобавок на острове проживает первобытное чудовище Дзогаба. Девушка беспомощна и ничего не умеет делать. Юноша ее бранит, и она горько плачет. Но вот нападения Дзогабы ставят юношу в очень стесненные обстоятельства. И тут именно девушка обнаруживает у чудовища слабое место. Дзогаба начисто лишен обоняния! И он решительно не способен отличить человека от чучела. Молодые люди совместными усилиями изготавливают чучело, подсовывают его Дзогабе и, пока чудовище отвлечено, благополучно отыскивают сокровища. Юноша преисполнен благодарности к девушке, и они счастливо соединяются...

Члены комиссии животы надорвали от смеха. Они признали, что это самая нелепая история, какую им пришлось слышать, и она несомненно отвечает вкусам публики. А когда проект был утвержден (после нескольких мелких поправок и уточнений; так, решили сделать юношу молодым ученым, а девушку взять самую сексуальную, какую можно найти), один из членов комиссии, специалист по психологии кино, задал чрезвычайно важный вопрос:

— Простите, господа, а кто в этом сценарии главное действующее лицо? В кого будет перевоплощаться зритель?

— Ну, разумеется, молодой ученый... А, вот что вы

имеете в виду! Вы думаете, что когда зрителем будет женщина, это может вызвать затруднения?

— Вовсе нет. Как раз это не имеет никакого значения. Ведь, известно, что самое большое желание любой женщины — это стать мужчиной... Нет, дело не в этом. Вот у меня сложилось впечатление, что сюжет этот уж слишком похож на сюжеты фильмов обычного кино.

— Что же вы предлагаете?

— Видите ли... Короче говоря, по моему глубокому убеждению, главным действующим лицом следует сделать это самое чудовище.

— Чудовище?! — в один голос вскричали все члены комиссии. — Дзогаба — главное действующее лицо! Да это эпохальная идея!.. Да это потрясающе!... Гениальная мысль!

— Одну минуту, дайте мне договорить. Вовсе это не счастливое озарение, а просто логическое умозаключение. Почему фильмы о чудовищах одно время так притягивали публику? Потому что это рассказы о победе разума над грубой силой? Чушь! Публику привлекала свирепость чудовищ! И это легко доказать. В тех фильмах, где самые ужасные чудовища оказывались смиренными, как статуи Будды, публика не была заинтересована. На такие фильмы ходило вдвое меньше зрителей. Да, публику притягивало именно сверхзверство монстра... совершенно так же, как ее притягивают жестокие фильмы о войне... ее бесчеловечность! И именно поэтому даже в старых, обычных фильмах чудовищ старались делать главным действующим лицом. Разумеется, пока экран находился вне зрителя, переместить ощущения чудовища в зрителя было невозможно, и мне кажется, только поэтому продюсерам приходилось идти на идею победы человека над зверем.

— Действительно! Тоталоскоп дает возможность переместить в зрителя ощущения любого существа, и нам не стоит стесняться чудовища — главного героя, не так ли?

— Совершенно верно. А какая это полировка крови — в наш просвещенный век превратиться на часок в свирепое непобедимое чудовище и всласть побуйствовать!

— Да, да! Не говоря уже о том, что, сделав чудовище главным действующим лицом, мы сразу удовлетворяем и требованию типа А — осуществление желания, и требованию типа Б — необычайные приключения в прост-

ранстве... Великолепно! Дух захватывает, как представишь себе это!

— Вот только как быть с любовью? — тихонько сказал один из членов комиссии. — Она у нас выпала...

— Ничего подобного! Вставим в сценарий самку Дзогабы, и все будет в порядке. Любовь в первоизданном виде. Колоссальная любовь! Ну, не прекрасно ли это?

— Замечательно! Колоссальная любовь!

Члены комиссии ржали, утирая слезы. Так благополучно закончилось обсуждение проекта первого экспериментального сценария.

Со вторым сценарием — о необычайном опыте во времени — дело обстояло сложнее. Слишком уж четко была определена задача. Между тем длительность временных промежутков сама по себе создавала ощущение монотонности, что неизбежно вело к скуке. Сразу же решили, что сценарий должен быть биографическим, жизнеописательным и называться «жизнь такого-то». Но вот кого взять субъектом киногобиографии? Долго перебирали разные возможности, но остановиться на какой-либо так и не смогли. Тогда список претендентов сократили до четырех человек и решили предоставить все случаю — вытянуть жизнеописание по жребию. Вот этот список:

ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА.

ЖИЗНЬ ТОЕТОМИ ХИДЭСИ*.

ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА.

ЖИЗНЬ ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ.

Жребий пал на «Жизнь Наполеона».

Когда сценарий был готов, приступили к изготовлению тоталоскопических лент. Сначала перевели сценарий на язык электронной машины. Затем вложили его в электронную машину. Ни актеров, ни декораций не требовалось. В машину уже были заложены всевозможные элементы актерской игры, различные чувства, пейзажи. Правда, совершенно уникальные представления, как, например, облик Дзогабы, пришлось моделировать специально и вводить в программу машины дополнительно...

Ленты были готовы.

Несколькими днями позже закончился монтаж тоталоскопического оборудования. Решено было произвести пробный просмотр. Были приглашены дельцы и работники кино, а также корреспонденты газет.

* Один из военных диктаторов феодальной Японии, (Прим. перев.)

Гостей собрали в подвале лабораторного здания, помещении несколько убогом. Но в тот день там царила атмосфера необыкновенного волнения и жадного любопытства. И не даром. Ведь если эксперимент увенчается успехом, это будет не только революция в киноделе. Это будет означать, что кино вновь займет королевское положение в промышленности развлечений...

Люди настороженно оглядывались, переговаривались вполголоса:

— А где же экран?

— Говорят, экран им не нужен. Фильм демонстрируется прямо в мозгу зрителя или что-то в этом роде...

— Ну и ну! Но тогда каждому зрителю надо придать какой-то аппарат...

— А вот он, смотрите... Видите, эта камера...

— Хо-хо-хо! И туда нужно входить? Да, это нечто совсем новое...

Все с любопытством смотрели на сверкающий металлический ящик величиной с телефонную будку. Затем перед ящиком появился президент «Тоё-эйга» господин Куяма.

— Позвольте, господа, — начал он, — поблагодарить вас всех за то, что вы в такой радостный для нас день почтили нас своим присутствием. Вы, должно быть, уже знаете из пригласительных билетов, что самоотверженные усилия председателя правления акционерного общества «Т» господина Уэды увенчались наконец успехом. Тоталоскоп, это чудо нашего века, создан. Древний западный философ Аристотель как-то сказал, что жизнь человека есть его опыт. Изобретение тоталоскопа безгранично обогащает этот опыт, широко раздвигает рамки человеческой жизни. Отныне оказывается возможно за небольшую плату пережить биографию любого великого человека. И вот о чем я подумал, когда господин Уэда доложил об окончании работ. Жизнь прожита не даром! Наш замысел осуществился. И те, кто вложил капитал в это дело, несомненно, удовлетворены. А почему? Дело в том, что тоталоскоп — это не просто новый вид кинематографа. В отличие от всех других видов искусства, он создает неслыханно тесную связь со зрителем. Ведь старое кино и телевидение были для зрителя всего-навсего источником мимолетных удовольствий. Другое дело — тоталоскоп. С его появлением людям нечего будет ворчать

на скуку и однообразие существования. Они смогут выбирать себе биографии по вкусу. Мне думается, если позволят им средства, они всю жизнь будут торчать в тоталоскопических боксах. Да возьмите хотя бы меня. Я стар и последние годы своей жизни хотел бы провести при помощи тоталоскопа веселым юношей, так и умереть во сне... А потому... Это, конечно, пока только мое личное мнение, но в ближайшем будущем разумно будет учредить нечто вроде «Т-страхования». Пока человек молод, он вносит деньги, а к старости, когда наберется установленная сумма, он получает в свое распоряжение тоталоскопический бокс и живет жизнью других людей. Тогда исчезнет это чудовищное противоречие нашего существования: пока мы молоды, мы вынуждены работать, а едва успеваем обеспечить себя, как наступает старость. Подумайте, каждый старик сможет встретить свой последний день веселым, прекрасным юношей... Поистине, ничего лучше еще не было. Разве это не благодеяние для всего рода людского? Нет, это великолепно. Я уверен, что идея «Т-страхования» будет всеми встречена с восторгом. Уже теперь не приходится сомневаться, что тоталоскопическая промышленность станет самой процветающей отраслью производства...

Он с торжеством оглядел собравшихся. Многие гости удовлетворенно кивали, другие, словно побитые, отводили глаза и упорно глядели на кончики носков своей обуви. Среди этих унылых и подавленных были не только руководители других кинокомпаний и держатели акций телевизионных фирм, но и бывшие члены руководства «Тоё-эйга», те, кто всеми силами противился выделению «Т» в качестве дочерней компании. Ничего не поделаешь, приходилось делать вид, будто только и ждешь случая приобрести на деньги, полученные при выходе из дела, тоталоскопическое оборудование...

После приветственного слова господина Куямы поднялся главный технический руководитель и коротко объяснил принцип действия аппаратуры.

— ...Поскольку тоталоскоп, в отличие от обычного кино, не имеет внешнего экрана, а создает внутренний, этих экранов, естественно, должно быть столько же, сколько зрителей. Вот этот бокс, который вы, господа, видите перед собой, и содержит необходимые устройства для создания у зрителя внутреннего экрана. Зритель входит

сюда, садится на стул и по указанию служителя, передаваемому по телефону, производит манипуляции с кнопками и верньерами на пульте перед собой. Вот и все. Далее аппаратура автоматически настраивается на индивидуальные характеристики зрителя и сама пускает в ход демонстрационное устройство. В нынешней модели приемо-передатчик работает на проводной связи, но в будущем мы перейдем на радио, и мы надеемся, что со временем тоталоскопические боксы станут достоянием любой семьи... Но пора начинать демонстрацию. К сожалению, за один раз мы можем показывать фильм только одному зрителю. Но мы постараемся удовлетворить всех желающих одного за другим, насколько нам позволит время. Первым же зрителем тоталоскопа, по нашему решению, будет ведущий киноартист компании «Тоё-эйга», звезда экрана господин Оэ Куниёси. Вторым зрителем по праву будет практический руководитель работ над тоталоскопом, председатель акционерной компании «Т» господин Уэда... Господин Оэ, прошу вас. Первый тоталоскопический фильм называется «Дзобага в Токио»!

Продолжительные аплодисменты. Оэ нарочито беспечно, со всем известной ослепительной улыбкой пожимает руку господину Куяме и при помощи служителя забирается в бокс. Дверь бокса закрывается. Вспыхивает красная лампа, затем ее сменяет зеленая.

— Настройка закончена, — объясняет техник.

Фильм начинается. Гости освежаются пивом и коктейлями и переговариваются между собой:

— А что это такое «Дзобага в Токио»?

— Говорят, что зритель в этом фильме перевоплощается в доисторическое чудовище...

— Ха! Это самая подходящая роль для господина Оэ...

Зеленая лампа гаснет, снова зажигается красная.

— Демонстрация закончена, — объявляет техник. — Сейчас господин Оэ расскажет нам, что он переживал и пережил... Между прочим, господа, извините меня, но прошу вас на время отойти подальше, вон в тот угол. Есть основания опасаться, что господин Оэ в настоящий момент все еще сильно возбужден. Имейте в виду, он только что был чудовищем Дзобагой, минуту назад он сеял в Токио смерть и разрушения, стремясь освободить из зоопарка свою самку Дзорэру, закованную в цепи толщиной в десять сантиметров..

Взрыв хохота. В ту же секунду дверь бокса распаивается, и оттуда, потрясая скрюченными, как когти, пальцами и скрипя зубами, вылетает господин Оэ. Он издает страшный рев и бросается на служителя. Тот с визгом кидается бежать. Господин Оэ мчится за ним. Фото-корреспонденты мчатся за Оэ. Гостей охватывает паника.

— Господин Оэ! — кричит другой служитель. — Господин Оэ! Фильм закончен!

Оэ поворачивается и набрасывается на него. Он хорошо вошел в эту роль, как и подобает опытному актеру. Лицо его ужасно, движения хищные и угрожающие. Сви-репость Дзогабы так и выпирает из него. И страшно то, что он все никак не может прийти в себя. Среди приглашенных несколько дам, визг и шум поднимаются не на шутку. Наконец четверо или пятеро наиболее сильных мужчин набрасываются на господина Оэ, одолевают его и выволакивают из помещения.

— Спокойствие, господа! — кричит технический руководитель. — Все уже в порядке! Ему сейчас дадут успокоительного, и он очнется... Но каков эффект! Успех выше всяких ожиданий!.. Видимо, зрителям в порядке профилактики придется перед демонстрацией давать что-нибудь... Нет-нет, разумеется, только в тех случаях, когда фильмы такие острые и впечатляющие... Нужно будет рассмотреть этот вопрос... Э-э... Однако, перейдем к следующему фильму. Он называется «Жизнь Наполеона». Впрочем, не знаю... Господин Уэда, как вы, не отказываетесь?

— Я готов... Я готов... Я не так молод, как господин Оэ... и темперамент у меня не тот... Я гарантирован...

В напряженной атмосфере еще не остывшего волнения вспыхивает смех. Господин Уэда, дергаясь всем своим маленьким туловищем на коротких ножках, скрывается в боксе.

Красная лампа... Зеленая лампа.

— Да, вот это успех!

— Прямо-таки потрясающий... При неосторожном обращении с этой машиной можно таких дров наломать...

— Но если применять ее умело, подумайте, какие возможности в воспитании добродетельного человека...

— Как бы то ни было, ясно, что это величайшее изобретение века...

— Да, старое кино и телевидение уходят в безвозвратное прошлое...

— Между прочим, жизнь Наполеона в этом фильме показывают от рождения до самой смерти?

— Вряд ли...

— Но ведь говорили же о сокращении опыта во времени...

— Нет, просто переживания, связанные со смертью, неприятны... Скорее всего, фильм доводится до того момента, когда он становится императором и находится в зените могущества...

— Гм... Могу себе представить, каким надутым выйдет из бокса господин Уэда...

Зеленый огонь гаснет. Зажигается красный. Гости ждут, затаив дыхание. Дверь открывается.

Но господин Уэда не выходит. В чем дело? Переволокнулся? Не выдержало сердце?

Взволнованный служитель боязливо заглядывает в бокс и вдруг кричит:

— Беда! Он исчез!

Исчез? Что за чепуха? Гости обступают бокс. Да, как это ни странно, служитель прав. Господин Уэда исчез.

Под стулом валяются брюки и пиджак, рукава в рукавах осталась сорочка. Пуговицы застегнуты, галстук завязан. Невероятно! Господин Уэда не снимал одежды, он просто исчез внутри нее!

— Что же произошло в конце концов?

Все разом повернулись к техническому руководителю. Тот, бледнея под обвиняющими взглядами десятка пар глаз, говорит, запинаясь:

— Невероятно... И тем не менее факт... Страшный факт... Я человек науки, и я не могу не признать, что факт есть факт... Не могу обманывать вас, ссылаясь на сверхъестественные обстоятельства... Видимо, это наша вина. Объяснить исчезновение господина Уэды можно только так... Фильм «Жизнь Наполеона» включает в себя сжатый опыт примерно двенадцати лет жизни. Но, как видно, абсолютность тоталоскопа не ограничена просто психологическим опытом, она включает и физиологический опыт. А если это так, то картина ясна. За двенадцать лет жизни Наполеона господин Уэда не принял ни грамма реальной пищи, он держался исключительно на электрической стимуляции. Клетки его организма посте-

пенно замещались электромагнитными импульсами, и едва фильм закончился, его тело исчезло... Я виноват... Готов нести заслуженную кару... Вся ответственность на мне...

Пораженные гости не успевают усвоить сказанное, как приходит сообщение от врача, пользующего господина Оэ. Это страшное сообщение полностью подтверждает догадку технического руководителя. За несколько десятков минут, проведенных в боксе, организм господина Оэ претерпел огромные изменения. Странно развилась мускулатура. Появились дикие, свирепые рефлексы...

Среди гостей воцарилось тяжелое молчание. Господин Куяма стоял подавленный, безучастный ко всему. И недаром. В одно мгновение блестящий успех обернулся таким поражением.

Внезапно заговорил один из бывших членов руководства «Тоё-эйга», из тех, кто до конца противился «Плану Т».

— Послушайте, Куяма, всему должен быть предел! Вы растратили на эти дурацкие, сумасшедшие машины половину капиталов фирмы! Вы понимаете это, Куяма? Вы разорили фирму!

Напряженная тишина... Осторожные шаги гостей, один за другим направляющихся к выходу... Только фотокорреспонденты хладнокровно и без усталости снуют вокруг...

— Я еще не теряю надежды, — с трудом говорит господин Куяма.

— Не теряете?! — с издевкой восклицает бывший член правления. — Тогда вы, может быть, в доказательство соблаговолите сами войти в бокс?

Господин Куяма молча опускает голову.

Ну вот, рассказ на этом закончен. В вихре упреков и обвинений со стороны вкладчиков акционерная компания «Т» объявила себя банкротом... Господин Уэда исчез, его нельзя было даже кремировать и похоронить... Без шума и без помпы ушел со своего поста господин Куяма.

Ну, что? Как вам понравилась передняя часть моего зайца — для любителей научной фантастики?.. А теперь приступим к его задней части — для сторонников так называемой логической литературы. Господин Кимура, будьте любезны пояснить, кто вы такой...

Пожалуйста. Сказать по правде, я частный детектив, директор-распорядитель и по совместительству старший детектив частного сыскного агентства «Кимура». Как я был замешан в эту историю с «Планом Т» и какую роль пришлось мне там играть?..

У меня под рукой одна магнитофонная пленка. Это запись моего разговора с господином Куямой, когда он нанес мне визит. Желаете прослушать?..

«— Я имею честь говорить с господином Кимурой из агентства «Кимура»?

— Да. Я руководитель агентства.

— Понятно, понятно... А я президент компании «Тоё-эйга»...

— Я знаю. Вы господин Куяма, не правда ли?

— Но это строго между нами, хорошо?

— Непременно. Итак, чем могу быть полезен?

— Прежде всего я хотел бы.. Видите ли, прежде чем рассказать вам о моем деле, я вынужден получить от вас согласие... Это дело вы должны взять на себя сами, лично. Таково условие.

— Ясно. Раз господин президент требует, чтобы я взялся за его дело самолично, значит, дело очень серьезное. В чем же оно состоит? Нужно проследить за поведением какой-нибудь знаменитой кинозвезды?

— Чушь.

— Необходимо разведать планы какой-нибудь другой фирмы?

— Ничего подобного. Короче говоря, выслушайте меня... Но прежде скажите, сможете ли вы взять на себя... Видите ли, если вы откажетесь после того, как я изложу суть дела, мне останется только пожалеть... Деньги на расходы, разумеется, не ограничены.

— Ну, конечно, превосходно, я берусь за ваше дело с радостью.

— Хорошо, договорились... А нет ли в вашей комнате каких-либо приборов, скрытых микрофонов, фонографов?

— Что вы, разумеется, нет! (Как видите, я был не совсем искренен.)

— Дело вот в чем. Я хотел бы, чтобы вы взяли под надзор компанию «Т»...

— Надзор?

— Вот именно. Осуществляя надзор, вы не лезете в чужие постели...

— Бывает, что и лезем.

— Нет, нет, я имею в виду вовсе не эти глупости. Компания «Т» занимается разработкой чрезвычайно важного изобретения, именуемого «Планом Т», и в связи с этим у нее много врагов.

— А что это такое — «План Т»?

(Объяснения я пропущу.)

— ...Поэтому лица, осуществившие это изобретение, неизбежно займут ведущее положение в нашей промышленности развлечений. И именно поэтому их жизнь находится под угрозой. Вот вам пример. Уже трое наших сотрудников... эти люди, должен сказать, играли существенную роль в работе... один погиб в уличной катастрофе, другой сошел с ума, третий пропал без вести...

— Вы хотите, чтобы я разоблачил убийц?

— Отнюдь нет. Как я уже сказал вам, мне нужно, чтобы вы взяли все дело под тщательный надзор. Для меня важно не столько то, что уже произошло, сколько безопасность в дальнейшем... Завершение работы под угрозой. Ваши услуги мне требуются для того, чтобы подобных инцидентов больше не было и чтобы впредь работа лаборатории проходила в нормальных условиях.

— Я понял вас. Приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие и оказать вам помощь...»

Вот как я попал в эту историю. Вы уже поняли, в чем дело? Нет, кажется, еще не поняли. Тогда я приведу один мой разговор по телефону...

Телефон 328-3388.

— Алло, это «Тоё-эйга»? Можно господина Куяму?

— Кто говорит?

— Кимура из агентства «Кимура».

— Подождите, будьте любезны...

Проходит около трех минут.

— Господин Куяма?

— А, это вы... Ну, что ж, мне остается только поблагодарить вас... Вы много потрудились, но... К сожалению, как вам известно, все наши усилия пропали даром...

— Вы так думаете?

— Что вы хотите сказать?

— Согласно вашему приказу я осуществлял строжайший надзор...

— И что, собственно?.. А, расходы... Я должен оплатить вам по счету?

— Несомненно. И потому я почитаю своим долгом доложить вам о результатах своей работы...

— Нет, нет, не стоит. Теперь это уже не нужно...

— Вот как? А я ведь нашел человека, который мешал «Плану Т».

— Что вы имеете в виду?

— Я нашел преступника. И я не знаю, заслуживает ли он того, чтобы я промолчал об этом.

— Кто же он?

— Вы, господин президент... Преступник — это вы!

— Не понимаю. Что вы такое говорите? Ничего не понимаю...

— Я раскусил вас во время пробного просмотра. Этот просмотр был сплошным надувательством... И исчезновение господина Уэды — тоже ложь. Сейчас он, наверное, скрывается где-нибудь под вымышленной фамилией. В случае чего я смог бы его отыскать...

— Что вы болтаете? Давайте ближе к делу!

— С удовольствием. Я догадался, что все это подделка, когда на сцене появился Оэ Куниёси. Выйдя из бокса, этот Оэ повел себя так, словно он и впрямь превратился в чудовище Дзогабу. Разыграно было отлично, но вы немного переборщили. И все стало ясно.

— Что значит — разыграно? Какие у вас доказательства?

— А вот послушайте. Разве так он должен был вести себя, выйдя из бокса, если бы действительно был Дзогабой? Ничего подобного. Ведь гости должны были показаться ему чудовищами-великанами, поймите! В боксе, пока он смотрел фильм, люди представлялись ему крошечными насекомыми, вроде муравьев, не так ли? А тут вокруг люди в десятки, в сотни раз крупнее! Вот, скажем, его возлюбленная, она той же породы, что и он. Не знаю, возможно, ее облик должен был казаться ему прекрасным... Но мы, реальные люди! Он должен был испугаться, увидев нас — грозных, немыслимо громадных чудовищ!.. Это был ваш серьезный просчет.

— Ну, хорошо, а для чего, по-вашему, мне понадобилось нанимать вас?

— По всей вероятности, и Оэ, и сотрудники лаборатории были с вами в сговоре. И чтобы сговор ваш не был раскрыт, вы наняли меня. Я должен был не допускать никого со стороны к вашему делу. А вот те сотрудники, которые погибли в уличной катастрофе и бесследно исчезли, они-то, наверное, искренне верили в ваш «План Т». И убрать их с дороги могли только вы сами, господин Куяма...

— Чепуха, глупости! Ну, пусть даже так... Но мне-то какая выгода от всего этого?

— Огромная! Под этот шум о «Плане Т» вы прибрали к рукам огромные капиталы вкладчиков. Ведь «Тоё-эйга» находилась на грани банкротства.

— Так. И чего же вы хотите? Что вы намерены делать?

— Да ничего особенного... Я просто подумал, что вам следовало бы несколько увеличить мой гонорар... из уважения к моим трудам и усилиям.

Вот так, гоняясь за двумя зайцами, я поймал обоих.

*Перевод с японского
С. Бережкова*

Энн Уоррен Гриффит

СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ!..

Р а с с к а з

Мевис Беском мельком пробежала письмо и передала его через стол своему супругу Фреду. Он прочел первый абзац и воскликнул: «Она придет сегодня вечером!» Но ни Мевис, ни дети его не услышали, очень уж шумела коробка с кукурузными хлопьями. «Бум! Бум!!» Вдруг она перестала бухать, и хлеб настойчиво произнес: «Один ломоть другой зовет! Как насчет того, чтобы всем еще по ломтю, хозяйка?» Мевис положила на то-стер четыре куска хлеба, и наступила короткая тишина. Фред хотел обсудить нависший над ними визит, но его опередила Китти.

— Мам, хлопья уже кончаются, а на этот раз моя очередь выбирать новую коробку. Ты возьмешь меня с собой в магазин сегодня?

— Конечно, возьму, дочурка. Честно говоря, я рада, что кончаются хлопья. Только и знают свое: «Бум, бум, бум»... А какие коробки есть — с песенками, с частушками! Просто не понимаю, Билли, чем тебе эта понравилась!

Билли не успел ответить, его перебили папины сигареты:

— Честь имею, пора закурить «Честерфилд»! Самое

время вдохнуть легкий умиротворяющий аромат первой утренней сигареты.

Фред закурил и сердито произнес:

— Мевис, ты ведь знаешь, я не люблю, когда говорят так при детях. Отличная рекламная передача, сделана безупречно. Прошу тебя, не сбивай с толку детей!

— Извини, Фред,— ответила Мевис; больше она ничего не успела сказать, потому что банка с солью повела длинную и весьма содержательную беседу о пользе йода.

Так как Фред должен был уйти на службу прежде, чем кончилась беседа, пришлось вопрос о бабушке выяснять по телефону.

— Мевис,— заговорил он, дозвонившись домой,— ей нельзя оставаться у нас! Ты должна спровадить ее как можно скорее.

— Хорошо, Фред. Правда, она все равно не задержалась бы долго. Ты ведь знаешь, ей нравится гостить у нас ничуть не больше, чем тебе принимать ее.

— Вот и отлично, чем скорее уедет, тем лучше. Стоит кому-нибудь пронюхать о ее появлении, и я тотчас вылечу из «ЦЧ»!

— Я знаю, Фред, все понимаю. Постараюсь.

Фред служил в американской корпорации «Центральное Чревовещание» уже пятнадцать лет. Он отлично преуспевал и мог рассчитывать на прочное благоволение начальства, если только не станет известно о бабушке Мевис... Фред всегда любил свою работу, начиная со своей первой должности рассыльного и до нынешнего поста помощника вице-президента по коммерческим вопросам. Правда, иногда ему казалось, что техническая секция даже интереснее. Потрясающая вещь — все эти машины, изливающие поток посланий на американский народ. Это ли не чудо: крохотные плоские кружочки, скрытые в бутылке, или в банке, или в коробке — в любой таре — улавливают посылаемую в эфир радиорекламу! Разумеется, Фред знал, что все дело в некоем электронном процессе, но суть процесса представлял себе очень смутно. Нечто невообразимо сложное, зато действует с безукоризненной точностью! Не было случая, чтобы какая-нибудь из машин ошиблась — скажем, из флакона с бриллиантином вдруг заговорил бы голос, рекламирующий сапожную мазь. Однако, как ни драз-

нили воображение Фреда технические тонкости «Центрального Чревовещания», разобраться в них ему было не под силу; впрочем, он был вполне доволен своими достижениями в области коммерции.

А достижения были немалые. За каких-нибудь два года, что Фред занимал пост помощника вице-президента, он уже пополнил ряды клиентов «ЦЧ» двумя «зубрами», которых долго считали безнадежными. Во-первых, телефонная компания, ныне один из самых выгодных партнеров «ЦЧ». Много лет она отвергала все предложения, пока Фред не придумал очень простую штуку, которая решила дело: в течение всего радиодня все телефонные аппараты через каждые четверть часа напоминали, что, прежде чем вызывать справочную, полезно заглянуть в телефонную книгу. После этой победы Фред прослыл в корпорации человеком недюжинным. И он не почил на лаврах, напротив, следующим шагом, можно сказать, превзошел сам себя. «ЦЧ» почти потеряла надежду, что почтенная и весьма консервативная «Нью-Йорк таймс» воспользуется его услугами. А Фред и тут добился успеха! Подробности он пока хранил в секрете от Мевис. Завтра утром она все сама увидит. Завтра утром! А, черт! Бабушка будет здесь и, как пить дать, что-нибудь выкинет, всю музыку испортит...

Честно говоря, Фред не знал, женился бы он на Мевис, если бы знал, какая у нее бабушка.

Вся беда в том, что бабушка не признавала «ЦЧ». Изю всех знакомых Фреда и Мевис она единственная еще тосковала по «доброму старому времени» (как она выражалась), когда не было «ЦЧ», и могла долдонить об этом до тошноты. «Дом человека — его крепость» — до чего же она ему надоела этим своим изречением! Если бы еще бабушка была только нудной старой дурой, не желающей идти в ногу со временем; хуже всего то, что она преступила закон! Сегодня как раз истекает срок ее пятилетнего тюремного заключения... Изю всех сотрудников «ЦЧ» есть ли еще хоть один, на чью долю выпало бы такое испытание?

Сколько раз он и Мевис предупреждали бабушку, что преклонные года не спасут ее от тюрьмы. Так и произошло. Она совершенно отбилась от рук с того дня, когда Верховный Суд вынес решение по делу об ушных затычках, подведя итог долгому поединку, который вле-

тел в копеечку корпорации «ЦЧ». Чем шире развевала свою деятельность «ЦЧ», тем быстрее рос сбыт ушных затычек, и когда число клиентов корпорации перевалило за три тысячи, Объединенная национальная компания «Ушные затычки» нагло развернула по всей стране рекламную кампанию под лозунгом «Ушные затычки — последний бастион против «ЦЧ». Дошло до того, что сотни клиентов стали расторгать свои контракты с «Центральным Чревовещанием». «ЦЧ» тотчас возбудила иск, и потянулось долголетнее судебное разбирательство. Нелегко было членам суда принять решение. Газеты стали уже поговаривать о пристрастности судей, но «ЦЧ» не сомневалась, что члены Верховного Суда — люди рассудительные. Так или иначе, существование корпорации оказалось под угрозой, и обстановка была предельно нервной до последнего дня. И вот вынесено решение: Национальную компанию «Ушные затычки» признали виновной в нарушении Свободы Рекламирования, а ушные затычки объявили антиконституционными.

Бабушка — она тогда как раз гостила у Фреда и Мевис — пришла в ярость. Всю душу вымотала себе и им своими сетованиями и поклялась, что «никогда, никогда, никогда!» не откажется от ушных затычек.

Людям «ЦЧ» в Вашингтоне удалось поощрить конгресс на скорейшее проведение в жизнь постановления Верховного Суда. В итоге, как и предсказывали Фред и Мевис, бабушка оказалась в числе упрямых чудачков, которых упекли в тюрьму за нарушение закона, запрещающего пользование или владение ушными затычками.

Но каково иметь в доме фамильное привидение, да еще служащему «ЦЧ»! Хорошо еще, никто не знает об этом! Ни на суде, ни после бабушка не проговорилась о том, что у нее есть родственник, служащий в корпорации. Но ведь это все до поры, до времени... Они-то надеялись, что она умрет, прежде чем кончится срок заключения, и тем самым решится вся проблема. И вот — на тебе! Разве заставишь ее держать язык за зубами при друзьях и соседях? Разве убедишь избрать себе для местожительства какой-нибудь глухой угол?

Секретарша Фреда перебила поток тревожных мыс-

лей, вручив начальнику на редкость толстую пачку писем из утренней почты.

— Видно, многим не по душе новая реклама «Крошпузболя», — развязно произнесла она. — Сорок семь протестующих писем, читайте и сокрушайтесь.

Она вернулась в свой кабинет, а Фред взял первое попавшееся письмо и стал читать:

«Уважаемые Господа, подобно большинству матерей, я даю своей крошке «Крошпузболь», как только она заплачет. Но с недавних пор девочка почему-то стала плакать гораздо чаще обычного. Мне рассказали про новую радиорекламу «Крошпузболя», и я заметила, что плачет не моя крошка, а ребенок из передачи «ЦЧ». Конечно, идея чудная, но нельзя ли привлечь другого ребенка, а то ваш теперешний плачет совсем, как моя девочка, я не могу их даже различить и не знаю, когда просит микстуры мой ребенок, а когда — ребенок «ЦЧ».

Заранее благодарю вас за те меры, которые вы примете, и желаю всяческого успеха в вашей дальнейшей деятельности.

Миссис Мона П. Хейес»

Тяжело вздохнув, Фред пробежал еще несколько писем. Все то же самое: матери не могут отличить своего младенца от крошки «ЦЧ» и совершенно сбиты с толку. Идиотки! Не догадаются убрать бутылку в другой конец дома, чтобы по направлению звука определить, когда плачет настоящий ребенок, а когда рекламный.

И ведь придется менять рекламу: во многих письмах жалуются, что дети заболевают от чрезмерной дозы лекарства. «Центральное Чревовещание» не может брать на себя такой грех.

Под сорока семью жалобами лежала служебная записка вице-президента по коммерческим вопросам, который поздравлял Фреда с блестящим завершением осады «Нью-Йорк таймс». В иное время Фред вознесся бы на седьмое небо, но бабушка и «Крошпузболь» безнадежно испортили ему настроение...

Мевис в этот день тоже была не в своей тарелке. В перерыве между «Радиорекламой к завтраку» и «Рекламой к уборке» она попыталась разобраться в своих чувствах. Похоже, все дело в бабушке. Пожалуй, верно

Фред говорит, что она скверно влияет на Мевис. Конечно, бабушка неправа; правда на стороне Фреда (он ведь муж Мевис!) и корпорации «ЦЧ» (ведь это крупнейшая корпорация во всех Соединенных Штатах!). И все-таки Мевис не любила, когда Фред и бабушка начинали спорить, а спорили они всегда.

Может быть, на этот раз бабушка будет сговорчивей? Может быть, тюрьма научила ее, сколь вредно становиться на пути прогресса? На этой обнадеживающей ноте мысли Мевис оборвались, потому что коробка с мыльным порошком воскликнула: «Доброе утро, хозяйка! Как насчет того, чтобы приняться за посуду, а заодно обработать кожу рук?! Вы, конечно, знаете: единственное мыло, которое питает кожу во время мойки посуды, это «Яр-мыл». «Яр-мыл» стоит на полке, к вашим услугам. Начнем, что ли?»

Моя посуду, Мевис размышляла, что приготовить на третье. Накануне она купила несколько десертов, и теперь они все так аппетитно расхваливали себя, что Мевис никак не могла решиться, с которого начать. Смесь для яблочного пирога передала короткую сценку: супруг, вернувшись домой после утомительного трудового дня, слышит доносящийся из кухни запах пирога, бежит туда, стискивает в объятиях жену и горячо целует ее, восклицая: «Какая же ты молодец, моя девочка!» Мевис это очень понравилось, особенно когда диктор заверил, что любая домашняя хозяйка, которая тотчас, без промедления займется приготовлением яблочного пирога, может быть совершенно уверена, что супруг поведет себя в точности, как рекламный.

Очень милые частушки исполнила коробка с концентратом для мясного пирога: три девушки под аккомпанемент отличного джаза сообщили, что если она по недосмотру купила только одну коробку, то надо сейчас же купить вторую — одного лакомого мясного пирога для ее голодного семейства будет мало. Мелодия была живая, бодрая, и Мевис немного повеселела. В ее запасах оказалась всего одна коробка мясного концентрата, и она сделала соответствующую пометку в списке, что надо купить.

Смесь «Имбирные пряники» снова испортила ей настроение милым возгласом: «Мммм, как вкусно! Точно такие делала бабушка! Решено!»

Послушав еще несколько радиореклам, Мевис остановилась на банке с ананасом в сиропе. «Быстро! Просто! Что может быть легче, хозяйюшка: охладил и ставь на стол». Такой десерт лучше всего отвечал ее теперешнему состоянию...

Она управилась с посудой и уже выходила из кухни, но тут заговорила бутыль с лаком для пола: «Уважаемые дамы, взгляните на ваши полы! Вам ли не знать, что люди судят о вас по вашим полам? Вы довольны своими полами? Они действительно блестят и сверкают так, что не стыдно принять даже самого разборчивого друга, если он вдруг нагрянет?» Мевис поглядела на пол. А ведь и в самом деле, не мешает натереть. И она приступила к делу, мысленно благодаря «ЦЧ» за напоминание.

Далее «ЦЧ» объявило, что теперь она может начистить свое серебро до такого блеска, о котором прежде можно было только мечтать; осведомилось, не стоит ли вымыть голову до прихода мужа; раза три предложило сделать передышку и выпить стакан колы; высказало предположение, что она запустила ногти и не мешает покрыть их свежим лаком; напомнило, что надо бы окна помыть, а также, что раствор для перманента на дому теряет свои свойства от долгого хранения. Задолго до обеда Мевис начистила серебро, вымыла окна и голову, покрасила ногти, решила сегодня же сделать Китти перманент и на-качалась колы. И основательно устала...

Что ни говори, большая ответственность — быть женой руководящего работника «ЦЧ». Волей-неволей надо служить примером для других жителей поселка. Но как же это утомительно!.. Проходя мимо ванной, Мевис услышала голос бутылочки с пилюлями, которую принес Фред: «Внимание, друзья, сейчас самая пора проглотить что-нибудь бодрящее. Да-да: если вас одолела усталость, вялость, безразличие, пополните-ка свой запас энергии! Достаточно отвинтить мою крышку и проглотить одну пилюлю, вы тотчас ощутите прилив свежих сил!» Но едва Мевис приготовилась внять призыву, как флакончик с аспирином закричал: «Я действую мгновенно!» Тут же другой флакон (и зачем Фред покупает новые таблетки, когда еще есть старые? Только путаницу вносит!) воскликнул: «Я действую вдвое быстрее!» А ведь и в самом деле, ей сейчас больше всего нужен аспирин. Голова раскалывается от боли, но какую

таблетку принять? Ладно, сделаем так: по одной из каждого флакона.

Когда дети вернулись из школы, Китти наотрез отказалась делать перманент, прежде чем мама выполнит свое обещание сводить их в магазин. Ох, уж этот магазин... Как бабушка называет его? Не то адом крошечным, не то адом на колесах — что-то в этом роде. Конечно, одновременные передачи «ЦЧ» просто необходимы в магазинах самообслуживания, каждый товар вправе рассчитывать на свою долю денег покупателя. Но именно сегодня Мевис предпочла бы остаться дома.

Нет, раз обещано, надо терпеть. Билли, разумеется, присоединился к ним: дети больше всего на свете любили ходить в магазин. И вот они идут от стенда к стенду, слушая хор голосов: «Попробуйте меня... Попробуйте меня... Здесь самый новый, самый сливочный... Матери, вашим детям надо... Дети, попросите маму взять зеленый с красным пакет... Я здесь, здесь, средство, о котором вам рассказывали все ваши друзья».

Билли жадно слушал все подряд, в тысячный раз желая, чтобы можно было принимать магазинные радиорекламы дома. Ведь многие из них ничуть не хуже домашних! Он всегда упрашивал контролеров в магазине самообслуживания не срывать с покупок зазывающие кружочки, но ему сердито отвечали, что таков приказ и не мешай, мальчик, некогда. Мудрено ли, что Билли уже давно решил стать контролером, когда вырастет. Вот будет здорово: слушай весь день, и не только чудесные домашние рекламы, но и магазинные тоже, и всегда будешь знать последние новинки! А тысячи кружочков, которые он, как контролер, будет срывать, — да чтобы он не сумел незаметно сунуть в карман один-другой!.. Друзья лопнут от зависти!

Вошли в бакалейную секцию. Что делалось с детьми! Сияя от восторга, они подносили коробки к уху, чтобы лучше слышать. Гремела пальба, раздавалось щелканье, хлопанье, треск, громкие крики: «Р а с с ы п ч а т е е! П р я н е е! П ы ш н е е!» Были и более внятные призывы: обращаясь к мамашам, голоса толковали о питательности и калориях; известные спортсмены призывали детей стать такими, как они. Ржали кони, гудели реактивные моторы; звучали ковбойские и иные залихватские песни,

детские песенки, частушки, считалочки, джаз, квартеты, трио... Бедная Китти! Как тут выберешь!

Мевис терпеливо прождала двадцать минут, радуясь ликованию детей, хотя головная боль все усиливалась. Наконец она напомнила дочери, что пора решиться.

— Ладно, мам, — ответила Китти и поднесла к уху Мевис коробку, — возьми эту. Послушай... Правда, здорово?

Мевис услышала громогласную команду: «Ш а г о м м а р ш!» — затем будто шаги тысяч людей. «Кранч, кранч, кранч!» — кричало множество голосов, заглушая топот; одновременно другие голоса хором пели о том, как «кранчи» шагают к вашему столу, прямо в миски!

Вдруг, совершенно неожиданно, Мевис ощутила, что не сможет, не в состоянии каждое утро слушать эту рекламу.

— Нет, нет, Китти, — сказала она сухо, — такая коробка не годится. Я не хочу слушать за завтраком топот и крики!

Хорошенькое личико Китти скривилось, из ее глаз брызнули слезы.

— Вот я передам папе твои слова! Все скажу папе, если ты не разрешишь!..

Но Мевис уже взяла себя в руки.

— Прости меня, дочурка, я сама не понимаю, что со мной случилось. Конечно, бери. Коробка чудесная. А теперь поспешим домой, надо еще успеть сделать тебе перманент до приезда бабушки.

Бабушка как раз подроспела к обеду. Она крепко расцеловала детей, которые успели забыть ее, и кажется была рада увидеть вновь Мевис и Фреда. Но она ничуть не изменилась, в этом они убедились очень скоро. За столом бабушка изо всех сил старалась перекричать обеденную рекламу, и если бы Мевис вовремя не уговонила ее, не слышать бы им передачи. А потом бабушка чуть не испортила все удовольствие от новой программы, посвященной пилюлям «Животик», которой они уже несколько дней ждали с таким нетерпением!

Фред не сомневался, что программа понравится детям. В кармане у него лежала новенькая коробочка «Животика», настроенная на нужную волну. Все было рассчитано до секунды: едва Фред управился со своей порцией ананасов, как совершенно отчетливо послышался звук

отрыжки. Дети опешили, потом рассмеялись. Мевис, вначале несколько шокированная, присоединилась к их смеху, тем временем заговорил мужской голос:

— Конфуз, неправда ли? А если бы это случилось с вами? Но сдерживать желудочные газы — еще хуже. Так зачем же рисковать очутиться в неловком положении? Регулярно принимайте после еды по таблетке «Животика», и вы избежите риска (звук повторился, вызвав у детей новый приступ смеха). Да-да, друзья, следите за тем, чтобы это не произошло с вами!

И Фред роздал всем по «Животику», под восторженные возгласы детей:

— Силен, папуля, ты сам себя превзошел!

— Скорей бы настало завтра, чтобы опять услышать!

Мевис сочла передачу «очень удачной, очень выразительной». А бабушка, получив свою таблетку, бросила ее на пол и растерла ногой в порошок. Фред и Мевис обменялись взглядами, в которых было отчаяние...

Вечером детям разрешили лечь попозднее, чтобы они могли немного поговорить с бабушкой после передач «ЦЧ», которые прекращались в одиннадцать часов. Им объяснили, что она возвратилась из «путешествия», а когда они стали ее расспрашивать, бабушка принялась сочинять истории про дальние края, где нет и никогда не было никакого «ЦЧ». Но эти рассказы не увлекли детей: тогда бабушка вспомнила свое детство, как она была малюткой — задолго до изобретения «ЦЧ» и «того злополучного дня, когда Верховный Суд развязал руки «ЦЧ», постановив, что беззащитные пассажиры автобусов обязаны слушать радиорекламу, хотя они того или нет.

— А разве реклама им не нравилась? — удивился Билли.

Фред улыбнулся. Молодец, сынок. Тверд, как доллар. Бабушка может говорить до одурения, ей не заморочить голову Билли.

— Нет, — печально сказала бабушка. — Не нравилась.

Но она тут же снова приободрилась.

— А знаешь, Фред, фабриканты спиртного явно чего-то недодумали. Если бы сейчас на столе стояла бутылка крепкого виски и говорила: «Пей меня, пей меня» — я бы выпила, честное слово.

Фред понял намек и не замедлил налить три рюмки.

— Кстати, — заговорила Мевис, гордо глядя на супруга, — Фреду тут принадлежит немалая заслуга. Все винные компании буквально умоляли его отвести им время в радиорекламе, сулили деньги, всяческие блага! Но Фред не склонился, он считает, что это вредно для семьи и для дома, если бутылки наперебой станут угаривать выпить. И я с ним совершенно согласна, хоть он на этом упустил немало денег.

— Очень мило с его стороны, я восхищена. — Бабушка залпом выпила рюмку и посмотрела на часы. — А теперь пора и спать. У тебя усталый вид, Мевис. И ведь в этом доме, я полагаю, принято утром вставать с первой передачей «ЦЧ»?..

— Да, да, ты угадала, к тому же на завтра, — взволнованно произнесла Мевис, — Фред приготовил нам чудесный сюрприз. Он привлек нового крупного клиента, только не хочет говорить, кого именно. Завтра сами услышим!

Утром следующего дня, едва Бескомы и бабушка сели за стол, раздался громкий стук в дверь.

— Ага! — крикнул Фред. — Все за мной!

Они ринулись к двери, и Фред распахнул ее. Никого! Только номер газеты «Нью-Йорк таймс», который, лежа возле порога, говорил:

— Доброе утро, это ваша «Нью-Йорк таймс»! Хотите, чтобы меня приносили вам каждый день? Подумайте о дополнительных удобствах, о дополнительном...

Мевис увлекла Фреда за собой на газон, где он мог ее слышать.

— Фред! — крикнула она. — «Нью-Йорк таймс» — ты подписал контракт с «Нью-Йорк таймс»! Как это тебе удалось?

Подбежали дети поздравить отца.

— Ух ты, папа, вот это да! И стук в дверь тоже входит в передачу?

— Ага, — ответил Фред с законной гордостью. — Входит в передачу. Взгляни-ка, Мевис!

Он указал рукой в один, потом в другой конец улицы. Всюду возле дверей стояли люди, слушая «Нью-Йорк таймс»!

Как только кончилась передача, соседи закричали:

— Твоя идея, Фред?

— Откровенно говоря, да, — смеясь, ответил Фред. Со всех сторон доносилось: «Здорово, Фред!», «Силен, Фред!», «С тебя причитается, Фред!»

Но только он сам и Мевис знали, сколь много это значит для дальнейшего продвижения Фреда по службе.

Бабушка, никем не замеченная, вернулась в дом, прошла в свою комнату, достала из чемодана маленькую коробочку и снова вышла к стоящим на траве Бескомам.

— Здесь хоть можно разговаривать... Мне нужно вам кое-что сказать. Детям, пожалуй, лучше уйти.

Мевис напомнила Китти, что она может пропустить утреннюю рекламу своего нового «Кранча», и дети опрометью ринулись в дом.

— Больше ни одного дня не могу этого выносить, — сказала бабушка. — К сожалению, я вынуждена уехать сейчас же.

— Что ты, бабушка, как же так, и ведь тебе некуда деться!

— Я знаю, куда деться. Я возвращаюсь в тюрьму. Это единственное подходящее место для меня. Там у меня есть друзья, там тишина и покой.

— Но ты не можешь... — начал Фред.

— Могу, — ответила бабушка и, разжав кулак, показала им коробочку.

— Ушные затычки! Бабушка! Скорей спрячь их! Откуда они у тебя?

Бабушка игнорировала вопрос Мевис.

— Сейчас позвоню в полицию, пусть приезжают за мной. — Она решительно пошла к дому.

— Она не должна этого делать! — испуганно заговорил Фред.

— Пусть уходит, Фред. Она права. И всем нашим заботам конец.

— Но, Мевис, если она вызовет полицию, весь город узнает! Тогда мне конец! Задержи бабушку, скажи — мы отвезем ее в другой участок!

Мевис вовремя перехватила бабушку и объяснила ей, что грозит Фреду. Бабушкины глаза сверкнули коварным огоньком, но он тут же погас. Ласково глядя на Мевис, она сказала: ладно, лишь бы ее поскорей доставили в застенки....

Они вернулись к столу, позавтракали, затем дети, весело распевая новую песенку «Кранчи», зашагали в школу; вечером им скажут, что бабушка неожиданно отправилась в новое путешествие. А Мевис и Фред отвезли на машине бабушку и ее багаж в другой город за шестьдесят миль. Слушая, как бензобаки орут, чтобы их наполнили бензином, как свечи требуют чистки и все остальные части просят проверить, или починить, или заменить их, бабушка думала о том, что наконец-то избавится от «ЦЧ», и была счастлива.

А на обратном пути, когда Бескомы, сдав бабушку в полицию, возвращались домой, Фреда вдруг осенило. И он закричал:

— Мевис! Мы слепы, как летучие мыши!

— Что ты подразумеваешь, милый?

— Слепы, понимаешь слепы! Я сейчас представил себе бабушку в тюрьме, и тысячи других заключенных, которые лишены «ЦЧ». Они ведь ничего не покупают и не знают никакой радиорекламы! Представляешь себе, как это отражается на их покупательских навыках?

— Да, да, Фред, ты прав. Пять, десять, а то и двадцать лет заточения! Да после этого у них вообще никаких навыков не останется! — Она рассмеялась. — Но я не вижу, что ты тут можешь сделать.

— Очень многое, Мевис, и не в одних тюрьмах дело! Это будет подлинная революция! Ты когда-нибудь задумывалась над таким фактом: с тех пор как изобретено «ЦЧ», мы привыкли к тому, что кружочки непременно должны быть вмонтированы в продаваемые изделия. Почему? Да, почему? Взять хоть тюрьму — что нам стоит, скажем, поместить в каждой камере коробочку для хранения кружочков, и пусть заключенные слушают «ЦЧ», развивают свои покупательские навыки! Им не придется путаться, когда отсидят свой срок и выйдут на волю!

— А тюремная администрация пойдет на такой расход, Фред? Как ты с ними поладишь, как уговоришь их покупать кружочки?

Но Фред уже все продумал.

— Нам поможет общественность, Мевис! Привлечем дальновидных благотворителей, из числа богатых ловкачей, которые любят творить добро. Им достаточно минимальной рекламы их товара, а все остальное время будет отведено воспитанию заключенных: краткие лекции о

пользе честности, советы — как вести себя, когда выйдешь из тюрьмы. Словом, такое, что поможет им вернуться к вольной жизни.

Мевис безотчетно сжала руку супруга. Ну как ей не гордиться Фредом! Кто кроме него (Мевис часто заморгала, сдерживая слезы) подумал бы в первую очередь не о денежной стороне, а о благе и удобствах всех этих бедняжек-заключенных!..

*Перевод с английского
Л. Жданова*

О ФАНТАСТАХ И ФАНТАСТИКЕ

Ариадна Громова

ДВОЙНОЙ ЛИК ГРЯДУЩЕГО

(З а м е т к и о с о в р е м е н н о й у т о п и и)

I

Современная утопия — термин, конечно, весьма условный и даже вряд ли правомерный. За неимением иного уговоримся пока называть так весьма разнородные по содержанию и форме произведения, в которых наши современники пытаются сконструировать облик близкого или отдаленного будущего. Эти предвидения будущего в наши дни отошли так далеко от утопий прошлого, что, в сущности, трудно даже говорить о какой-то преемственности жанра. Слишком многое изменилось в картине мира, в объеме и характере познаний, в психике людей за четыре с половиной века, отделяющих нас от «Утопии» Томаса Мора; да, впрочем, и от великих утопистов XIX века — Сен-Симона, Фурье — Оуэна нас отделяет практически почти такое же, безмерно громадное расстояние.

Статья печатается в порядке обсуждения,

Утопия в наши дни решительно отошла от философов к поэтам, стала романом, драмой, рассказом, поэмой — чем угодно, но не социально-философским трактатом, каким она была раньше. Возможно, философы нашей эпохи хуже владеют стилем, чем мудрецы прошлых времен; но вернее, это объясняется тем общим процессом все более четкой специализации, который все заметней отграничивает круг деятельности философов и социологов от искусства.

Зато художественная литература нашего времени просто немыслима без картин будущего, без предвидений, без постоянного, тревожного или радостного, пристального взгляда в завтрашний день, чей рассвет уже брезжит над настоящим. Утопия — будем все-таки, как уговорились, называть произведения такого рода утопией — в наши дни необычайно расцвела и в количественном и в качественном отношении.

Существуют очень веские причины, обусловившие этот расцвет утопий всякого рода. Никогда еще человечество не проявляло такого острого интереса к будущему, как в наши дни. И это понятно: темпы социального и технического прогресса невероятно возросли, горизонты расширились, яснее проступили впереди и сверкающие вершины, и гибельные пропасти.

Никогда еще не приходилось людям практически и экстренно решать проблему — быть или не быть человечеству? А сейчас этот вопрос прочно стоит на повестке дня и его не обойдешь. Вопрос самый насущный, самый острый, самый животрепещущий. Для многих он заслоняет все иные — и это вполне понятно: пока этот вопрос не будет решен, все остальное повисает в воздухе.

И все же за этим вопросом встает другой, гораздо более сложный: каким быть человечеству? И этот вопрос тоже не снимешь с повестки дня — сегодняшнего, нашего с вами дня, который во многом предопределен вчерашним и, в свою очередь, предопределяет собой завтрашний. Каким должно быть и каким может быть человечество в будущем? А значит, каково оно сейчас, в наши дни, что в нем принадлежит прошлому, что — будущему? Что надо беречь и развивать, от чего надо избавляться с презрительной усмешкой или с беспощадной ненавистью? Как понимать сейчас древнее изречение: «Я

человек, и ничто человеческое мне не чуждо»? Что именно следует считать человеческим, и кого считать человеком? Освенцим и Хиросима — тоже ведь дела рук человеческих, и ответственность за эти страшные дела несут очень многие и очень разные по складу ума и характеру деятельности люди. И угрозу термоядерной катастрофы создали сами люди, и только они сами могут отвести эту угрозу своими разумными, активными, согласованными действиями.

«Эту угрозу породила наука, — сказал Альберт Эйнштейн об опасности термоядерной войны, — но подлинный ключ к решению стоящей перед нами проблемы — в умах и сердцах людей. Нет такой машины, с помощью которой мы могли бы воздействовать на чужие сердца. Для этого нужно, чтобы наши собственные сердца стали иными и чтобы мы смело высказывали свои взгляды. Лишь с ясным умом и чистым сердцем мы сможем набраться мужества, чтобы преодолеть тот страх, который тяготит над человечеством».

Разум, воля, совесть как факторы, воздействующие на поведение человека и человечества, приобретают сейчас новое, необычайно важное значение.

Не случаен поэтому тот обостренный интерес к вопросам социалистической морали, к проблеме личной ответственности за общее дело, не случайны те споры о любви и дружбе, о благородстве, чести, чувстве долга, которые постоянно ведутся в нашей стране. Для общества, стоящего на пороге коммунизма и вместе с тем ясно видящего опасность, нависшую над миром, это — одна из важнейших проблем.

В другой тональности, большей частью с оттенком трагизма, безысходности, но не менее остро звучит эта проблема в литературе и искусстве капиталистических стран. В разных аспектах, на различном материале постоянно ставят эту проблему художники, напряженно думающие о судьбах человека и человечества. Вспомним хотя бы такие несходные по материалу и авторской манере вещи, как романы «Тихий американец» Грэма Грина и «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Селинджера, или фильмы «Хиросима, моя любовь» Алена Ренэ, «Вест-Сайдская история» Роберта Уайза, «Нюрнбергский процесс» Стенли Крамера.

Можно, пожалуй, подумать, что разговор слишком далеко отошел от темы, обозначенной в подзаголовке статьи — ведь вышепоименованные романы и фильмы говорят только о настоящем. Да, конечно. Но, думая о будущем, неизбежно выводишь его из своих представлений и суждений о настоящем. И в наше время все более заметно сближаются, все чаще перекрещиваются пути реалистической прозы и фантастической утопии. Ибо что такое истинно современная «большая» литература без глубокой философичности, без умения видеть жизнь в ее сложных причинных связях, в противоречиях, в непрерывном движении; без умения осмысливать и сопоставлять события громадного масштаба, видеть перспективу развития мира? Границы мира, в котором мы живем, стремительно раздвигаются, открывая и неизмеримые просторы космоса, и тайны микромира; темпы движения все убыстряются. Те, кто не ощущает, не постигает этого, теряют право и возможность судить о жизни и вести за собой читателя. Отсюда — настойчивые поиски новых форм в литературе и искусстве, новых форм, призванных передавать новый, сложный и изменчивый облик действительности. Да, многие из путей этих поисков ошибочны, они ведут в тупик, к распаду картины мира на световые пятна, на разрозненные контуры, к распаду психики на поток ощущений, равнозначных, стремительно сменяющихся, неуловимых. Но основной стимул всех поисков, и удачных и неудачных, понятен: новое содержание требует новой формы.

Утопия как предвидение будущего, исходящее из анализа настоящего, как проекция настоящего на будущее, дающая возможность лучше и вернее увидеть тенденции развития мира, — современная утопия во всем своем разнообразии и является одним из вариантов новой формы, помогающей выразить представления художника о современной нам действительности. И, кстати, заметим, поэтому утопия в наши дни вовсе не является исключительным достоянием научной фантастики (хотя, разумеется, фантасты задают тон в создании утопии). Картины будущего, как и вообще элементы фантастики, часто встречаются у самых различных писателей, творчество которых даже с большой натяжкой нельзя зачислить по ведомству научной фантастики — например, у Ф. Дюренматта или Э. Ионеско.

Исследователи далеких будущих времен, изучая крайне обширную и разнообразную литературу нашей эпохи, посвященную предвидению будущего, вероятно, будут поражены — до чего противоречивый, двойственный облик грядущего встает из этой гигантской груды книг. Впрочем, они вспомнят, каким трагически противоречивым был мир в наши дни, и поймут, что в наших представлениях о будущем неизбежно отражалась эта противоречивость окружающей нас действительности и что колорит картины будущего, которую рисовал художник, целиком зависел от той позиции, какую занимал этот художник по отношению к настоящему.

Это обстоятельство, кстати, тоже мешает говорить о прочных традициях жанра утопии, о его естественном и непрерывном развитии от Томаса Мора до наших дней. В современных предвидениях будущего очень часто, даже в большинстве случаев, вовсе не рисуется идеальный, светлый, пусть и недостижимый реально мир; наоборот, перед мысленным взором многих буржуазных художников неотвязно стоят зловещие картины гибели всего живого на планете или не менее зловещие образы «упорядоченного», полностью поработанного, механизированного мира — мира, каким он не должен, не смеет и все же может стать при известных условиях. Эти мрачные, трагические предвидения, порожденные реальными противоречиями нашей эпохи, очень трудно называть мирным и светлым именем утопии. И потому, что они рисуют, так сказать, «антиидеал», и потому, что опасения их авторов, увы, вполне понятны, — ведь человечество сейчас и борется за то, чтоб эти опасения не оправдались.

И если уж говорить о подлинных истоках современной утопии, то надо отметить, что истоки эти находятся довольно близко от нашей эпохи — в последней четверти XIX века.

Следует вспомнить в этой связи роман американца Эдуарда Беллами «Взгляд назад» (1888) и английский ответ на него — «Вести ниоткуда» Уильяма Морриса (1890), эту философскую полемику марксиста против наивного, мещанского понимания социализма.

Поэтическое описание «царства свободы» у марксиста

Морриса (родственное знаменитым «снам» в романе Чернышевского «Что делать?») — это еще утопия в прежнем понимании слова: счастливый мир, который пока можно увидеть лишь во сне. «...Я все время сознавал, что наблюдаю новую жизнь со стороны и что я все так же опутан предрассудками, заботами и недоверчивостью своего времени, времени сомнений и борьбы», — говорит герой. И счастливые люди будущего отвечают ему: «Ты настолько принадлежишь несчастному прошлому, что даже наше счастье было бы тебе в тягость... Ступай обратно и будь счастлив тем, что, увидев нас, ты можешь внести немного надежды в свою борьбу». И вместе с тем «Вести ниоткуда» — это мостик, хоть и очень шаткий, к тому, что делает современная фантастика.

Роман Беллами тоже неполностью противоречит утопиям прежних времен: ведь, в представлении автора, мир, нарисованный им, является идеальным, автор воплощает свою мечту. Другое дело, что мечта эта вызвала неодобрение уже у более передовых современников Беллами, а тем более не восхищает нас. Но ведь с нашей точки зрения, например, и «Город Солнца» Томазо Кампанеллы весьма далек от идеала. Хорошо, нечего сказать, мир, в котором сохраняются войны, постоянные армии, рабовладение (по отношению к военнопленным), казни (только нет официальных палачей, а есть коллективная, «демократическая» форма казни: весь народ побивает преступника камнями)! Так что расхождение между авторской и нашей оценкой явлений не мешает зачислить роман Беллами по рангу «традиционных» утопий. А вместе с тем в этом романе содержатся в зародыше многие идеи современной американской фантастики. И слияние всех трестов в один (образ гигантской монополии, возникающей в наше время!), и высокое развитие техники, и явно отстающее от него развитие человеческой личности — все это черты, предвещающие многие и многие современные произведения.

Еще резче сказываются эти черты в интересной по замыслу, хоть и плохо написанной серии романов Альбера Робидá «Двадцатый век». Хоть у Робидá отчетливо звучит юмористическая, пародийная нота, но по сути дела он считает, что техника задавит человека, что он станет придатком к машине.

Даже социальный оптимизм Жюль Верна в последний

период окрашивается явственно звучащими нотами тревоги за судьбу человечества. Рядом с идеальным городом Франсевиллем в романе «Пятьсот миллионов бегумы» (1879) возникает зловещий Штальштадт герра Шульце, чьи идеи так родственны идеям гитлеровского райха. Та же тревожная нота звучит и в его романах «Плавучий остров» (1895), «Флаг родины» (1896), «Вечный Адам» (опубликован посмертно).

И уже не предвестниками утопии нашей эры, а первыми ее шагами являются романы Герберта Уэллса, в первую очередь «Машина времени» (1895), «Когда Спящий проснется» (1899), «Война в воздухе» (1908), «Мир будет свободным» (1914). В них уже заложены основные отличия современной утопии от утопий прежних веков. Ведущие противоречия нашей эпохи в то время начали обозначаться с ясностью, достаточной для зоркого и проницательного художника. В этих романах и теоретических работах Г. Уэллс еще до начала первой мировой войны высказал свою тревогу за судьбы человечества, если оно пойдет по неправильному пути.

Страшный мир морлоков и элзев в «Машине времени» — это противоречия капиталистического мира, доведенные до своих логических крайностей. «Когда Спящий проснется» — то же, но в более близком к нам времени, и с выходом — социальным взрывом, революцией, которая была бы уже невозможна для выродившихся морлоков, но вполне естественна для поработанных, измученных людей. Хотя диктатор Острог и убежден, что дни демократии навсегда миновали, что прошли времена, когда народ мог делать революцию, но его рассуждения о правящей расе господ, о сверхчеловеке, который имеет право на власть (как часто слышали мы эти слова позднее, в жизни, какое ужасное применение нашла эта ницшеанская теория в практике фашизма!) — эти рассуждения опровергаются ходом событий, победоносной революцией, которая сметает Острога. «Война в воздухе» и «Мир будет свободным» — предвещание гибели существующего строя в разрушительной войне (предсказана даже атомная война — одна из коронных тем современной буржуазной фантастики!). Идеи технократии, впоследствии воплощенные, например, в сценарии «Облик грядущего» (1935), тоже высказаны уже в самых первых трактатах Г. Уэллса «Предвиденья о воздействии про-

гресса науки и техники на человеческую жизнь и мысль» (1901) и «Современная утопия» (1905).

Г. Уэллс был, конечно, не одинок. Наиболее передовые люди буржуазного общества в то время уже предвидели неизбежную гибель своего мира. Правда, в «Острове пингвинов» (1908) Анатоля Франса картина анархической революции и разрушения цивилизации завершается новым возрождением все того же буржуазного общества, тех же гигантских городов-муравейников, тем же порабощением миллионов тружеников. Те же идеи высказаны в «Алой чуме» (1913) Джека Лондона: «Снова изобретут порох, — говорит старик, переживший гибель своей цивилизации. — Это неизбежно: история повторяется. Люди будут плодиться и воевать. С помощью пороха они начнут убивать миллионы себе подобных, и только так, из огня и крови, когда-нибудь в далеком будущем возникнет новая цивилизация. Но что толку? Как погибла прежняя цивилизация, так погибнет и будущая».

Но в «Железной пяте» (1908) Джек Лондон дает другой вариант решения: революция, героизм и самоотвержение трудящихся, которые идут на штурм твердынь правящего класса и после жестокой и упорной борьбы добиваются победы.

В те же годы наш соотечественник Валерий Брюсов, предвидя и приветствуя гибель капиталистического общества, писал:

Борьба, как ярый вихрь, промчится по вселенной,
И в бешенстве сметет, как травы, города.
И будут волки выть над опустелой Сеной,
И стены Тауэра исчезнут без следа.

...В руинах, звавшихся парламентской палатой,
Как будет радостен детей свободных крик,
Как будет весело дробить останки статуй
И складывать костры из бесконечных книг!

Предвиденья будущего у Валерия Брюсова не складываются в цельную, ясную картину; они двойственны и противоречивы по тем же причинам, что и у других утопистов, принадлежащих к его эпохе и его классу. Революция неизбежна, но конечные цели ее плохо понятны поэту и зачастую вызывают сомнение; «позорно-мелочный, неправый, некрасивый» строй капитализма обре-

чен, его надо уничтожать целиком (в этом смысле Валерий Брюсов, как отметил в 1905 году В. И. Ленин, стоит на крайних левых, анархических позициях), но, во-первых, по мнению Брюсова, вместе со старым миром должна погибнуть и вся его культура (отсюда — знаменитое обращение поэта к «грядущим гуннам»: «Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном!»); во-вторых, при таком всеобщем разрушении, кто знает, как пойдет дальше развитие человечества? Поэт верит, что когда-то, в далекие века воцарятся свобода и счастье, но каким путем дойдет до этого человечество, он не видит (речь идет, разумеется, о дооктябрьском творчестве Брюсова). И в драме «Земля» (1904) Брюсов рисует картину в духе Уэллса — мир зашедшей в тупик высокой цивилизации, вырождающийся, теряющий знания, волю, даже самое желание жить. Финал драмы — бунт молодежи, которая силой открывает стеклянный купол, отгородивший человечество от вольного воздуха и солнечного света. Поток яркого света хлынул в галереи и залы гигантского Города. Что принесет с собой ослепительное Солнце, вставшее в зените? Смерть, как уверяли жрецы, или освобождение, в которое верят бунтари?

Г. Уэллс прожил дольше всех своих современников-утопистов. Он пережил, вслед за первой, и вторую мировую войну, он видел предсказанное им возникновение фашизма и атомные взрывы. И его сценарий «Облик грядущего» (1935) — это совсем современное по духу произведение, хотя вместе с тем оно представляет собой логическое развитие взглядов писателя, высказанных им еще на рубеже XIX и XX веков.

Старый мир погибает в разрушительной войне. Но человечество непомерно дорого заплатило за это: оно отброшено ко временам средневековья. Кто может спасти полуодичавшее общество? Ученые, инженеры, Летчики Кэбэла, говорит Уэллс. Кто такой Кэбэл? Сам он отвечает на этот вопрос: «*Rex Mundi*» * — «Крылья над Миром». На более привычном для нас языке Летчики, которые снова поднимают мир на уровень цивилизации, гораздо более совершенной, сильной, гармоничной, — это технократы, осуществляющие власть технической интел-

* Миру — мир (лат.).

лигенции над миром. Летчики Кэбэла вовсе не кровожадны; даже бандитов они не уничтожают, а берут в плен, видимо, с тем, чтобы перевоспитать. Но к невежеству они относятся с презрением аристократов духа: «Новый мир со старым мусором! Наша работа только начинается, — говорит Кэбэл, разглядывая людей, усыпленных на сутки «умиротворяющим газом». И его товарищи — Летчики добавляют: «Что ж, мы им дали наконец понюхать цивилизации!.. Когда дети капризничают, нет ничего лучше, как уложить их спать!».

Последний диктатор Земли Босс кричит: «Стреляйте! Мы еще мало расстреливали. Мы щадили их. О, эти интеллигенты! Эти изобретатели! Эти эксперты! Теперь они добрались до нас! Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Какое значение они имели, когда их было несколько сотен? Мы проявили слабость — слабость... Перебейте их всех!» Что и говорить, Летчики — не чета грубому и вульгарному Боссу. Умные, энергичные, идеально дисциплинированные, в своих облегающих черных костюмах и сверкающих шлемах противогазов, они завладевают разрушенным и обнищавшим миром со спокойной уверенностью, что несут человечеству подлинное счастье и процветание. Конечно, они в общем правы. Новый мир, созданный их титаническими усилиями, прекрасен. Но так ли уж неправы те, кто восстает против этого прекрасного нового мира? Уэллс не сочувствует этим бунтарям; речи их вождя, поэта Теотокопулоса, проникнуты извечной неприязнью, которую лень питает к неукротимой энергии, чувственное прозябание — к разумной и деятельной жизни, косность — к прогрессу. «Эти люди, столь любезно управляющие за нас миром, заявляют, что они дают нам волю поступать, как нам угодно... Я говорю вам, что их изыскания и наука не больше, не меньше, как дух самозаклания, вернувшийся на землю в новом образе... Зачем нам все эти требования долга и жертвы от молодежи, требования дисциплины, самообуздания и труда?.. Что это предвещает? Не заблуждайтесь! Рабство, которое они сегодня налагают на самих себя, они завтра наложат на весь мир. Неужели человек никогда не отдохнет, никогда не будет свободен?.. Я говорю: конец этому Прогрессу!.. Что для нас будущее? Дайте земле мир и оставьте нашу человеческую жизнь в покое!»

Теотокопулос, конечно, неправ; вероятно, он просто старый дурак, как называют его молодежь и ученые. Его рассуждения очень легко опровергнуть. Слишком уж легко. «Это все — для лентяев, — говорят молодые ученые. — Они ненавидят эти бесконечные искания и экспериментирования. Какое им до этого дело? У них это просто зависть... Сами они не хотят делать это дело, но не выносят, когда кто-нибудь другой принимается за него... Им нужна Романтика! Им нужны прежние знамена. Война и все милые человеческие гадости... Им нужен Милый Старый Мир Прошлого и чтобы кончилась эта гадкая Наука!»

Однако последователей у Теотокопулоса оказывается что-то слишком много для Прекрасного нового мира. Такая уйма дураков и лентяев в этом идеальном обществе? Полно, да так ли уж оно идеально? Больше смахивает на то, что Летчики Кэбэла загнали человечество в свой технический рай дубиной, а это, как издавна известно, метод ненадежный, даже если дубина бьет не очень больно. Ведь общество создается не из совершенных машин и красивых зданий, а из людей. Значит, Летчики всю свою великолепную энергию потратили на технический прогресс, забыв о душах тех самых людей, которым они хотели принести счастье? Значит, они лицемерили сами перед собой, утверждая, что строят Прекрасный новый мир для всех, а на деле строили его лишь для себя? Ну что ж, вот и расплата за этот возвышенный обман: все кругом новое, а люди-то прежние! Если не считать тех, кого Уэллс еще в 1905 году в романе-трактате «Современная утопия» назвал «самураями Утопии» — касты великолепных интеллигентов, правящих миром. Они величественны, они обогнали свое время, это верно, но какой ценой? Ценой полного фактически отрыва от народа, от основной массы населения. Пускай они тысячу раз правы в теории — при таком положении дел они неизбежно проиграют на практике.

«Мы не хотим жить в одном мире с вами!» — кричит Теотокопулос, вождь мятежников, ведя толпу, чтобы уничтожить межпланетную ракету. «Мы становимся свидетелями отнюдь не социального конфликта, — комментирует Уэллс. — Это не Неимущие нападают на Имущих; это Люди действия подвергаются нападению Бездельников». Какой трагически-наивный комментарий! Разве

эта ситуация не выдает крайнюю непрочность и хрупкость Прекрасного нового мира, построенного независимо от людей? Летчики Кэбэла ведь так и считали — люди, мол, это неразумные капризные дети. Пусть так, но и детей надо воспитывать, а не просто совать им в руки все новые и новые красивые игрушки, чтоб успокоить и отвлечь... Мудрецы Уэллса основательно просчитались, и хотя «Облик грядущего» кончается их победой, ясно видно, что победа эта — временная и что Прекрасному новому миру грозит неизбежная катастрофа.

III

Отпечаток идей и образов Уэллса лежит на очень многих и очень различных произведениях писателей-утопистов нашей эпохи. Однако, разумеется, основным источником современных предвидений будущего является сама жизнь. Противоречия действительности после второй мировой войны еще больше обострились, приобрели гиперболический характер; многим людям, живущим в условиях современного капитализма, эти противоречия кажутся безысходными. Для них существует фактически лишь такая безрадостная альтернатива: либо гибель человечества в огне термоядерной войны, либо дальнейшее развитие капиталистического общества до логического абсурда, до такой степени, что все человеческое будет совершенно задавлено в этом страшном автоматизированном мире.

В первую очередь альтернатива эта характерна для американской фантастики. И это не случайно. Дело не только в том, что американская фантастика доминирует просто по количественным показателям и на ней легче проследить все варианты буржуазных утопий. Дело в том, что уклад жизни в современной Америке и в самом деле настолько своеобразен, настолько сильно воплощает в себе черты «зрелого», высокоразвитого капитализма, что это неотразимо действует на воображение художника. Ведь не случайно Станислав Лем, говоря о возможных трагических вариантах развития человечества вообще («Возвращение со звезд») или части человечества («Дневник, найденный в ванне»), опирался

именно на США с их глубоко специфическим укладом жизни, с их моралью и культурой. Своеобразие США бросается в глаза с первого взгляда, и очень легко себе представить, к чему может привести логическое развитие такого уклада жизни. Стандартизация быта уже сейчас достигла в США поразительно высокой степени и распространяется она вовсе не только на мебель, одежду или планировку дачного участка. Нельзя недооценивать значение демпинга в области культуры, который осуществляется повседневно через гигантский поток «массовой» литературы (комиксов, дешевой, примитивной фантастики, бульварной эротики) и серийных взаимозаменяемых по деталям голливудских фильмов, через телевидение с его всепроникающей и всепожирающей рекламой и зверскими сценами кэча. Этот демпинг, наряду с высокой стандартизацией и автоматизацией быта, технически все более оснащенного, приводит к снижению массовой культуры в стране, к упрощению моральных принципов, к сужению умственного горизонта и, в конечном счете, ко все более заметной стандартизации психики среднего американца. И этот процесс только на первый взгляд плохо вяжется с техническим прогрессом: наоборот, технический прогресс в этих условиях лишь ускоряет автоматизацию психики. «Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy!» — говорит Битти, один из героев романа Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», и эти слова, как и вся картина жизни, нарисованная в этом блистательном произведении, относятся не столько к будущему, сколько к настоящему Америки; это современная жизнь, от различных точек которой умело вычерчены яркие, цветовые пунктирные линии в будущее, словно цепочки трассирующих пуль, направленных в сердце и разум человечества.

Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И нет ничего удивительного в том, что мощная техническая цивилизация США магически, завораживающе воздействует на психику многих и многих американских (да и не только американских) писателей. Речь тут идет не о продажных писаках-приспособленцах, на все лады воспевающих Его преподобие Капитал,

а о тех субъективно честных художниках, которые, ненавидя этот обезчеловечивающий, автоматизированный уклад жизни, тем не менее невольно поддаются его враждебной власти, абсолютизируют его, считают непреложным и непоколебимым. На этой социально-психологической базе и возникают мрачные картины будущей жизни, которые, вероятно, вызовут печальную и сочувственную усмешку наших далеких потомков.

В утопиях такого рода капиталистический уклад жизни проецируется на время и пространство (вплоть до дальних галактик). Гигантская мрачная тень «зрелого», стабилизировавшегося капитализма ложится на Землю и на космос.

Разумеется, нет ничего удивительного в том, что в этой коллективной утопии (куда каждый вносит свои более или менее ценные штрихи) почти никогда, за крайне редкими исключениями, не идет речь о таком укладе жизни, при котором осуществлялись бы уж не то что идеалы коммунизма, но хоть принципы, декларированные буржуазной демократией, — Свобода, Равенство, Братство. Наоборот, эти принципы растаптываются, уничтожаются с планомерной, холодной жесткостью.

Исчезает и та иллюзия свободы личности, которая сопутствовала всему развитию буржуазного общества. В жестоком «Царстве Необходимости», созданном совместными усилиями мысли и таланта американских фантастов, нет места никаким иллюзиям, как нет места и человеческой индивидуальности: ее надо подавить, уничтожить, она мешает — всякая индивидуальность вообще. Частная инициатива уже не нужна; требуются люди-винтики, люди — части гигантского механизма, послушно, без малейших отклонений выполняющие свои функции. Им живется удобно, они сыты, одеты, у них есть умные слуги — роботы; но и сами они низведены на положение роботов, и если в их внутреннем механизме, именуемом психикой, что-то разлаживается, их, так же как и роботов, отправляют в ремонт, на переделку — либо на слом...

Межгалактические компании и концессии, даже единая Монополия, поглотившая всех «частных» капиталистов прошлого и управляющая всеми обитаемыми планетами; общество, доведенное до последней степени автоматиза-

ции, до крайнего подавления индивидуальности, растворения индивидуума в массе; жизнь, технически высокооснащенная, в бытовом смысле очень удобная и легкая, но абсолютно выхолощенная, пустая, обесчеловеченная... Страшный мир, реальный прообраз которого налицо перед нами.

Общество, изображенное в рассказе Роберта Шекли «Академия», упорядочено и автоматизировано до такой степени, что все яркие эмоции, все проявления индивидуальности; — независимо от качества и направленности эмоций, — там преследуются как нарушение закона.

Особые высокочувствительные приборы-алиенометры бдительно следят за каждым. Если показатель алиенометра достигает семи — это сигнал неблагополучия: «заболевший» должен немедленно направиться к врачам, чтоб его подвергли психотерапии. Тот, у кого алиенометр отмечает уровень «десять» — обречен; его не допускают к работе, ему отказываются повиноваться роботы, даже семья покидает его: он опасен для общества. Герой рассказа — вовсе не бунтарь: он родился и вырос в этом обществе, где всякая идея бунта подавляется в зародыше, и он даже не может определить, что его тревожит. А глухая тревога — подсознательная тоска по настоящей, человеческой жизни — все нарастает, и он, ужасаясь, ощущает, как эта неодолимая центробежная сила выбрасывает его из привычного, размеренного мира. Он не знает, почему его алиенометр показывает десять, но для всех его окружающих важна не причина, а следствие: он должен либо подвергнуться хирургической операции (надо полагать, чему-то вроде лоботомии), либо отправиться в таинственную Академию. Он выбирает Академию, ничего о ней не зная. Там ему предстоит провести остаток жизни среди причудливых и ярких снов, вызванных наркотиками...

Очень сходен по духу с «Академией» великолепный рассказ Рея Бредбери «Пешеход». Тут тоже — одинокий человек, отщепенец «высокоорганизованного» общества. Но душа Леонарда Мида раскрыта перед нами гораздо более широко, чем душа героя «Академии». То, что входит в состав его «преступления», очень просто, очень конкретно, очень человечно: он гуляет по ночам, жжет свет в квартире и почему-то не завел себе телевизора. Почему? К вечеру улицы пустеют: все сидят у телеviso-

ров; это нормально. Тротуары заросли травой: ведь все ездят в автомобилях; и это тоже нормально.

Почему же он один поступает не так, как все? Полицейская машина увозит его в психиатрическую лечебницу; там у него исследуют «реакции регресса». Психиатр впрыскивает ему наркотик и говорит: «Общество защищено против личности». Леонард отвечает: «А кто защищает личность против общества?»

Роберт Шекли в «Ужасах Омеги» и в «Седьмой жертве» подсказывает выход из этого положения: выход жуткий, причудливый, но соответствующий духу общества, изображенного в «Академии», в «Пешеходе» и во многих произведениях этих и других авторов.

В «Седьмой жертве» это — Бюро Эмоционального Катарсиса. Общество абсолютно стабилизировалось, войны прекратились, но в этих условиях всеобщего равновесия гаснет «дух соревнования». Чтобы дать выход агрессивным инстинктам (иные инстинкты, по-видимому, не считаются существенными для «духа соревнования»), людям предлагают легальную возможность убивать. Каждый, кто обратится в Бюро Эмоционального Катарсиса, получает возможность убить человека — Жертву; но он и сам обязан стать Жертвой. Жертва может защищаться и убить нападающего, так что открывается и вовсе широкий простор для расцвета индивидуальности! И общество остается «мирным и гармоничным»: ведь убивают и рискуют жизнью лишь те, кто сам этого хотел...

В «Ужасах Омеги» эта жестокая охота перенесена на планету Омега — туда ссылают с Земли преступников и там царит право сильного, идет борьба всех против всех — то есть, тоже вариант буржуазного строя эпохи «свободной конкуренции». «Охота... представляет собой омеганскую форму жизни. В охоте мы видим все факторы драматического взлета и падения, соединенного с дрожью поединка и возбуждением погони...» Омеганцы считают, что охота лучше всего символизирует «постоянную способность человека возвышаться над оковами своего состояния»; впрочем, экономическое обоснование тут тоже железное: планета бедна, и чем больше людей погибает, тем легче живется уцелевшим.

Наиболее сильный и яростный пророк, бичующий этот жестокий, бесчеловечный мир капитализма, — конечно,

Рей Бредбери. Но и на его творчество ложится все та же мрачная, зловещая тень капитализма — мощного, развитого, простирающего в пространство и время жадные щупальца монополий. Светлые искорки, которые постоянно сверкают для Бредбери в этом мрачном мире, — это те немногие, кто сохранил в себе человека среди бесчеловечного мира, сохранил способность воспринимать красоту и поэзию, ощущать разницу между добром и злом, искать истину... Их мало, очень мало, но им, может быть, удастся спасти мир. Это — группа интеллигентов, хранящих в памяти страницы книг, давно сожженных и преданных проклятию тем миром, который их окружает; это люди, которые улетают с Земли, гибнущей в огне ядерной войны, на пустынный Марс. «Нас достаточно, чтобы начать все заново, — говорит один из них. — Достаточно, чтоб отвернуться от того, что было там, на Земле, и ступить на новый путь».

Нет смысла попрекать Рея Бредбери тем, что он многого не видит и не понимает. Гораздо справедливее будет оценить эту веру в победу человечности, которая неизменно звучит в его книгах и отличает его от подавляющего большинства американских фантастов.

Творчество Рея Бредбери сложно, многослойно, многоцветно, и, разумеется, в пределах этой статьи проанализировать его даже в общих чертах невозможно. Поэтому речь пойдет лишь о том, как рисует Бредбери будущее, каковы черты его утопий и в чем их своеобразие.

Прежде всего следует отметить, что Рей Бредбери вовсе не стремится заглядывать далеко вперед. В «Марсианских хрониках» время действия обозначается точно: 1999—2026 годы. «451° по Фаренгейту» такого обозначения не имеет, но ясно, что речь идет примерно о том же, если не о еще более близком к нам времени (как и в рассказах «Пешеход», «Убийца», «И камни заговорили»). Затем, в отличие от подавляющего большинства американских фантастов, Бредбери считает, что термоядерная война (видение которой неотступно стоит перед его мысленным взором) будет означать гибель капитализма, но не гибель человечества. Впрочем, еще точнее будет сказать, что атомная война для Бредбери — просто символ социального катаклизма (такую же роль выполнял образ космической катастрофы в дооктябрьском творчестве Брюсова).

Это тем более существенное замечание, что позиция Рея Бредбери в фантастике довольно своеобразна: проявляя постоянный страстный интерес к социальным проблемам, он в сущности совершенно равнодушен к науке и технике; более того, психологическая подоплека его произведений — это ненависть к технике, которая, по его мнению, все больше порабощает и обезличивает своего создателя — человека и в конце концов погубит его. «Наука развивалась слишком быстро, и люди заблудились в механических джунглях, — говорит один из героев «Марсианских хроник». — Они, словно дети, делали и переделывали всякие хитроумные игрушки: техническое оборудование, вертолеты, ракеты; они сосредоточили все внимание на усовершенствовании машин, вместо того, чтобы подумать, как ими управлять. Войны разразились и разрастались и наконец убили Землю».

Рея Бредбери никак не назовешь научным фантастом. Он гораздо ближе к тому, что в Америке называется «fantasy» — к сказке, к морализаторской басне (только, разумеется, без наивности и прямолинейности, свойственной этому жанру), где научная основа не играет фактически никакой роли и всякого рода чудесам и феноменам вовсе не обязательно давать какое бы то ни было обоснование. Бредбери, например, ничуть не заботит вопрос, может ли быть на Марсе атмосфера, пригодная для земного жителя, и существуют ли на деле марсиане. Для его философских и художнических целей нужно, чтоб атмосфера была и чтоб марсиане обладали высокоразвитой, очень своеобразной цивилизацией — и он сообщает это читателю как факт, не подлежащий сомнению.

Это вовсе не произвол фантазии, не бесконтрольное творчество, при котором игнорируется реакция читателя. Дело тут в другом: Бредбери изображает, в сущности, не Марс, а Землю. Условные, фантастические образы и ситуации помогают ему ярче показать алчность, жестокость, самоуверенную тупость капиталистического уклада жизни. В «Марсианских хрониках» он изображает не встречу существ, живущих на разных планетах, а один из вариантов земной колонизации — варварское истребление высокой, непонятной тупым захватчикам культуры и отчаянное, обреченное сопротивление носителей этой культуры.

А дальше — заселение опустошенной планеты. «Марс был далекий берег, и людей выносили на него волны. Каждая очередная волна была не такой, как предыдущая, а непременно сильнее». На Марс попадают разные люди, и побуждения у них разные. Сем хочет открыть сосисочную, а Стендал — воскресить сказки, убитые на Земле, чтоб они отомстили своим убийцам. Спендер готов любой ценой защищать марсианскую культуру — даже стреляя в своих спутников по полету, а негры сами ищут защиты у Марса от земной эксплуатации и унижения. Но волны пришельцев заливают планету, и сложная, утонченная, загадочная цивилизация погибает.

А потом на Земле разгорается гибельное пламя термоядерной войны. Через космос летят световые сигналы — лазерная морзянка: «Австралийский континент уничтожен вследствие взрыва складов атомных боеприпасов. На Лос-Анжелос, Лондон сброшены бомбы. Война. Возвращайтесь домой. Возвращайтесь домой. Возвращайтесь домой».

Конец «Марсианских хроник» аналогичен концу «451° по Фаренгейту»: жестокий, несправедливый мир погибает, он сам себя убил; те, кто останется в живых после великой катастрофы, должны будут начать все сначала. Следует добавить, что при всей своей неприязни к технике Бредбери не заставляет человечество сползать на уровень первобытных времен или средневековья, как это делают А. Франс и Г. Уэллс; он не заботится опять-таки о внешнем правдоподобии — ему важно, что все начинают заново именно *современные* люди, с их горьким и блистательным опытом во всем — и в социологии, и в морали, и в технике. Их будет мало, но у них останутся и ракеты, и автоматы, и стихи, и память. Они будут все помнить — и это поможет им избежать повторения трагической ошибки. Таков подтекст в финалах обоих романов.

IV

Для Рея Бредбери, как уже говорилось, образ термоядерной войны — прежде всего символ социального катаклизма. Однако, разумеется, эта художественная оболочка символа вовсе не случайна; она значительна и сама по себе, без второго смысла.

И для подавляющего большинства американских писателей изображение последствий термоядерной войны является кардинальной темой, эта тема имеет самодовлеющую ценность, и очень часто такое произведение выглядит как более или менее достоверная хроника Еще Не Сбывшегося, но Неизбежного. Сейчас, увы, легко себе представить последствия термоядерной войны на основании точных и подробных научных данных. Для того чтоб создать пейзаж мертвого Сан-Франциско, где все здания целы, а людей убила невидимая и неслышимая ядерная радиация, режиссеру-постановщику фильма «На берегу» Стенли Крамеру не понадобилось проводить сложные научные изыскания и напрягать фантазию, заглядывая в таинственные дали Будущего: для нашего современника это — реальная угроза сегодняшнего дня (кстати, Стенли Крамер и датировал действие своего фильма 1964-м годом!). Но американские фантасты в подавляющем своем большинстве рисуют картины разрушений, смертей и тяжелых страданий, причиненных термоядерной войной, не для того, чтоб, подобно Стенли Крамеру, призвать людей бороться против войны. Обычно война выглядит здесь как неизбежное зло, причины которого неясны — да и какой смысл докапываться до этих причин, когда катастрофа уже произошла и мир гибнет? Война тут большей частью предпосылка, совершившийся факт. А вот что будет с Землей после катастрофы — об этом американские фантасты думают с интересом, можно сказать, научным.

Все ли погибнут? Может, не все? Тогда что будет с уцелевшими? Какие мутации возникнут среди людей под действием ядерного излучения? Ну и еще — что будут делать всякого рода «думающие машины», оказавшись вне постоянного контроля со стороны человека?

Так, например, в «Городе роботов» У. Миллера возникает жуткий образ целиком автоматизированного города, который и после войны продолжает держать свои механизмы в полной боевой готовности и не впускает людей: он запрограммирован на войну. Эти проблемы составляют основу сотен и тысяч произведений американских фантастов.

Период наиболее острого интереса к изображению термоядерной катастрофы приходится на пятидесятые годы. Многое тут было еще, так сказать, в диковинку, тема волновала все человечество, а для американцев, которые

сначала потеряли свою монополию на атомную бомбу, а потом убедились, что русские обогнали их в запуске спутников, она представлялась особенно важной. Сейчас читатели уже попривыкли к изображению разрушений и смертей, да и фантазия писателей начала, возможно, иссякать.

Довольно часто встречаются и такие картины будущего, в которых изображается бесконечное продолжение «холодной войны», высящей над человечеством как неотвязный кошмар, убивающей всю радость жизни.

Таков, например, талантливый, проникнутый горьким юмором рассказ Джека Финнея «Занятные соседи». В маленьком американском городке селится молодая пара; очень приятные люди, хотя и с некоторыми странностями — не знают иногда самых простых вещей, забывают, например, что дверь нужно открывать, сама она не распахнется перед тобой... Выясняется впоследствии, что это беглецы из будущего. В ХХI веке, рассказывают они, жизнь стала совсем невыносимой. То есть, конечно, технический прогресс сделал быт чрезвычайно удобным и уютным, но что толку в уюте и в технических новинках, когда над головой все время висит угроза неотвратимой гибели? И вот, когда пустили в массовое производство машину времени, люди стали спасаться бегством в прошлые века. Выбирали себе век и страну по сердцу и переселялись семьями, компаниями или в одиночку. Земля начала пустеть. Постепенно остались лишь те, кто хотел войны, но ведь их было не очень-то много! Так что, когда человечество подойдет к ХХI веку, возможно, оно застанет пустую Землю, без людей...

Итак, бегство — единственный выход. Джек Финней предлагает это в форме невеселой шутки. В другом его рассказе — «Исчезнувшие» мотив бегства повторяется уже без оттенка шутки. Но мотив бегства, почти руссоистского бегства на лоно природы от испорченной цивилизации положен и в основу трагической «аудиопьесы» * известного швейцарского писателя Фридриха Дюренматта «Операция Вега». Произведение это, ярко талантливое и своеобразное, рисует все ту же картину «холодной войны», затяжной, безысходной и, в сущности, неизбеж-

* Драматическое произведение, предназначенное главным образом для исполнения по радио.

ной, по мнению автора, ибо таков закон жизни на Земле. «Земля слишком прекрасна. Слишком богата. Предоставляет слишком большие возможности. Ведет к неравенству. Бедность там — позор, и этим Земля себя позорит».

Будущее в изображении Фридриха Дюренматта выглядит так. После второй мировой войны прошло 310 лет. Третьей мировой войны за это время так и не было («Это был период локальных конфликтов»). Но теперь новая мировая война стала неизбежной — так, по крайней мере, считают американцы. «Дипломатия уже исчерпала все свои средства, «холодную войну» уже нельзя продолжать, мир невозможен; надобность войны сильнее, чем страх перед ней», — говорит американский дипломат Вуд.

Но начать войну тоже нельзя. Мир окончательно разделился на два лагеря, более или менее равные по силам: «Соединенные Штаты Америки и Европы», с одной стороны, и Советский Союз с конфедерацией стран Азии, Африки и Австралии — с другой. Пространство над Землей постоянно контролируется спутниками обоих лагерей. На Луне позиции прогрессивного лагеря гораздо сильнее. Марсиане объявили нейтралитет, у них мощная цивилизация, их не втянешь силой в войну.

Венера на протяжении последних двух веков стала международной каторгой. Туда оба лагеря ссылают опасных преступников. Бежать с Венеры невозможно; жить там, по понятиям землян, тоже почти невозможно, но ведь туда и посылают на смерть, навсегда.

Однако Венера — единственная база, на которую могут теперь рассчитывать американские империалисты, чтоб подготовить там, под густым облачным покровом, нападение втайне от противника. И «Операция Вега», порученная Вуду и группе дипломатов (с приданным им шпионом правительства Маннергеймом), в том и состоит, чтоб договориться с обитателями Венеры на этот счет. Нужно будет построить на Венере космодром и космические корабли, подготовить водородные и кобальтовые бомбы; понадобятся также и солдаты для массированного нападения на «Россию и Азию». Словом, по подсчетам военных специалистов, понадобится около двухсот тысяч человек. Предполагают, что на Венере находится сейчас около двух миллионов... Если им пообещать

щать, что они смогут вернуться на Землю, они на все пойдут, считает Вуд.

Однако «Операция Вега» проваливается. Население Венеры живет действительно в страшных условиях, ежеминутно рискуя жизнью, тяжело трудясь ради ежедневного пропитания. Но вернуться на Землю никто из них не хочет — именно тут они впервые почувствовали себя людьми. «К нашей пище, к нашим орудиям может прилипнуть только пот, а не несправедливость, как на Земле», — говорит бывший дипломат Бонстеттен, который, будучи американским эмиссаром на Венере, добровольно остался тут навсегда. Богатство на Венере попросту ни к чему — в любую минуту все может погибнуть, не стоит заводить никакого имущества, кроме орудий труда и минимума одежды (в жарком климате Венеры и одежда не очень-то нужна), а о роскоши и говорить смешно — тут нельзя добиться даже относительного уюта и безопасности.

Да, невесело выглядит это «лоно природы»; удушливый, гремющий ад Венеры бесконечно далек от мирных идиллий руссоистского толка. Но для героев «Операции Вега» лучше оставаться в этом аду и быть людьми, чем возвращаться в обманчивый рай Земли и участвовать в подготовке к губительной войне, позорящей человеческое достоинство. «Мы должны были бы убивать, если б вернулись, потому что помогать и убивать у вас означает одно и то же», — говорит Бонстеттен Вуду, своему давнему знакомому и другу.

Финал «Операции Вега» весьма характерен: Вуд велит сбрасывать на Венеру водородные бомбы. Он уверял Бонстеттена, что не пойдет на такое, он говорил, что это — бессмысленная жестокость. И мудрец Бонстеттен отвечал ему: «Ты подумаешь, что сюда могут прибыть русские и заключить с нами соглашение. Правда, ты будешь знать, что это невозможно и что мы сказали бы русским то же самое, что сказали вам, но к твоему знанию прилипнет крупинка страха... И из-за этой крупинки страха, из-за легкой неуверенности в твоём сердце — ты прикажешь сбросить бомбы». Предсказание Бонстеттена сбылось. И Вуд говорит: «Итак, бомбы сброшены. Другие вскоре полетят на Землю. Хорошо, что у меня есть атомное бомбоубежище...»

Конечно, при той исходной позиции Ф. Дюренматта, о

которой говорилось выше, легко предположить, что состояние войны, холодной ли, атомной ли, является неизбежным и естественным и что так будет, пока существует человечество. «Операция Вега», в сущности, даже и не утопия — это анализ ныне существующего положения вещей, сделанный в условно-утопической форме. Но то же или почти то же можно сказать и о многих картинах будущего в современной западной литературе.

Конечно, какая-то граница, может быть, не всегда четко различимая, тут существует. Где-то вблизи от этой границы, но, пожалуй, по ту сторону, находится, например, пьеса французского драматурга Эжена Ионеско «Стулья». Тут перед нами тоже будущее, и, по-видимому, довольно отдаленное. Об этом можно судить хотя бы по тому, что на памяти героев, достигших почти столетнего возраста, на месте Парижа всегда были развалины — а может, и развалин уже не было к этому времени; осталась лишь песенка: «Париж — всегда Париж»; песенка эта кажется им забавной. Можно догадываться о том, что над миром за это время прошла разрушительная война и что человечество, хоть не погибло целиком, но очень поредело и отброшено далеко назад в своем развитии, — примерно, к средним векам, как в уэллсовском «Облике грядущего». Словом, внешние черты утопии тут налицо. Но идея пьесы, ее исходная позиция не имеет ничего общего с утопией: она внеисторична, вневременна. Для Ионеско вовсе не важно, совершились ли в мире какие-либо преобразования, каковы причины и следствия этих преобразований. Условно-фантастическая форма лишь помогает ему яснее выразить мысль об извечном одиночестве человека, о невозможности контакта, невозможности подлинного взаимопонимания между людьми.

Напрасно дух о свод железный
Стучится крыльями, скользя.
Он вечно здесь, над той же бездной:
Упасть в соседнюю — нельзя!

И путник посредине луга
Кругом бросает тщетный взор:
Мы вечно, вечно в центре круга
И вечно замкнут кругозор!

Идея эта, разумеется, была далеко не нова и на заре XX века, когда было написано процитированное выше

«Одиночество» Валерия Брюсова. Но Ионеско выражает ее в применении к нашему времени, средствами, позаимствованными у современной утопии (лишнее доказательство того, какой емкой и гибкой является сейчас эта форма!) Герой пьесы Ионеско, Старик, перед смертью верит, что передаст людям плоды своих размышлений — итог долгой жизни; он ждет этого часа, готовится к нему, сзывает всех. Но до людей доходит в конечном счете лишь одно слово, вернее, запинаящийся отзвук слова: «Прощайте!» Круг одиночества не размыкается даже после смерти: человек был и остается одиноким, жизнь его проходит бесследно и бесплодно.

Пьеса Ионеско — пример «утопии навыворот», основанной на идее, что сущность человека остается неизменной и внешние перемены особой роли не играют, а значит, нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Но ведь когда капиталистическая система, в «мирном» или в военном варианте, проецируется на будущее и объявляется неизменной — это тоже достаточно далеко от подлинной науки, от понимания диалектики, от знания законов развития обществ. Картина будущего, достоверная хотя бы в главных чертах, может быть создана лишь на базе подлинно научного мировоззрения, методом материалистической диалектики.

V

В статье Станислава Лема «Камо грядеши, мир?» (1960) говорится: «Из множества усилий возник янусов лик современного пророчества. Орлом тут является технологическое величие, автоматическая роскошь цивилизации будущего, решкой — невидимый огонь радиации, тотальная гибель... Однако наверняка ли нас не ждет ничего, кроме автоматического рая либо водородного ада?»

Действительно, если будущее так просто и несложно по пути, то перед писателем-утопистом встает дилемма: либо стать певцом-апологетом «автоматического рая», либо зловещим вороном — вестником беды, «Кассандрой атомного века». Разумеется, угроза войны вполне реальна, и литература должна постоянно призывать людей к

бдительности, к борьбе против этой угрозы, но ведь нельзя же ограничиваться задачами сегодняшнего дня, пусть и самыми важными. Если уверовать в то, что война неотвратима, тогда действительно ни о чем будто и писать не стоит. Но живой о живом думает, и надежды у человечества не отнимешь. Люди живут, трудятся, борются — за что? Во имя чего? Ведь борьба против войны — не самоцель. Это — лишь необходимое условие для продвижения вперед, в грядущее. А каким оно будет, это грядущее?

Этот вопрос гораздо глубже, разностороннее, смелее решается писателями, стоящими на марксистских позициях, и это, разумеется, вполне естественно. Дело ни в коем случае не следует сводить к этакому примитивному противопоставлению: мол, у американских фантастов картины будущего сплошь мрачные, а у нас — светлые, потому что мы оптимисты. Бездумное бодрчество, стремление закрывать глаза на реальные сложности жизни — это позиция, в высшей степени далекая от подлинно коммунистической. Наоборот, именно марксистское мировоззрение помогает яснее видеть противоречия действительности, понимать их причины и следствия, знать, где и в чем таится опасность и как с ней бороться. Конечно, если нет таланта, ума, художнической зоркости и смелости, то самая правильная позиция ничуть не поможет. Но понятно также, как обостряются и усиливаются творческие способности, если художник предугадывает будущее, руководствуясь методом материалистической диалектики.

Творчество Станислава Лема — яркий тому пример. Представления Лема о будущем постепенно расширялись и обогащались. Характерно, что начал он свой путь в научной фантастике именно с предостережения против термоядерной гибели. Цивилизация Венеры, сожженная, расплавленная в огне чудовищных взрывов, — финальный образ первого научно-фантастического романа Лема «Астронавты». Это напоминание человечеству: «Люди, будьте бдительны!» Однако в те, уже кажущиеся далекими пятидесятые годы, взгляды Лема на будущее были проще и поверхностней, чем впоследствии. Вслед за «Астронавтами» логически следуют картины светлого мира в «Магеллановом облаке».

В задачу этой статьи не входит всесторонний анализ

творчества того или иного писателя. И о Станиславе Леме здесь говорится преимущественно с одной точки зрения: какую картину будущего он рисует в своих произведениях, какое место он занимает среди современных утопистов.

XXXII век, каким мы видим его в «Магеллановом облаке», это, конечно, «царство свободы». Тут давно нет ни угрозы войны, ни угнетения и насилия; эти явления ушли очень далеко в прошлое, и о них существует лишь умозрительное представление, как у наших современников о жизни в пещерах и об охоте на мамонта. Люди свободны, счастливы, жизнь их ярка и интересна, ни о каком подавлении индивидуальности, о растворении личности в нивелирующем коллективе и речи нет. Впрочем, картины жизни на Земле зарисованы Лемом только во вступлении — ведь действие романа в основном происходит на гигантском звездолете «Гёя», движущемся за пределы солнечной системы, к Проксиме Центавра. И земной мир выглядит в «Магеллановом облаке» несколько статичным и плоским — словно поверхность Земли, когда наблюдаешь ее с высоты 10—12 километров. В задачу Лема тут входило утвердить возможность светлого, свободного, счастливого мира, основанного на коммунистических началах, — в противовес тем мрачным пророчествам, которые он встречал в американской фантастике. Кроме того, его герои, прощаясь с Землей очень надолго, быть может, и навсегда, невольно должны были воспринимать Землю в идеализированном виде, очищенной от всяких трагедий и противоречий; трагическая героика — это удел покидающих Землю, а Земля — символ счастья, от которого отказываешься ради высших целей. Это тоже, должно быть, придавало несколько «голубоватый», однотонный колорит земным сценам.

От этой однотонности и излишней гладкости не осталось и следа в позднейших романах Лема, как и в его публицистических размышлениях о будущем («Камо грядеши, мир?» и другие статьи и интервью). Лем постоянно напоминает читателю и слушателю, что мир грядущего будет очень отличаться от настоящего — и не только высокоорганизованным бытом, всякими чудесами техники, но и характером конфликтов, которые будут возникать в этом мире, уровнем их разрешения; иными будут представления о счастье и горе, эстетические и моральные

критерии, потому что иными будут и уклад жизни, и психика человека.

Лем иногда умышленно пугает беседующих с ним корреспондентов, логически развивая некоторые тенденции, обозначившиеся уже в настоящем. Он говорит, например, о том, что люди научатся полностью контролировать наследственность и будущие родители смогут свободно выбирать заранее не только пол, но и внешность, и способности будущего ребенка — и это пугает его собеседницу-корреспондентку. С точки зрения рядового нашего современника, это и вправду кажется неестественным, даже кошмарным. Но ведь это, как отвечает Лем, куда правильней и нравственней, чем неуправляемая наследственность, когда появляются на свет уроды, калеки, кретины.

Но и тогда, когда Лем говорит вполне серьезным тоном, не стараясь никого шокировать, он выдвигает те же положения. До каких границ, например, может дойти «искусственная» перестройка человеческого организма, уже начавшаяся в наше время? Переливание крови, все более искусное и широко применяющееся протезирование — это наше сегодня. Завтра будут искусственные сердца, искусственные почки, аорты, кости и тому подобное — до этого остался один шаг. Потом научатся заменять, скажем, пищеварительный тракт, глубоко вторгнутся в химизм наших тел, добьются долголетия... Но что будет тогда с мозгом? Его сил не хватит на очень долговечный организм, наделенный повышенной жизнеспособностью. Придется переделывать мозг; вероятно, человеческие зародыши вообще будут выращиваться вне материнской утробы, в питательной среде с заранее заданными свойствами (например, способностью переносить ускорение, космическое излучение и т. д.). Что же останется от «естественного» человека? Но то, что кажется страшным с нашей точки зрения, представится вполне естественным и нормальным для людей будущего, — так считает Лем.

Впрочем, один из героев повести Геннадия Гора «Кумби», живущий в довольно отдаленном будущем, расстается с любимой женщиной лишь потому, что она, эндокринолог по специальности, пользуется различными стимуляторами, воздействующими на психику: герой перестает понимать, где же она — настоящая, что в ее чувстве искренне и что вызвано стимуляторами. Но если герой

Гора и человек будущего, то психика у него явно архаична по строю. Надо полагать, люди будущего просто не станут задумываться над такими вопросами (если, конечно, применение биогенных стимуляторов войдет в повседневную практику), как мы не задумываемся, например, над тем, остался ли «настоящим», «прежним» человек, которому сделали переливание крови или подсадку тканей.

С другой стороны, это естественное и неудержимое развитие науки и техники, которое будет оказывать все большее и большее влияние на жизнь человека, может привести к самым неожиданным и грозным последствиям, если его не контролировать, не продумывать тщательно и всесторонне значение того или иного шага на этом сложном пути. И об этих реальных опасностях нельзя не думать, рисуя себе картину будущего.

Отсюда, из этих глубоких раздумий Лема о путях социального и технического прогресса, возник великолепный и по замыслу, и по художественному выполнению роман о будущем «Возвращение со звезд». Лем предостерегает человечество против необдуманных шагов, против соблазна сытости, спокойствия, мещанского благополучия.

Действие романа происходит всего через полтора века после нашего времени, но в жизни человечества совершились громадные перемены, имеющие принципиальное значение. Искусственным образом лишив человека способности убивать, уничтожили в зародыше самую возможность всякой войны, даже простой уличной драки: человек попросту не выносит мысли об убийстве и неспособен поднять руку на другого. Безопасной стала и всякого рода техника — она надежно страхует человека от травмы, от катастрофы. Вообще жизнь устроена очень уютно и удобно: быт превосходно организован, трудиться приятно и легко, развлечений масса, еда, одежда и жилье даются всем бесплатно, люди совсем не болеют и живут очень долго. И все же человечество зашло в тупик, и признаки физического и нравственного вырождения обозначились уже достаточно ясно. Те, кто желал человечеству добра, не до конца осознали результаты своих действий и причинили страшный, может быть, непоправимый вред. Человек механически избавлен от всякой опасности; он не победил, не преодолел эту опасность,

не закалился и не воспитался в борьбе, не стал лучше; нет, ему просто сделали прививку. Но прививкой не создашь тех черт психики, которые должны естественно воспитаться в борьбе за царство Свободы.

Искусственное и одностороннее вмешательство в психику человека привело к непредвиденным (но логически понятным) последствиям: люди потеряли вместе со страхом и мужество, вместе со способностью убивать утратили и способность защищать других, рисковать своей жизнью во имя идеалов, во имя любви или дружбы. Исчезло стремление к подвигам, исчез героизм, погас священный огонь человеческого духа, затормозился прогресс; жизнь стала тепленькой, мещански-уютной и мещански-равнодушной, в ней нет места героическим порывам и сильным страстям...

Этот мир, мастерски нарисованный Лемом, куда мягче, уютней, привлекательней, чем тот, что рисуют американские фантасты — Рей Бредбери, Роберт Шекли и другие, о которых шла речь выше. Никакой жестокости, никакой принудительной нивелировки тут нет и в помине. Все так весело, спокойно, ласково. Принудительное лечение? Наркотики? Зачем? Ведь всем живется так хорошо, все довольны. И все-таки — мы отчетливо видим это — перед нами мир, отравленный незримым ядом, медленно и безболезненно умирающий.

Это — не мрачное пророчество пессимиста. Это — честное, взволнованное предупреждение писателя, глубоко верящего в человечество. Это — дорожный знак: «Осторожно! Здесь — крутой поворот!» Мужество состоит не в том, чтобы закрывать глаза на опасность, а в том, чтобы видеть ее и бороться против нее.

Создавать розовые, паточные мещанские идиллии под видом картин будущего — это не значит проявлять подлинный оптимизм; это значит не понимать ни будущего, ни настоящего.

Вот, кстати, пример неудачной утопии, написанной с самыми лучшими намерениями: роман чешского писателя Яна Вайсса «В стране наших внуков».

Автор открыто показывает методику своей работы: черты будущего нужно искать в настоящем; меньше техники, больше психологии; люди будущего — не ангелы, у них тоже есть недостатки. В общих чертах все это правильно, хоть и не очень-то глубоко, но конкретизируются

эти идеи в романе уж совсем беспомощно и наивно. Будущее в изображении Яна Вайсса выглядит уютной мешанской идиллией, в которую вкраплены с нравоучительной целью образы людей, имеющих те или иные недостатки; они от этих недостатков очень быстро избавляются при энергичной помощи коллектива.

Вот, например, поэт Франя — он не хотел трудиться, хотел только писать стихи. Его друг Станислав объясняет ему, что, мол, «писать стихи — это развлечение», а работать надо; «стихи — это мечты, грезы об облаках», а без работы — как же? Вот он, Станислав, кроме стихов, еще и обувь делает. Особую, индивидуальную. Полных четыре часа работает, представь себе! Но Франя не хочет шить индивидуальные ботинки, а стихи у него тем временем получаются все хуже. И наконец за него берется Кирилл — специалист по лечению характеров. Он излечивает Франю от лени, да так радикально, что его теперь, как говорится, за уши не оттащишь от работы: он всю драит тряпкой потускневшие от времени золотые статуи. «Разве тряпка не может быть орудием производства, если взять ее всеми пятью пальцами и с ее помощью вернуть вещи первоначальный, незапятнанный вид?» — рассуждает автор.

Тут все поразительно: и представление о поэзии, как о развлечении, и эти гигантские золотые статуи, торчащие повсюду, и тряпка как орудие производства в будущем светлом мире (уж действительно — минимум техники!), и метод перевоспитания при помощи все той же неистребимой тряпки, и стиль повествования («Город дворцов, башен и куполов в нежной дымке реки, похожий на головокружительную мечту», «Костел... темнел здесь, как неповрежденный гигантский кристалл, очищенный от наносов готических веков», и тому подобное). Но так же примерно выглядят и другие новеллы, составляющие эту утопию. В одной из них речь идет о юноше, который влюбился в девушку и из-за этого отказался лететь в космос (его перевоспитали и он полетел); в другой рассказывается о том, как у одного американца проснулись в душе пережитки прошлого, и он возненавидел негра за то, что негр отбил у него девушку (он сам устыдился и перевоспитался, а к тому же оказалось, что негр не отбивал, у него есть своя девушка); в третьей — какой-то неизвестный нахал ночью поцеловал девуш-

ку, когда та мирно спала на палубе воздушного корабля и грезила о своем любимом (нахал устыдился и исчез, из скромности так и оставшись неизвестным, а Аничка восприняла этот поцелуй, «продолжавшийся лишь одно мгновение» как подлинную катастрофу: «Аничка вспомнила Павла и с ужасом поняла, что все кончено»; она даже пыталась покончить самоубийством, бросившись с палубы корабля; ее конечно, спасли). А еще в одной новелле автор живописует Аллею колясок — «аллею статуй и скульптурных групп, изображающих эпизоды из жизни ползунков». Среди сюжетов тут и «обряд кормления», и «сидение на круглом троне горшочка». В общем, очень увлекательная аллея — под стать гуляющим по ней матерям, «готовым вот-вот вознестись от гордости»...

Вся эта идиллическая утопия с мещанской подкладкой не вызывает ни малейшего желания попасть в такое будущее — бог с ним, с этим паточным уютом и со статуями ползунков, сидящих на горшках. В своем роде это не менее пессимистично, чем самые мрачные пророчества об ужасах «водородного ада или автоматического рая», ибо тут на будущее накладывается гипертрофированная и абсолютизированная проекция бытия сегодняшнего мещанства.

VI

Для создания широкой панорамы будущего светлого мира, основанного на коммунистических началах, больше всего сделали советские писатели — это можно заявить без всяких преувеличений.

Конечно, «Астронавты» и «Магелланово облако» Станислава Лема написаны раньше, чем «Туманность Андромеды» И. Ефремова — первая ласточка новой советской фантастики. Но мир будущего в этих первых романах Лема показан в известной мере косвенно (ибо действие в обоих романах происходит преимущественно вне Земли). Лем тут еще не подымает многих проблем социологии, психологии, этики, которые впоследствии становятся для него важнейшими. А в более поздних романах Лем решает эти проблемы, так сказать, «от про-

тивного», показывая либо путь, заведший человечество в тупик («Возвращение со звезд»), либо наглухо изолированный очаг ненависти и военной истерии, живущий своей призрачной, зловещей жизнью среди уже свободного мира («Дневник, найденный в ванне»), либо ставит вопросы этики будущего на трагически обостренном конфликте, не касаясь проблем социального устройства («Соларис»). Так что при всем громадном значении этих романов Лема для развития современной утопии (да и вообще современной литературы!) вклад советских фантастов в этот жанр трудно переоценить.

«Туманность Андромеды» потому и вызвала такой пламенный интерес у читателей не только в нашей стране, но и за рубежом, что тут впервые и очень смело, с большим размахом, с подлинной глубиной мысли была сделана попытка нарисовать мир далекого будущего — нарисовать, так сказать, в упор, прямо нацелив объектив своего телескопа на этот грядущий мир и стараясь разглядеть его важнейшие черты. Разумеется, такая попытка могла увенчаться успехом лишь у художника, стоящего на позициях материалистической диалектики, на позициях коммунизма.

В «Туманности Андромеды» есть великолепно сделанные картины, смелые зарисовки, но образы героев получились схематичными, бледными, речь их, несмотря на включенные в нее фантастические термины, отдает архаикой и сентиментальной насыщенностью. Но смелость мысли, полет фантазии, философская глубина делают «Туманность Андромеды» произведением весьма значительным, ярким, оригинальным. Об этом романе много спорили и вообще много писали. Поэтому здесь нет смысла давать подробный анализ этой блестящей утопии (в противном случае это было бы просто необходимо). Следует лишь отметить некоторые важнейшие ее черты.

Мир, созданный воображением И. Ефремова, подлинно велик и прекрасен, — даже неудачные разговоры героев на «личные» темы не могут погасить этого впечатления грандиозности и гармоничности, которое возникает при чтении «Туманности Андромеды». Пускай не все детали этой гигантской панорамы будущего прочерчены достаточно ясно и убедительно — целое существует!

Хотя в изображении этого мира вполне естественно

преобладают светлые тона, в нем отсутствует слащавая идилличность. Это — мир смелых мыслей, сильных чувств, мир, где есть место подвигам; точнее говоря, — это мир, органически включающий в себя подвиги, героизм, творческие дерзания, а значит, и высокие трагедии. Многое из того, что приводит к трагедиям и смертям в нашу эпоху, эти «стаи сердце раздиравших мелочей» там, в царстве свободы, потеряли свою власть над человеком. Но остается трагедия ученого, который решился на отчаянный эксперимент, на прорыв сквозь пространство и время и заплатил за это жизнью своих товарищей; остается глубокая душевная драма человека, ради спасения которого любящая женщина пошла на смертельный риск, и трагедия героев, навсегда расстающихся с горячо любимой. Землей, — настоящие высокие трагедии, а не мещанские слезливые драмы и не припотные идиллии.

Естественно, что такой мир обеспечивает подлинное, гармоническое развитие индивидуальности, расцвет мысли и таланта, усиление творческой энергии. И потому веришь даже этим приблизительным наброскам образов героев, соглашаешься с замыслом автора: да, люди этого мира должны быть сильны и прекрасны, да, примерно так они должны действовать в таких обстоятельствах. На основании того, что дает автор, можно многое домыслить и переосмыслить в словах и делах героев, несмотря на незавершенность их образов. Да и вообще — кому под силу детально, пластично воссоздать психику и взаимоотношения людей, которые появятся в мире лишь через многие века? Это — задача, практически невыполнимая в художественном плане, и вполне естественно, что И. Ефремов в этих сценах добивается гораздо большего как публицист, чем как художник.

Однако едва ли не самое сильное обаяние мира «Туманности Андромеды» заключается в том, что мир этот широко открыт в будущее, весь устремлен в будущее. Его мощная гармония вся проникнута движением, соткана из непрерывного движения. Почти все утопии прошлого рисовали осуществление идеала, достижение цели и счастливую успокоенность. «Туманность Андромеды» прославляет не завершение, а стремление, не точку, поставленную со вздохом облегчения, а линию, которая светлым пунктиром уходит все дальше, прорезая тьму

грядущего. Эпиграфом к этой книге могли бы служить строки Валерия Брюсова:

Разве есть предел мечтателям?
Разве цель нам суждена?
Назовем того предателем,
Кто нам скажет — здесь она!

«Туманность Андромеды» знаменует собой начало развития современной советской утопии. Вслед за ней появились другие книги, авторы которых пытаются представить себе облик будущего, основанного на коммунистических началах.

Наиболее плодотворно и активно работают в этом направлении Аркадий и Борис Стругацкие. Их романы и повести «Возвращение», «Попытка к бегству», трилогия «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею» и «Стажеры», «Далекая Радуга», а также некоторые рассказы («Белый конус Алаида», «Почти такие же», «Частные предположения» и др.) в целом очень широко и детально обрисовывают мир будущего, каким он видится этим авторам.

Мир этот, разумеется, не противоречит в принципе миру «Туманности Андромеды» — ведь идейная основа тут одинакова; но конкретный его облик совершенно иной и обрисован иными приемами.

Прежде всего мир Стругацких кажется более близким к нашей эпохе, чем мир Ефремова. Так оно, собственно, и обозначено авторами: в «Туманности Андромеды» действие происходит примерно через 2000 лет после наших дней, а «Возвращение» Стругацких имеет подзаголовок: «Полдень. 22-й век». Впрочем, следует сразу оговориться: в мире Стругацких есть свое движение времени. Действие трилогии происходит в конце XX — начале XXI века; ее главные герои — Быков, Крутиков, Юрковский, Дауге появляются в «Стране багровых туч» молодыми, а в «Стажерах» мы видим их уже ветеранами космоса, стареющими людьми. Основное время действия в «Возвращении» — XXII век, но оттуда переброшены мостики в прошлое, ко временам трилогии, и в будущее — к той эпохе, о которой идет речь в «Попытке к бегству». (Это уж не говоря о том, что «Попытка к бегству» захватывает в свою орбиту и эпоху второй мировой войны, и эпоху феодализма). Рассказы тоже относятся к разным эпохам,

подключаются, как штрихи, к той или иной картине будущего. Поэтому в мире Стругацких очень отчетливо ощущается бег времени, движение во времени, которое И. Ефремов лишь намечает как тенденцию.

Но дело не только в этом различии, хоть и оно весьма характерно. Мир Стругацких вообще отличается пластичностью, предметностью, он гораздо более осязателен, реален, обжит, чем величественная панорама «Туманности Андромеды». Это впечатление идет прежде всего от образов героев — они обрисованы вполне реалистично, без всякой внешней приподнятости, торжественности. Говорят герои Стругацких тоже простым, ничуть не возвышенным языком, частенько чертыхаются, еще чаще смеются и острят — у них прекрасно развито чувство юмора.

Сила воображения у Стругацких развита не меньше, чем у Ефремова, но применяют они эту силу несколько в иных целях — чтоб добиться максимальной иллюзии реальности того мира, который пока существует лишь в их воображении, чтоб заставить читателей дышать воздухом этого далекого мира, видеть его небо, его здания, его обитателей, ходить по его дорогам и слушать его голоса.

Конечно, выигрывая в точности и пластичности, Стругацкие по сравнению с Ефремовым проигрывают в смелости обобщений, в широте перспективы; однако их подход к теме имеет настолько явные преимущества, что с таким проигрышем есть смысл примириться. В самом деле, исходя из того, что и в XXI, и в XXII, и в последующих веках люди изменятся не так уж сильно, будут «почти такие же», Стругацкие сразу получают возможность применять для создания образов своих героев богатейший арсенал реалистической поэтики, в том числе и поэтики Хемингуэя, которая им явно импонирует. Придирчивые критики могут сколько угодно попрекать Стругацких за «приземленность» их героев: это не приземленность, а заземление, которое придает жизненную достоверность и правдивость их образам.

Что же происходит в мире Стругацких?

В конце XX — начале XXI века в этом мире, где межпланетные полеты уже вошли в привычку и начинается эра межгалактических экспедиций, все еще существует капитализм. Нет, это не то состояние «холодной войны»,

в любую минуту грозящее атомным взрывом, которое нарисовал Ф. Дюренматт. Это сосуществование, постоянная борьба во всех формах — от добродушной по тону, хоть и серьезной по существу перепалки (разговор Ивана Жилина с барменом Джойсом) до стычки с применением оружия (Юрковский и Жилин на Бамберге). Но это — сосуществование уже давно не на равных правах. Капитализм одряхлел и шаг за шагом отступает по всему фронту. «Да, да, коммунизм как экономическая система взял верх, это ясно, — говорит инженер американской компании Ливингтон. — Где они сейчас, прославленные империи Морганов, Рокфеллеров, Круппов, всяких там Мицуи и Мицубиси? Все лопнули и уже забыты. Остались жалкие огрызки вроде нашей «Спейс Пёрл», солидные предприятия по производству шикарных матрасов узкого потребления... да и те вынуждены прикрываться лозунгами всеобщего благоденствия».

Картина будущего выглядит тут, пожалуй, чересчур идиллично. Однако авторы устами того же героя напоминают о реальной опасности, против которой придется долго бороться и после того, как коммунизм победит во всем мире. «Мещанство. Косность маленького человека. Мещан не победить силой, потому что для этого их пришлось бы физически уничтожить. И их не победить идеей, потому что мещанство органически не приемлет никаких идей... Я не знаю, куда вы намерены девать два миллиарда мещан капиталистического мира. У нас их перевоспитывать не собираются. Да, капитализм — труп. Но это опасный труп».

Рассуждения Ливингтона во многом правильны. Но они ошибочны в исходной позиции: он считает, что «средний» человек — мещанин от природы, в каких бы условиях он ни жил, что мелкособственническое свинство и равнодушие — имманентные свойства человека и тут уж ничего не поделаешь.

В XXIII веке не остается даже следов ни капиталистического строя, ни мещанства. О последних капиталистах-продуцентах «шикарных матрасов» помнят только их современники-звездолетчики, благодаря парадоксу времени очутившиеся в XXII веке. В романе «Возвращение» мы видим счастливое, сильное, красивое человечество. Очень счастливое, но опять-таки ничуть не напоминающее ни карамельный рай, которым восхищается Ян

Вайсс, ни тот внешне безмятежный и веселый, но неизлечимо больной мир, против которого страстно предостерегает Станислав Лем. Это мир, родственник ефремовскому, — устремленный в будущее, полный смелых замыслов и смелых дел, мир очень разнообразный, очень жизнерадостный и веселый, мир, многое познавший, но страстно стремящийся к новым высотам знания, — словом, мир, жить в котором очень хорошо и интересно. И показан этот мир в «Возвращении» тоже широко, по принципу панорамы, медленно проходящей перед глазами пришельцев из прошлого (классический прием утопии!). Штурман Кондратьев и врач Славин, единственные уцелевшие члены экипажа «Таймыра», вовсе не чувствуют себя несчастными, попав в это будущее, процесс акклиматизации у них проходит легко и довольно быстро: ведь они попали не в чужой и враждебный мир, как Эл Брегг в «Возвращении со звезд» Лема, — нет, они оказались среди своих.

О более далеких веках Стругацким, пожалуй, не удастся рассказать с такой же яркостью и убедительностью. Тут сказывается известная ограниченность избранной ими манеры (впрочем, опять-таки, выбор тут невелик — либо чистая публицистика, либо максимальное сближение с нашим уровнем реакций и восприятий). Мы допускаем, что люди начала XXI века будут очень похожи на нас. Талант авторов заставляет нас верить и тому, что эти люди, попав на столетие вперед своей эпохи, освоятся там легко и безболезненно, что опять-таки их психика не будет существенно отличаться от психики «правнуков». Но разница между людьми XXI и XXII веков все же ощущается в романе достаточно ясно, и доверие читателя не нарушается. Но когда оказывается, что и в последующие века человечество ничуть не меняется (а если и меняется, то не всегда разберешь, к лучшему ли, ибо наш современник Саул выглядит в общем-то умней, благородней и смелей тех обитателей далекого века, с которыми он сталкивается в «Попытке к бегству», хотя Вадим и Антон, бесспорно, милейшие ребята), то это уже заставляет задуматься: полно, так ли это будет? Ведь человеку XVIII века пришлось бы очень нелегко в нашем XX (а уж тем более — жителю, скажем, XV века!). А темпы развития все ускоряются, и даже за ближайшие пятьдесят лет человечество изменится весьма существенно,

ибо изменятся условия его существования. Что же будет через двести лет и еще позже? Нет, философская правда здесь на стороне Лема — человечество будет непрерывно меняться и будущее нельзя строить по мерке настоящего, оно будет совсем иным.

Но, с другой стороны, что же делать художнику, желающему изобразить будущее и людей будущего, желающему приподнять хоть уголок завесы над светлым миром коммунизма? Следует ли ему отказываться от этого намерения, если он даже и знает заранее, что не все ему удастся в равной мере? Нет, это было бы глубоко неправильно. Миру — всему миру, а не только Советскому Союзу — нужны картины светлого будущего, в которое приходится грудью прокладывать дорогу. И значение таких книг, как «Туманность Андромеды» И. Ефремова или «Возвращение» А. и Б. Стругацких, далеко выходит за рамки искусства. Это — умная, страстная, искренняя проповедь идеалов коммунизма, рассказ о том, к чему приведет осуществление этих идеалов, какая великолепная, яркая, глубоко интересная жизнь откроется перед человечеством, когда оно уничтожит войны и эксплуатацию. Книги эти активно участвуют в битве идей, идущей сейчас во всем мире.

Да, путь в грядущее, и в первую очередь тот начальный этап его, который виден из нашего сегодня, очень сложен, труден, чреват грозными опасностями. Поэтому вполне понятно, что облик будущего в современной утопии так двойствен, сложен, противоречив. Ибо правы не только те, кто воспевают грядущее торжество правды и добра, но и те, кто предостерегает против вполне реальных опасностей, кто отвергает ложные пути, уводящие от цели.

По-человечески вполне понятно и поведение тех, кем владеют страх и растерянность, тех, кому кажется, что сегодняшние опасности и противоречия неодолимы, что они наглухо закрывают путь в счастливое будущее. Им можно от души посочувствовать, потому что страх и отчаяние — это мучительная пытка. Но они могут вызвать и искреннее раздражение, как всякий, кто в бою за правое дело кричит бойцам: «Бросайте оружие, ничего у вас не выйдет!» И такое раздражение, смешанное с жалос-

тью, довольно часто испытывают бойцы прогрессивного лагеря, читая современные утопии, созданные в капиталистических странах. «Нам нужны люди, которые могли бы ободрить нас, помогли бы нам увидеть картину мира в целом, дали бы нам верные ориентиры, — сказал американский писатель Роберт Юнг, автор книг «Ярче тысячи солнц» и «Лучи из пепла», выступая на Международной конференции писателей в Эдинбурге. — Я вижу на этой конференции слишком страстное увлечение мрачным, ведущим к гибели, к концу; между тем множество людей хочет жить, увидеть будущее, а для них романисты ничего не создают».

Человечество пробьется через все препятствия к свободе и счастью. И, хоть борьба предстоит трудная, опасная, долгая, но зато человечество воспитается в этой борьбе, станет сильнее, умней, справедливей. Счастливое будущее, о котором мы мечтаем, не возникнет искусственным путем, — ни прививки миролюбия, ни усыпляющие газы не помогут создать подлинно свободный и справедливый мир. И не избранное меньшинство, — пусть самое прекрасное и благородное! — а все человечество будет завоевывать себе свободу и строить новую жизнь.

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой!
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!

Эти слова «Интернационала» не потеряли и не потеряют своего значения, пока не завершится победой последний, решительный бой человечества за настоящую жизнь, достойную разумных существ, за мир, свободу и справедливость на всей нашей прекрасной планете.

ВОЗМОЖНО ЛИ?

БИОХИМИЯ БЕССМЕРТИЯ

Когда читаешь фантастическое произведение, в котором затрагиваются те или иные проблемы науки, обычно возникает вопрос: насколько реально и допустимо решение научной задачи, предложенное автором? Может ли вообще такое быть? Есть ли основание надеяться, что когда-нибудь, пусть не сегодня и не завтра, а в самом отдаленном будущем человечество найдет отгадку такой-то тайны природы и сделает это именно тем путем, какой предсказывает автор?

В повести «Бунт тридцати триллионов» рассмотрен ряд интереснейших научных проблем, связанных с биохимией будущего. Главная из них — проблема жизни и смерти. Человек не может примириться со смертью. Смерть — это парадокс. Несоответствие возможностей могучего немеркнущего разума и слабого смертного тела давно уже потрясает воображение людей. Даже сегодня, когда медицина достигла невиданных доньше высот и совершенства, жизнь очень часто утекает по незаметным для человеческого глаза каналам, и люди не могут удержать ее... Проблему жизни и смерти по праву следует считать самой волнующей и самой драматической из всех, которые когда-либо стояли перед людьми.

Название повести «Бунт тридцати триллионов» не слу-

чайно. Дело в том, что человеческий организм состоит из десятков триллионов клеток. Точное число назвать трудно, но в среднем 30 триллионов можно считать значением, близким к истине. И каждая клетка несет в себе чудесное вещество наследственности.

Авторы «Бунта» не предлагают какого-либо окончательного решения этих вопросов, что вполне закономерно. Слишком темна и слишком сложна сейчас эта область знания. Но они предсказывают момент, когда наука раскроет тайну жизни и человек сможет управлять процессами, протекающими в живом организме. Молекулу ДНК, извлеченную из клеток таинственного сордонгнохского чудовища, обвивает третья спираль, которая спасает организм от мутагенного воздействия среды и делает живое существо практически бессмертным.

Есть ли в современной науке если не предпосылки, то хотя бы намек на такое фантастическое решение проблемы жизни и смерти, какое предлагают авторы? Оказывается, да. Но прежде, чем говорить об этом, нам придется совершить небольшой экскурс в область молекулярной биологии, ее законов и особенностей.

Живой организм — это единая система бесконечно большого числа клеток. В каждой из них осуществляют-ся сложнейшие химические реакции, законы которых и по сей день известны далеко не полностью. Но какому бы органу живого организма ни принадлежала та или иная клетка, в ней, как в фокусе, сконцентрированы общие, основные процессы жизни. Нарушение их приводит к гибели клетки, а следовательно, и организма. В клетке заложены и особые материальные вещества — гены, хранящие план развития и жизни организма. Они заранее предопределяют и такой решающий момент, как быстротечность или же долговечность жизни.

Клетка — это первая живая ячейка, в которой осуществляется синтез белка по определенной, безотказно действующей схеме. Постоянное обновление, или, как еще говорят, воспроизводство белковых тел: гормонов, ферментов, антител и многого другого, объясняется тем, что они как бы печатаются с определенных шаблонов, которые присутствуют в клетке. Главным элементом такого шаблона является дезоксирибонуклеиновая кислота. Биохимические процессы в клетке протекают с участием биокатализаторов — ферментов. Клетка располагает

специальными «биохимическими машинами» — поистине удивительными «сооружениями», которые ведают утилизацией и переносом энергии в нужных для клетки направлениях.

Понятие «живой» в нашем сознании неотделимо от белка. Точно так же обстоит дело и с понятием «клетка». Клетка тоже неотделима от белковых тел, так как все биохимические процессы, проходящие в ней, связаны с одним из видов белка — ферментами.

Белки представляют собой высокомолекулярные полимеры, построенные из аминокислот. Хотя аминокислот только 20, но число возможных комбинаций из этих своеобразных кубиков поистине гигантское, особенно если учесть, что молекулярный вес их колеблется от 4000 до 100 000. Этим и объясняется все многообразие белковых соединений в живой природе. Молекула белка имеет очень сложную структуру. Ее разделяют на первичную, вторичную и третичную. Если представить это образно, то первичная структура молекулы белка может быть изображена проволокой, на которой в виде разноцветных бусинок в определенном порядке нанизаны аминокислоты. Если из таких нанизанных на проволоку бус свернуть спираль, мы получим уже вторичную структуру белка. И, наконец, сделав из этой длинной спирали какую-либо фигуру, мы воспроизведем уже третичную структуру белковой молекулы.

Естественно может возникнуть вопрос, а так ли это?

Всего лишь несколько десятилетий тому назад подобная схема была бы плодом беспочвенной фантазии, но сегодня благодаря общему прогрессу науки в различных областях, благодаря совместным усилиям химиков, физиков и биологов удалось не только доказать строение белковой молекулы, но и «увидеть» ее с помощью рентгеновских лучей. Это, пожалуй, одно из самых изумительных открытий нашего века. Химики научились расщеплять высокомолекулярную белковую молекулу на сравнительно короткие фрагменты. Затем, изучив порядок расположения в них аминокислот, смогли получить первичную структуру белка.

Физики, облучая рентгеновскими лучами кристаллический белок, сумели увидеть как бы объемную картину атомов белка, что позволило уже судить о самом облике

гигантской молекулы. Так, сначала удалось, например, «увидеть» лишь общие контуры молекулы белка миоглобина (мышечный гемоглобин), а затем, когда была достигнута более высокая мощность прибора, были исследованы и спиральные участки молекулы.

На решение таких задач ученого толкает далеко не праздное любопытство, а крайняя необходимость. Все дело в том, что молекула фермента способна осуществлять в организме животного или в колбе исследователя те или иные процессы только до тех пор, пока она сохраняет свою специфическую третичную структуру. И стоит ее хоть очень немного нарушить, например, воздействием температуры, растворителями, излучениями или какими-либо химическими веществами, как молекула фермента теряет свою каталитическую активность. Нужно отметить, что при этом не нарушается не только первичная, но и вторичная структура молекулы. Вот почему проблема третичной структуры белка представляется очень важной.

Однако весьма существенную роль играет и первичная структура белковой молекулы. Вот пример. В зонах малярии на побережье Средиземного моря, в Африке и Азии широко распространено заболевание крови, так называемая серповидная анемия. Страдающие этим тяжелым недугом, как правило, невосприимчивы к малярии.

Недавно выяснилось, что это заболевание может быть отнесено к «молекулярным болезням». Оно связано с тем, что в крови больного, в молекуле гемоглобина нарушается порядок расположения отдельных аминокислот. Совсем небольшое нарушение, но оно резко изменяет ход процессов обмена живого организма. Такое как будто бы незначительное изменение первичной структуры белка вызывает сильное потрясение всего организма. Чем же вызываются такие изменения в молекулярной структуре белка? Как это ни поразительно, но виновен в этом сам организм. В борьбе с малярией организм перестраивает молекулу гемоглобина таким образом, чтобы сделать ее нечувствительной к ядовитым ферментам, которые вырабатываются плазмодием. Эта перестройка и приводит, по сути дела, к ослаблению и в конечном счете к гибели всего организма.

В клетке все процессы взаимосвязаны, и нарушение в одном месте того или иного биохимического процесса

серьезным образом сказывается на всей жизнедеятельности.

Приведенный случай ярко иллюстрирует момент, когда клетка, борясь с токсинами плазмодия, вынуждена «подправить» свои «матрицы» и тем самым нарушить воспроизведение нормального гемоглобина.

Разумеется, это лишь наиболее яркий случай такого влияния, которое в конечном счете приводит к вымиранию данной генетической ветви. Однако способностью нарушать «матрицы» клетки, которыми являются дезоксирибонуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты, или, как еще это называют, способностью быть мутагенами, обладают и другие, часто очень простые соединения, а также лучистая энергия. При воздействии на живой организм очень малых количеств таких материалов, в синтезирующем аппарате клетки постепенно как бы начинают накапливаться дефекты. Точнее, если на первых стадиях жизни здорового организма процесс синтеза протекает постоянно однозначно и стереотипно, то со временем, когда нарушается структура отдельных участков «матриц», начинают синтезироваться белки иного состава. И тогда они не могут нормально функционировать.

В течение жизни в организме человека накапливается все больше белков с измененной структурой, что со временем приводит к старению организма и смерти.

Возникает вопрос: а нельзя ли как-то уберечь организм от воздействия вредных веществ на «матрицы» клетки или каким-то образом сильно затормозить их вырождение и тем самым значительно продлить жизнь человека? Этот вопрос чрезвычайно сложен. Сейчас нет пока реальных подходов к этой проблеме. И это вызвано скорее не фантастичностью самой задачи, а тем, что мы еще очень и очень мало знаем о процессах, проходящих в клетках, о ее энергетических ресурсах, о ее генах. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является материальным носителем наследственности. ДНК регулирует синтез ферментов, создавая их первичную, вторичную и третичную структуру. Этот синтез осуществим через посредничество рибонуклеиновой кислоты (РНК). Изменения в ДНК, как сказано выше, вызовут изменение структуры синтезируемого фермента.

Однако не каждое воздействие на ДНК приводит к изменению структуры фермента. Более того, сама природа

как бы постаралась защитить от каких-либо воздействий носитель наследственности.

В ядрах спермиев находят так называемые нуклео-протамины, которые представляют собой комплекс ДНК и белка протамина (у рыб) или гистона (у высших животных). Этот комплекс достаточно прочный. Следует считать, что появление протаминов и гистонов в процессе эволюции, очевидно, не случайно, поскольку эти белки, вплетенные в ДНК, улучшают пространственную упаковку молекулы.

Подобная стабилизация молекулы, несомненно, привела к лучшему закреплению заложенной в ней информации.

Таким образом, сама природа в ходе эволюции показывает возможность предохранения наследственной информации от разрушающего действия мутагенов. Как этого будет достигать человек, сейчас сказать трудно. Но мечта о победе над старостью, над увеличением продолжительности человеческой жизни будет вечно жива в людях.

В повести «Бунт тридцати триллионов» поднимается еще целый ряд интересных научных и философских вопросов.

Так, фантастическая реализация химической памяти, заключенной в клетках человеческого тела, происходящая в церебротроне, имеет своим достаточным научным основанием изящные эксперименты биолога Макконела с червем — планарией (об этих экспериментах можно прочесть в четвертом номере журнала «Наука и жизнь» за 1963 год).

Решение этих вопросов принадлежит науке будущего, она откроет перед человечеством новые возможности и блестящие перспективы. Но фундамент будущих открытий закладывается в наши дни.

*В. Шибнев,
кандидат химических наук*

ТАЙНА КАШАЛОТА

14 августа 1884 года лондонская «Таймс» поместила небольшую заметку. Это было первое сообщение о нападении кашалота на подводный кабель связи. С тех пор прошло немало лет, и работников кабельных судов, точно так же, как и океанологов, уже не удивляют проделки исполинских млекопитающих.

Чем же объяснить такое странное поведение кашалотов? Многие мили проплывают они над самым дном в поисках добычи. И вдруг животное замечает длинного «морского змея». Вероятней всего, киты начинают принимать кабель за щупальца извечного своего врага — гигантского кальмара. Кашалот бросается в атаку. Захватив кабель нижней челюстью, он пытается сначала раскусить его, потом разорвать. Но не тут-то было. Морской кабель связи — вещь чрезвычайно прочная. Кашалот рвется вверх, в стороны, вздымает облака мути и окончательно запутывается в кабеле. Лишь однажды колоссальному кашалоту длиной в двадцать один метр удалось разорвать кабель.

Но не в борьбе с кабелем скрыта величайшая тайна кашалотов, которую ученые решили во что бы то ни стало раскрыть. В сущности, мы бы вообще могли не рассказывать о единоборстве морского исполина с неодушевленным хозяйством международного телеграфа, если бы это единоборство не явилось ярчайшей иллюстрацией к одному весьма интересному выводу. Дело в том, что кабели прокладываются иногда на весьма солидных глубинах — две-три тысячи и более метров.

А поскольку кашалот становится их пленником, то мы можем сделать один-единственный вывод: животное способно опуститься на такие глубины.

Больше ничего нам и не остается, как удивляться изумительной способности кашалотов выдерживать такие колоссальные давления. Достаточно сказать, что на глубине двух тысяч метров вода давит на каждый квадратный сантиметр поверхности с силой в двести килограммов. Это в двести раз больше, чем на поверхности! Никому из представителей наземных млекопитающих не приходится встречаться с такими условиями. На первый взгляд кажется, что глубины расплющат в лепешку даже такого гиганта, как кашалот. Но на деле этого не случается. А почему?

Долгое время среди ученых господствовало мнение, что представители семейства китовых каким-то образом умеют «защитить» свое тело от страшного давления океанских бездн. Считалось, что когда кит ныряет, то его внутренние органы или вообще защищены от внешнего давления, или же вода давит на них с силой, не превышающей пяти-шести атмосфер.

Сейчас очевидно, что такие предположения ни в коей мере не соответствуют истине. Действительно, разве могут мускульные ткани, как бы сильно они ни были напряжены, выдержать давление, которому не могут противостоять даже стальные обшивки подводных лодок? Недаром ведь ни подводным лодкам, ни водолазам, одетым в стальной тяжелый скафандр, не удается опуститься ниже трехсот пятидесяти метров.

Эту роковую границу могут преодолеть лишь специально оборудованные и защищенные батискафы.

Но это хотя и убедительный, но все-таки в какой-то мере косвенный довод. Сомнения остаются. Кто знает, а может быть, в воде мускулы кашалота крепче стальных?

Чтобы рассеять и эти сомнения, приведем еще один довод. В самом деле, не может быть никаких сомнений в том, что находящаяся в поверхностных сосудах кожи и ротовой полости кровь испытывает давление, равное внешнему гидростатическому. Не так ли? Но система кровообращения едина, и мы можем применять к ней знакомый со школьной скамьи закон сообщающихся сосудов. Из этого закона следует, что во всей кровеносной системе, во всех внутренних органах кашалота или кита должно установиться гидростатическое давление такое же, как и в поверхностных сосудах.

Рассчитывая на особенно упорных скептиков, можно привести еще один довод. Хорошо известно, что кашалот охотится на глубине сотен метров и проглатывает там своих жертв: рыб, осьминогов, кальмаров, в теле которых господствует гидростатическое давление. Но это значит, что в желудке и в кишечнике кита давление тоже должно быть уравновешено с внешним. Иначе каждая проглоченная рыба разорвется внутри бедного кашалота, как граната. Моряки знают, как лопается быстро вытесненный на поверхность глубоководный обитатель.

Так, нам остается лишь констатировать факт, что кашалот способен противостоять колоссальным давлениям. Исходя из этого факта, сотрудник Института морфологии животных имени А. Н. Северцова АН СССР кандидат биологических наук А. В. Яблоков высказал исключительно смелую и чрезвычайно заманчивую гипотезу. Суть этой гипотезы можно уместить в коротком вопросительном предложении: «Если кашалот может погружаться на многие сотни метров и безболезненно переносить возникающие при этом давления, то почему этого не может сделать человек?»

Неожиданный вопрос, не правда ли? Неожиданный, но вполне закономерный и отнюдь не праздный.

В сущности, между строением тела кашалота и тела человека нет никаких принципиальных различий. Мы с вами принадлежим к тому же классу млекопитающих, что и киты. Просто мы стоим на разных ступеньках эволюционного дерева. Далекие предки человека покинули воду, а предки кита остались в этой колыбели жизни. Не удивительно поэтому, что мы утратили, а киты приобрели способность приспосабливаться к внешнему давлению. Посмотрим, какие приспособления позволяют глубоко ныряющим китам и кашалотам долго оставаться в глубине, не возобновляя запаса воздуха. Эти приспособления довольно хорошо изучены. В сущности, их можно разделить на два типа. Первый — хитроумная система клапанов, препятствующих выжиманию воздуха из легких на глубине. Второй — колоссальные запасы особого дыхательного пигмента — миоглобина, связывающего кислород в мышцах. Если вам когда-нибудь придется побывать на разделочной площадке какого-нибудь китокомбината, то вы обратите внимание на то, что мя-

со исполинских животных очень темное. Это работа миоглобина.

Когда кит находится на поверхности, то шум его дыхания слышен за много метров. Опытный китобой может обнаружить кита в полной темноте, ориентируясь только на этот шум. Кит дышит, кит вентилирует легкие. Но не только легкие запасают кислород; весь организм тоже. Поэтому мышцы долгое время не нуждаются в притоке свежей крови, несущей живительный газ. Здесь-то мы и подходим непосредственно к научной идее рассказа «Соприкосновение».

Подобно китам, герои рассказа долгое время могли оставаться под водой, потому что кислород для дыхания был предусмотрительно запасен в молекулах оксимиоглобина. А тот кислород, который находится в крови, идет только на снабжение центральной нервной системы. Какое бы давление ни господствовало в глубинах, организму оно не страшно. Ведь ткани тела, как известно, состоят почти из одной только жидкости, а жидкости нежимаемы!

Внутренние органы тоже будут работать нормально на любой глубине.

Чтобы убедиться в этом, достаточно решить простейшие задачи. Прежде всего, давление крови. Оно складывается из внешнего гидростатического плюс давление, развиваемое сердечной мышцей. Поэтому кровь по сосудам будет двигаться под ударами сердца совершенно независимо от глубины. Главное, чтобы в организме быстро установилось давление окружающей среды. То же можно сказать о деятельности почек, кишечника и т. п.

Вот и получается, что человек без всяких защитных скафандров может погружаться на колоссальные глубины. Да, именно глубины, а не только на дно неглубокого бассейна, как в рассказе С. Гансовского. И это не упрек автору, недаром же рассказ называется «Соприкосновение»...

Но как создать в организме человека условия, близкие к китовым? Здесь нам придется вступить в область научных прогнозов.

Прежде всего, необходимо сохранить воздух в легких. Не дать глубинам сжать грудную клетку. В принципе это осуществимо при помощи системы клапанов, которые можно вмонтировать, ну хотя бы в специальную маску.

Вторая проблема — это такое насыщение организма кислородом, которое обеспечило бы бесперебойную работу внутренних органов в течение длительного времени.

Так что идея, научная идея создания в человеческом организме условий для длительного пребывания на больших глубинах уже существует, хотя до ее практического осуществления, вероятно, еще очень далеко.

Биологам предстоит решить важнейшие проблемы: понизить чувствительность дыхательного центра в мозгу к накапливающейся в процессе работы организма углекислоте или же вообще найти способы ее выведения из организма; кроме того, еще неясно, как решить проблему быстрого погружения и всплытия. В общем, дел предстоит еще немало! Наука сегодняшнего дня вступила лишь в первое «соприкосновение» с замечательной и многообещающей тайной природы.

*В. Волков,
кандидат технических наук*

Жизнь на Венере

Рассказ А. Кларка «До Эдема» посвящен увлекательной проблеме жизни вне земли, в иных космических мирах.

От многих других произведений на ту же тему его отличает то, что он весь построен на данных современной науки. Фантастичен в этом рассказе, по существу, лишь самый факт пребывания космонавтов на Венере.

Если позавчера вопросом жизни во вселенной занимались только писатели-фантасты, а вчера — отдельные ученые, подобно основателю астробиологии советскому исследователю Г. А. Тихову, о выдающихся работах которого говорится в рассказе Кларка, то сегодня проблема жизни вне Земли стала одной из актуальнейших научных задач. Это объясняется как развитием самой астрономии, совершенствованием методов исследования небесных тел, так и возросшим интересом к изучению вселенной, связанным с успехами космических полетов.

В рассказе Кларка отражены многие важные положения современной материалистической науки о жизни во вселенной. В частности, главное из них — что жизнь возникает естественным путем при соответствующих внешних условиях, которые и определяют структуру живых организмов.

Живые организмы всецело зависят от внешних условий. И если на каком-либо небесном теле сложатся в процессе эволюции условия, необходимые и достаточные для возникновения и развития жизни — то жизнь обязательно возникнет и будет развиваться. Но если эти условия будут значительно отличаться от тех, которые мы наблюдаем на Земле, то живые организмы могут оказаться совершенно непохожими на земные.

Достижения современной науки, в первую очередь, кибернетики открывают возможность функционального определения жизни.

С этой точки зрения живым существом можно назвать материальную систему, способную извлекать необходимую энергию из окружающей среды, изменять в соответствии с внешними условиями свой обмен веществ, не меняя при этом структуры, передавать эту структуру потомству и обладающую способностью к самосохранению и прогрессивному развитию.

В свете этого определения фантастическое предложение Кларка о возможности существования на Венере живых организмов, резко отличающихся по своим свойствам от привычных нам земных, вполне допустимо.

В последние годы об этой планете, скрывающейся от нас под непроницаемой облачной пеленой, было получено много новых интересных данных. В частности, советским астрономам удалось обнаружить в атмосфере Венеры молекулярный кислород, а американским — водяные пары. Это очень важно, поскольку кислород в атмосфере Земли, как правильно отмечает Кларк, имеет органическое происхождение. Он выделен в результате жизнедеятельности живых организмов — главным образом, растений.

Поэтому обнаружение кислорода в газовой оболочке Венеры позволяет надеяться, что там возможна органическая жизнь. Правда, измерение температуры Венеры с помощью радиоволн, излученных ее нагретой поверхностью, пока что принесло неутешительные результаты. Температура оказалась слишком высокой: четыреста — шестьсот градусов Цельсия. Кларк в своем рассказе это учитывает. И, чтобы оправдать свою фантастическую посылку о существовании на Венере органической жизни, он ищет выход в предположении, что в полярных районах планеты, в горах, на больших высотах температуры значительно ниже. Здесь, по мнению Кларка, могут встретиться и открытые водоемы.

Одно время пользовалась популярностью гипотеза, согласно которой вся поверхность Венеры представляет собой сплошной океан. Однако радиолокационные измерения, проведенные в последние годы советскими учеными под руководством академика Котельникова, показали, что на Венере нет больших водных поверхностей. Но раз

водяной пар обнаружен в атмосфере планеты, то весьма вероятно, что кое-где на поверхности могут быть небольшие водоемы.

Важный эпизод в рассказе Кларка — гибель венерианской жизни в результате заражения планеты земными микроорганизмами. Эта сторона космических исследований действительно имеет серьезное научное значение. Как известно, микробы и бактерии необычайно быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды и стремительно плодятся. Поэтому не исключена возможность, что земные микроорганизмы, оказавшись на поверхности другого небесного тела, могут дать поколение, соответствующее местным условиям, а затем начать быстро размножаться.

В связи с этим, когда советские ученые посылали к Луне вторую космическую ракету, были приняты специальные меры предосторожности. Приборный контейнер и все детали, которые должны были войти в непосредственный контакт с лунной поверхностью, перед стартом были стерилизованы. Иначе, оказавшись на Луне, земные микроорганизмы могли бы дать потомство, способное существовать в лунных условиях, и мы уже никогда в будущем не смогли бы узнать, существовали на Луне собственные формы жизни или же они занесены с Земли.

А. Кларк, подчеркивая в своем рассказе необходимость весьма тщательного соблюдения стерильности в космических экспедициях, абсолютно прав. Однако нарисованная им мрачная картина гибели жизни на Венере в результате небрежности космонавтов представляется все же чересчур пессимистической. Дело в том, что одним из важнейших свойств живых организмов является их сопротивляемость внешним воздействиям, способность вырабатывать естественные противоядия против губительного влияния вредоносных микробов и бактерий. Поэтому вряд ли заражение Венеры небольшим количеством земных микроорганизмов могло бы привести к столь катастрофическим и, в особенности, столь молниеносным последствиям.

*В. Комаров,
лектор Московского планетария*

ОБ АВТОРАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ ЕМЦЕВ родился в 1930 году в Херсоне. В 1953 году окончил Московский институт тонкой химической технологии, работал сначала инженером на Московском шинном заводе, а с 1955 года перешел на научную работу в Институт горючих ископаемых.

М. Емцев много лет занимается популяризацией новейших достижений современной науки — выступает по радио, читает лекции.

ЕРЕМЕЙ ИУДОВИЧ ПАРНОВ (1935 год рождения) — научный работник, по специальности инженер-химик. Работает в одной из лабораторий АН СССР над новейшими проблемами прогноза нефтяных месторождений.

Печататься начал с 18 лет, член Союза журналистов СССР, автор двух научно-популярных книг: «Возвращенное солнце» и «Окно в антимир».

С 1961 года М. Емцев и Е. Парнов совместно начинают пробовать силы в художественной литературе, пишут научно-фантастические рассказы, которые публикуют в альманахах и журналах, участвуют в Международном конкурсе научной фантастики, где их рассказ «Запонки с кохлеондой» был отмечен премией.

В этом году в издательстве «Знание» вышла первая книга молодых фантастов — сборник рассказов «Падение сверхновой».

ГЕННАДИЙ САМОЙЛОВИЧ ГОР (1907 год рождения) — известный советский писатель. Свой первый рассказ он опубликовал в 1925 году в комсомольском журнале «Юный пролетарий».

С тех пор издано более двадцати книг Геннадия Гора — рассказов, повестей, романов, очерков.

В научно-фантастическом жанре писатель начал работать недавно. В 1961 году в журнале «Звезда» была опубликована фантастическая повесть «Докучливый собеседник», а в 1962 и 1963 годах вышли еще две повести Г. Гора «Странник и время» и «Кумби».

СЕВЕР ФЕЛИКСОВИЧ ГАНСОВСКИЙ родился в 1918 году. До Великой Отечественной войны работал матросом, грузчиком, электромонтером. В 1941 году добровольцем ушел на фронт, был снайпером, разведчиком. После тяжелого ранения был демобилизован и поступил на филологическое отделение Ленинградского университета, которое окончил в 1949 году.

С 1950 года С. Гансовский начал печататься в газетах и журналах. Автор двух книг рассказов для детей и большого числа одноактных пьес, неоднократно премировавшихся на всесоюзных конкурсах.

В 1961 году в альманахе «Мир приключений» был опубликован первый научно-фантастический рассказ С. Гансовского «Шаги в неизвестное», который дал название сборнику его научно-фантастических рассказов, вышедшему в Детгизе в 1963 году.

АРТУР ЧАРЛЬЗ КЛАРК — один из крупнейших писателей-фантастов современной Англии. Родился в 1917 году, окончил Лондонский королевский колледж по отделению математики и физики. С 1949 года и до последнего времени Артур Кларк был председателем Британского общества межпланетных сообщений и членом двух ведущих государственных организаций Великобритании в области астрономии. Сейчас он живет на Цейлоне и является президентом Цейлонского астрономического общества.

Литературная деятельность А. Кларка началась с 1947 года. С тех пор он написал около десяти крупных научно-фантастических романов и повестей, большое число рассказов, а также более десяти научно-художественных произведений. В 1961 году за популяризацию науки ему была присуждена международная премия Калинга.

АБЭ КОБО — прогрессивно настроенный японский писатель. В литературу пришел после второй мировой войны и сразу же стал одним из самых популярных писателей Японии.

В последние годы Абэ Кобо обратился к жанру научной фантастики. Самое крупное его произведение в этом жанре — роман «Конец великого оледенения», в аллегорической форме описывающий неизбежное крушение буржуазного общества.

ЭНН УОРРЕН ГРИФФИТ — американская писательница, человек сложной судьбы. За свою жизнь Гриффит сменила множество профессий. В юности она была актрисой, библиотекарем, затем служила на флоте, работала в Красном Кресте. Многие ее произведения хорошо известны американскому читателю.

